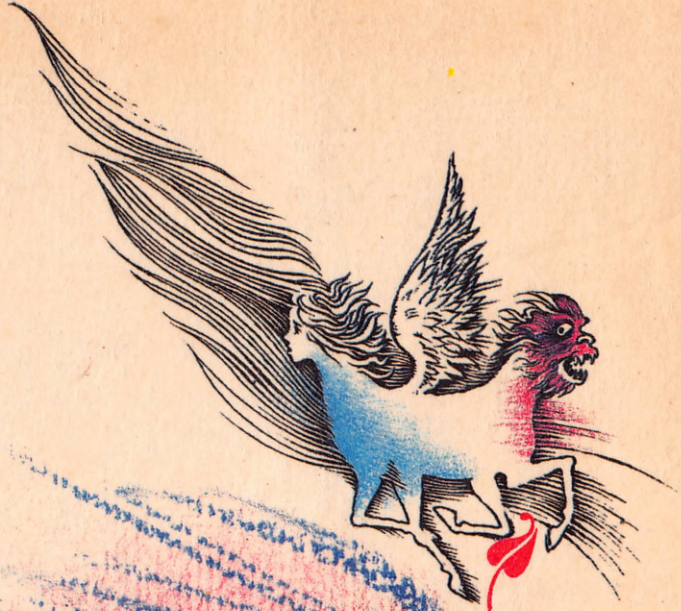


Антоном Пуского зарубежью

ТРЕТЬЯ
ВОЙНА

24



ТРЕТЬЯ ВОЙНА

Антоном
Пуского
Зарубежью



Георгий Владимов
Сергей Добряков
Филипп Бернат
Владимир Матвеев
Анатолий Трагунин
Юрий Мамеев
Сергей Орбениш
Кирилл Косицкий
Олег Кустарев
Юлиан Луцков
Юрий Тальнерин
Ирина Ратушная
Саша Седов
Могилга Шмерт
Тенгиз Токрас
Илья Суев
Александр Журкин
Анатолий Шенников
Евгений Мудин
Аркадий Лвов
Фридрих Торентейн
Владимир Ридак
Владимир Маранзин
Василий Аксенов
Александр и Лев Шарпрогоские

ТРЕТЬЯ ВОЛНА

Антология
русского
зарубежья



Московский
рабочий

1991

ББК 84Р7—4
Т66

Художник
Петр Сацкий

Т $\frac{4702010201-170}{\text{М172(03)-91}}$ 117—91

ББК 84Р7—4

ISBN 5—239—01259—8

© Состав. А. Гербен, 1991

О «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЕ»

«Наш читатель остался в России»,— писал недавно с безнадменно-трезвым смирением один из признанных авторов современной русской литературы Юрий Милославский в журнале «22». До последнего времени это было едва ли не самым трагичным обстоятельством современной русской словесности вне пределов Советского Союза.

А раз мы начали с трудностей, так продолжим разговор о них, ведь, в частности, как раз они долгое время формировали лицо свободного русского слова. Да, на Западе, как известно, нет «государственной литературы», нет патерналистического государства, которое создает беспечную жизнь для «государственных» литераторов, ожидая взамен воспевания политических либо идеологических идеалов.

В числе эмигрантов «третьей волны» мало кто может прожить на писательские гонорары, поэтому почти все они вошли в нормальную инфраструктуру интеллектуальной жизни мира, кто на высоком, кто на более низком уровне. Одни находят в этом — естественном на Западе — укладе жизни творческую радость, другие он угнетает и утомляет.

Среди участников этой антологии, например, даже необыкновенно плодотворный Фридрих Горенштейн пишет с большим удовольствием, кстати, сценарии для итальянского кино; Василий Аксенов преподает русскую литературу в университете, и в этом он тоже находит удовольствие, несмотря на то, что такое занятие отнимает у него немало времени. И остальные писатели предлагаемой антологии почти все работают в редакциях русскоязычных газет и журналов, а также русских служб радиостанций в разных странах мира. Пишут они в основном после восьмичасового рабочего дня. Трудность такой ситуации может понять лишь человек, прошедший через это. Однако такие жесткие условия пошли на пользу литературе «третьей волны» эмиграции. Читая журналы, то и дело ловишь себя на том, как мало тут болтовни по сравнению с продукцией не только «советской секретарской», но и «литфондовой» литературой. Писатели «третьей волны», мне кажется, в большинстве случаев садятся за стол, когда их подталкивает к этому внутренняя, неудержимая сила искусства.

Не будем умалчивать о самом трагическом последствии вынужденного или добровольного разрыва с корнями: были и есть случаи, когда сладкий воздух свободы душил русского писателя — кто умер, кто искал спасения в объятиях алкоголя, а кто ради благосостояния пожертвовал своим писательским талантом.

Подавляющее большинство писателей «третьей волны», однако, принадлежит к другой категории. Нет, я не согласна с сегодняшней их оценкой в советской прессе, которая в последнее время с некоторой слащавостью стала их называть «нашими zahraniчnymi соотечественниками». Это так же неправда, как предыдущие атрибуты вроде: «безродных космополитов», «изменников родины» и т. д. Множество встреч, искренних разговоров, писем, рассказов о впечатлениях от первого возвращения в Россию убедили меня в том, что писатели-эмигранты уже не советские люди, а в подавляющем своем большинстве благополучные и благодарные граждане стран, приютивших их. Они уверены в завтрашнем дне и в будущем своих детей. Тем не менее в какой-то (разной) мере чувствуется в писателях «третьей волны» некоторая отчужденность по отношению к культуре их новой родины. Именно потому, что они никакие не «безродные космополиты», а до мозга костей пропитаны исконной русской культурой, испытывающие нежную любовь к этой культуре. Люди, большинство которых первоначально и не мыслили жизнь вне пределов Советского Союза и были готовы разделить судьбу своих сограждан. Но практика «социализма» с вовсе нечеловеческим лицом принудила их к тому, чтобы оставить все, от мест первой любви до могил родителей, и — как правило, уже не в самом молодом возрасте — начать новую жизнь в чужой среде.

В этом, как мне кажется, кроется самая большая разница между «первой и третьей волнами» эмиграции. После октябрьского переворота интеллектуалы, среди них и писатели, уезжали просто на короткое время — им казалось, что большевики все равно долго не смогут продержаться у власти. Чувство переходного периода и временности эмиграции лишь медленно перешло в окончательное осознание того, что придется создать постоянные рамки и условия жизни за границей. В знаменитом архиве Николаевского в Калифорнии я видела сотни трагических документов, свидетельствующих о растерянности эмигрантов «первой волны», об их неумении приспособиться к новым обстоятельствам и взять в руки свою судьбу. Нередко сами обстоятельства не позволяли сделать это. Вот неопубликованная открытка Марины Цветаевой, адресованная Церетели в 1926 году: «Многоуважаемый Ираклий Георгиевич, посылаю Вам два билета на вечер Романтики,— это, собственно, мой вечер, но я сочла лучшим для своих участников дать его под этим названием. Цена билета 50 фр. Я бы с радостью пригласила Вас просто, но вечер— на лечение мужа, который очень болен (туберкулез), и это моя единственная надежда. Честным трудом (т. е. стихами) не заработаешь никогда. Билеты Вам шлю по совету М. К. Лебедевой. Простите за неприятное письмо, но мне достаточно неприятно его писать...»

В свете таких документов — а их бесконечное множество — понятны подавленность, беспомощность многих эмигрантских писателей той эпохи. Литераторы «третьей волны», по крайней мере те, с которыми мне довелось встречаться, уехали с иными побуждениями. О временности эмиграции и речи не могло быть. Необходимость эмиграции, в отличие от «первой волны», созрела медленно, годами непрерывного ущемления прав человека, унижений, дискриминации. А когда дело дошло уже до решения эмигрировать — эти люди готовы были выстоять любые трудности со стиснутыми зубами, работать кем угодно. Не случайно в

трети биографий, полученных мною от участников антологии, с плохо скрытой гордостью упоминается, что автор в начале эмиграции некоторое время работал грузчиком, чернорабочим, корректором.

А потом... а потом эта эмиграция сумела создать новую, никогда не бывалую инфраструктуру для своей литературы: «Континент», «Синтаксис», «Эхо» в Париже, «22» в Израиле, «Время и мы», журнал, который издается ныне в Америке, французско-американский журнал «Стрелец», «Панорама» в Лос-Анджелесе — журналы, нередко поражающие читателя своей требовательностью, высоким литературным уровнем, стойкостью. Желание найти своего читателя со временем породило и своеобразные каналы, через которые литература вернулась в свое первоначальное русло устного восприятия. В программе русских служб больших радиостанций всегда находилось место для произведений современной недоцензурированной русской литературы и для самих писателей. Без этого советский читатель сегодня не знал бы, каково удовольствие от общения с умным, милым, остроумным Сергеем Довлатовым, безвременный уход которого, я уверена, долго еще будет незаживающей раной в русской литературе.

Все это я сочла нужным рассказать в оправдание самой мысли издать подобную антологию. По замыслу составителя она представляет хорошую литературу, но не «лучшую» — я ведь этой литературе не судья, как никто им быть не может: те времена прошли. Я уверена, что современная русская проза зарубежья даст возможность для создания не одной такой антологии и читатель свободно будет выбирать, произведения каких писателей из них ему больше всего подходят по вкусу, по настроению, по жизненному опыту.

Целью составителя этой антологии было как можно более шире представить прозу зарубежья во всем ее стилевом, мировоззренческом, тематическом разнообразии. Преобладание болесменее традиционного реализма, с одной стороны, гротеска и абсурда — с другой, отражает действительный удельный вес направлений в современной русской прозе. «Мировоззренческое» разнообразие представлено, мягко говоря, не полностью. В избранных рассказах не отражены крайние политические настроения эмиграции, хотя таких настроений немало. Нет произведений монархического или антисемитского толка, нет и таких рассказов, в которых художественная мысль подчинена «голой» политической цели. Каждый эмигрант и не эмигрант имеет право придеркиваться своих собственных политических воззрений. Это, однако, предмет науки, идеологии, политики, социологии, но не литературы.

Русская литература почти с самого начала своего существования — но уж со времен Пушкина обязательно — отличалась от других национальных литератур Европы и Америки своею особой идеологичностью, «ополитизированностью». В XIX веке, когда этой литературе волею судеб приходилось взять на себя, по сути дела, всю интеллектуальную инфраструктуру общества, эта идеологичность во многом пошла на пользу. Сегодня, однако, постепенной передачей всех этих функций демократическим организациям нормально функционирующего общества обновление русской литературы представляется лишь после сознательного отделения ее от политики и идеологии, обременяющей ее со времени Белин-

ского и окончательно превратившейся в тяжелую колоду в десятилетия сталинизма и постсталинизма.

Другим «искажением» составителя является сравнительно низкая пропорция «похабщины». Она — закономерное явление литературы, и в физическом смысле вышедшей непосредственно из-под контроля цензуры. Все же мне не хотелось обрушить на читателей слишком много именно этого своеобразия русской литературы за рубежом.

И наконец, о тематическом разнообразии. Не раз я жертвовала «большим» именем в пользу не столь известного на родине писателя для того, чтобы антология дала как можно более широкое представление о пространственном и социальном своеобразии жизни новой русской эмиграции от Израиля до Америки, от интеллектуала до среднего обывателя и деклассированного человека. Нельзя было обойти и тему женщин, на которых практически вся тяжесть создания рамок новой жизни.

Действие большинства рассказов происходит в Советском Союзе. Да, так представляется советская жизнь в городе, в деревне, в КГБ, в лагере, во время войны для тех, которые оставили ее за собой. Без подмигивания в сторону цензуры, без показа «фиги в кармане». У нас сейчас есть возможность ответить на «ненаучный» вопрос: какова была бы русская литература, если бы она вместе со страной пошла бы по пути десталинизации.

А кто знает — может, эти рассказы помогут нам хотя бы почувствовать пути будущего развития русской литературы...

Когда мы начали работать над этой антологией, ни один из ее участников не публиковался в Советском Союзе. Моя роль посредника казалась просто необходимой — приходилось быть мостом, связующим два мира, которые взаимно с опасением смотрели на возможность сближения друг с другом. С тех пор прошел всего лишь год, и участники антологии один за другим становятся известными читателям Советского Союза. Моя роль «моста» больше не нужна.

Агнеш Геробен

Будапешт, 31 августа 1990 года

Георгий Владимов

НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ, МАЭСТРО!

Они пришли в понедельник утром, сразу после восьми. То есть сначала шагнул в квартиру мордастый — лет сорока пяти, невысокий такой, упитанный, с волнистым коком над лбом и космочками волос за ушами; круглые щечки румянились, а рот лоснился, как будто он только что поел торта, глазки поблескивали весело.

— А мы к вам,— сказал он. Хотя какое же было сомнение, что именно к нам.

И сразу их стало трое. Появился еще долговязый — помоложе, с утомленным лицом и рыбьими неподвижными глазами — и совсем молодая дама в джинсовом платье с погончиками, которая вошла плечом вперед и скромно стала у притолоки. Она сразу меня поразила — странной бледностью щек, потупленным взором, длинными белыми прядями, стекающими из-под синего беретика, надетого набекрень, как у десантников. А когда мы смотрели в глазок и потом через цепочку, то был всего один — мордастый.

— Вы тут глава семьи? — спросил он папу.— Пройдемте все в ту комнату.

— В какую в «ту»? — спросил мой папа, начиная пугаться и от этого ужасно раздражаясь.— И кто вы такие, позвольте узнать?

— А вот это,— сказал мордастый,— раньше надо было спрашивать. А то вы открываете так беспечно. Знаете, сколько сейчас всяких разных по квартирам шныряют?

И действительно, всегда спрашиваем: «Кто?», а тут — не могу даже объяснить, почему,— не спросили.

Долговязый прикрыл спокойно дверь и проверил два раза, как действует замок. Молодая дама в бе-

ретике, ни слова не говоря, двинулась плечом вперед по коридору, прямо к моей комнате, неся за собою на отлете серый чемоданчик с патефонными застежками. Мордастый взял папу под локоть и весело подтолкнул.

— Ну где у вас та комната? Может, мне вам ее показать?

Долговязый надвинулся на меня, спрашивая своим замораживающим взглядом, долго ли я еще буду не понимать, в чем дело. И я повернулся и пошел вслед за папой, чуть не отдавливая ему пятки, а долговязый — вплотную за мной. Одну руку ему, как я успел заметить, оттягивала толстая, черной кожи, сумка, в другой — как будто ничего не было, но мне вспомнились увлекательные фильмы, где бьют ребром ладони пониже уха, и в этом месте у меня сильно заныло.

В дверях нашей большой комнаты, где живут папа и мама, мордастый призадержался.

— Анна Рувиновна, вас тоже попрошу с нами. Звонить собираетесь? Положите трубочку. Положите.

Мама вышла в халате, прямая и несколько бледная, со сжатым ртом. Долговязый сперва замыкал шествие, а потом почему-то отстал.

В моей комнате молодая дама стояла уже у окна, в скульптурной позе — красиво подбоченясь, опираясь на одну ногу, а другую обольстительно отставив в сторону и слегка пошевеливая туфелькой. Она куда-то смотрела пристально сквозь тюлевую занавеску и сказала не оборачиваясь:

— Хозяин — дома. В том же положении.

Мордастый подошел к ней, заложив за спину короткие ручки, и тоже посмотрел.

— А куда он мог деться? Сегодня у него никаких свиданий не назначено.

Вошел долговязый — со своей сумкой и с нашим телефоном, расправляя шнур ногою, уселся на мой диван-кровать, еще расстеленный, и поставил аппарат себе на колени. В ту же секунду он зазвонил.

— Валера? — сказал в трубку долговязый. — Да, все в порядке. Переходи к метро.

Он положил трубку и уставился на мордастого вопросительно.

— Матвей, — спросила мама печальным голосом, — ты мне можешь сказать, чего хотят от нас эти люди? Может быть, им нужны деньги? Так пусть скажут...

— Аня, тут что-то другое,— сказал папа, досадливо морщась.— Успокойся, пожалуйста. Они нам сейчас все-все скажут.

Мордастый, усмехаясь, отошел от окна и стал в центре комнаты, под плафоном.

— Значит, так. С вашего разрешения, мы тут у вас поселимся. Вам уж придется уплотниться, ничего не попишешь. В эту комнату — не входить, тут у нас будет... неважно что, вам до этого нет дела. Если будут спрашивать во дворе, можете отвечать — приехали родственники.— Он поглядел на папино лицо, потом на лицо долговязого.— Дальние, конечно. Про которых вы даже и забыли, что они есть.

— И надолго приехали родственники? — спросила мама.

Мордастый в улыбке показал два золотых моста, сделанных в очень хорошей поликлинике.

— Об этом, сами понимаете, гостей не спрашивают. Но, конечно, по полгода тоже не гостят. К окнам старайтесь подходить не часто, занавески лучше не отодвигать. Телефоном можете пользоваться, как всегда. Если будут спрашивать Колю — трубочку сразу ему.

— А как будут спрашивать родственницу? — спросил я, уже почувствовав облегчение. Мне захотелось узнать имя пленившей меня дамы.

— Ее? — Мордастый перевел улыбчивый взгляд с меня на даму и обратно.— А ее не будут спрашивать.

— Позвольте все-таки выяснить,— спросил папа, еще не оступив от раздражения,— а книжечка у вас имеется?

— Матвей Григорьевич,— сказал мордастый с легким укором,— мы вам почему-то больше доверяем. Смотрите, если не верите.

Книжечка у него висела на шейном шнурке, точно крестик. Он развернул ее на секунду и снова упрятал куда-то за галстук. Мы ничего не успели прочесть, но папа тоже почувствовал облегчение.

— Значит, вам нужны не мы, а кто-то другой, как я догадываюсь?

— Правильно догадываетесь. Интересует нас один человек — в доме напротив.

— Он что, скрывается от правосудия?

— Папа,— сказал я,— ты все еще не понял? Им нужен этот писатель,— я постарался сказать небрежно,— у которого отключили телефон.

— Отключили? — спросил мордастый.— Откуда вам известно, что отключили?

— У которого испортился телефон,— сказал папа с нажимом в голосе, не поворачиваясь ко мне.

Я видел, как шея у него вытянулась и порозовела, и согласился:

— Пусть будет «испортился».

Тем более что и сам наказанный так отвечал. Знали истину оба наших кооперативных дома, знали бабушки, сидящие в беседке и на лавочках у подъездов, знали даже дети, играющие в песочницах, что телефон у нашей несчастной знаменитости отключен пожизненно, и этот номер, 144-47-21, передан каким-то другим людям, которые вам ответят, что прежний абонент выехал навсегда за рубеж, а могут и ответить — что умер... Но кому-нибудь непременно хотелось выяснить «из первых рук», что за нарушение было Устава связи — куда-нибудь он не туда звонил, или ему звонили откуда не следует? — и он, отводя смущенно глаза, что-то бормотал, что все некогда вызывать монтера со станции и вообще ему без телефона даже лучше, спокойнее.

— Вы с ним общаетесь? — спросил мордастый. Они с долговым взглядом внимательно, выжидающе смотрели на папу.

— Ну, если можно назвать общением, что мы перекинемся двумя словами... о погоде, или он задаст какой-нибудь вопрос... технического порядка,— у папы от смущения одно плечо поднялось к уху,— да, общаемся. Как-никак соседи. Но если есть такая необходимость, чтоб я воздержался на какое-то время...

— Зачем же,— сказал мордастый.— Такой необходимости нет. Даже было бы желательно, чтоб вы продолжали общаться как ни в чем не бывало. Я бы вам дал тогда соответствующие инструкции.

Папа оглянулся на маму. Она опустила голову и разглядывала паркет.

— Ну, как желаете,— подождав, сказал мордастый.— Главное, чтоб нигде ни слова. Понимаете, что вам доверено?

Папа глубоко, поспешно кивнул.

— Да, конечно, конечно.

Я подошел к даме, все так же пристально наблюдавшей за теми тремя окнами — прямехонько против наших, на верхнем, пятом, этаже,— и слегка отвел занавеску.

— Я же только что предупреждал,— сказал мордастый.

Но у меня уже не ныло за ухом, и я пока еще находился в моей комнате, поэтому к нему и не повернулся.

— Что-нибудь он опять натворил? — спросил я даму.— Выступил с чем-нибудь легкомысленным?

Она взглянула на меня холодно, из-под опущенных наполовину век, затем ее взгляд переместился куда-то ниже моего лица, ниже груди, несколько задержался на чем-то ниже пояса и ушел в сторону. Больше ее взгляд не останавливался на мне никогда.

Неторопливым округлым движением она сняла свой десантный беретик и положила на журнальный столик, рядом с двумя папками моей диссертации, едва удостоив вниманием гордое ее заглавие: «Опыт анализа онтологических основ древнетамильского эпоса сравнительно с изустными произведениями на пракритах».

— Столик мне подойдет,— сказала она, ни к кому, собственно, не обращаясь.— А это они уберут.

— Ну-с, мне пора,— сказал мордастый.

Мы с папой провожали его до дверей. Проходя коридором, мимо стеллажа, он задержался как раз против полки, где у меня... Ну, вы сами понимаете, что у меня там могло стоять, обернутое белой калькой, еле прозрачной, так что можно и не заметить, но при желании — кое-что интересное прочитать на корешках. Новейший Аксенов, Фазиль в полном виде, первая часть «Чонкина», «Верный Руслан», Липцина «Воля» и кой-какой Бердяев, «Зияющие высоты», три-четыре журнала. Не могу не сказать — золотая полочка, чуть не каждая из этих духовных ценностей обошлась мне в полстоимости джинсов.

— Зачем это держать? — спросил мордастый с укором во взгляде.

Папа слегка вспотел лицом и посмотрел на меня с таким же выражением.

— А если мне-е...— Я отчего-то заблесьял.— Если это нужно мне для работы?

— Не нужно вам для работы,— сказал мордастый уверенно (и впрочем, со знанием дела).— Незачем голову забивать. И вообще...

Он стоял перед полкой, заложив руку за борт пиджака, задрал голову, отставив ногу, вылитый «маленький капрал», которому ужасно хочется в Бонапарты.

— И вообще, я вам скажу, некоторые этапы нашей истории пора бы уже забыть. Они нам только мешают, а ничего не дают для понимания.

— Да? Это интересно. Какие же этапы?

— Вы сами знаете, какие.

О, этот их прелестный пуленепробиваемый ответ! «Вы сами знаете». Супруга нашего визави, как мне рассказывал папа, все-таки пошла — тайком от мужа — выяснить, за что им отключили телефон. «Вы сами знаете, за что». — «Но в чем выразилось наше нарушение?» — «Вы сами знаете, в чем». Что они — языка лишились? Почему не смеют назвать? Значит — ведают, что творят?

— Но Бонапарт,— сказал я,— все-таки дал бы команду, что надлежит забыть, а о чем помнить.

Мордастый этого просто не услышал.

— Александр! — сказал папа, вдруг опять раздражаясь.— Я же тебе говорил тогда: «Выбрось эту сомнительную литературу». И ты же со мной соглашался, что она сомнительная. А почему-то держишь на самом виду.

— Вот именно,— подхватил мордастый.— Кто-нибудь почитать попросит — вы же ему не откажете? А это уже будет считаться — «распространение».

Покачав головою, уничтожив меня долгим взглядом, он вышел на лестницу.

— Родственников не обижайте,— пошутил он с серьезным видом.— А сынок у вас, хоть и тридцать два года, а очень еще незрелый.

Я себя почувствовал мальчиком, которого на первый случай избавили от розг.

— Он задумался,— сказал папа.— Я, наконец, сам приму меры.

— Значит, договорились — я пока ничего не видел.

Мама нас встретила в коридоре, держа в обнимку, как бочку, мою свернутую постель.

— Где у нас раскладушка? Достаньте мне ее немедленно.

— Где-то в кладовке,— сказал папа.— Но, Аня, сейчас только девять утра.

— Я должна заранее позаботиться о нашем сыне. Я не хочу, чтоб он ютился, как бедный сирота. Он должен где-то отдыхать и иметь уединение для работы.

— Хорошо, где ты хочешь, чтоб он имел уединение?

— В кухне,— сказала мама.— Кухня — это моя территория. Если вы свою кому-то уступили, то я уступать не намерена ни пяди. Только своему сыну, кровать будет стоять в кухне все время.

— Но, может быть, людям захочется сварить себе кофе или я не знаю, что.

— Ничего,— сказала мама.— Захочется — перехочется.

— Аня! — Папа очень страдал оттого, что дверь в мою комнату осталась полуоткрытой.— Но ты посуди: где мы сами будем есть? Где ты будешь готовить?

— Нигде. С этого дня я перестаю готовить. Будем питаться в столовке.

— Аня, что ты говоришь, я не знаю? Так же не будет. Ты нам не позволишь питаться в столовке.

Она посмотрела на папин выпуклый животик, на его напряженное, почти несчастное лицо — красное, под белым встопорщенным ежиком — и на то, как он нервно теребит подтяжки, и сразу устала держать в обнимку постель.

— Возьми же у меня, долго я буду так стоять? Сложи пока в кладовку. Сейчас мы позавтракаем, как всегда, а потом мы с тобой пойдем гулять и там, на воздухе, все обсудим. Как нам дальше строить нашу жизнь. Обед у нас на сегодня есть.

— Что нам такого обсуждать? — глухо отвечал папа из кладовки.— Нам же объяснили, что все — временно. Я думаю, мне лучше сегодня остаться дома.

— Ни в коем случае,— сказала мама.— Я тебя вытаску обязательно. Ты очень взбудоражен, это может кончиться плохо.

— Почему это я взбудоражен? — спросил папа, задвигая шпингалет.— Ну, хорошо, я взбудоражен. Но у Саши сегодня библиотечный день. Мы же не можем уйти все трое. Как нам быть с ключами?

— А никак,— раздался из моей комнаты голос долговязого.

— Что вы? — Папа подошел к двери. Заглянуть туда он почему-то не решался.

— С ключами — как устраивались до сих пор, так и дальше.

— Но у нас только два комплекта. Вдруг вам понадобится выйти?..

— Ну, значит, выйдем.

— Да, но кто же вам потом откроет?

— Ну, значит, взломаем. Вы же знаете, Матвей Григорьич, против лома нет приема.

Папа к нам повернулся очень сконфуженный. Мама посмотрела на него почти брезгливо, но промолчала.

В эту ночь мне неплохо спалось на новом месте. Полагаю, что и Коля долговязый был не в обиде на мой диванчик, когда остался дежурить. Как выяснилось, на кухню родственники наши не претендовали вовсе, зато мою комнату не оставляли без присмотра. Из квартиры они уходили по очереди и входили без звонка; у меня было впечатление, что замок сам собою отпирается при их приближении. В семь утра Коля разбудил меня, когда прошел в ванную в трусах и в майке и шумно там плескался и фыркал, напевая довольно неплохим баритоном: «Капррызная, упрамая, вы сотканы из роз. Я старше вас, дитя мое, своих стыжусь я слез». Как сказывают, это любимая песня нашего генсека, а вовсе не «Малая земля». Не знаю, у Коли я спросить не решился. Выходя, он заботливо осведомился у меня: «Как спалось?» — и удалился, не дожидаясь ответа. Маму потом волновало, каким полотенцем он утирался и вытер ли за собой на полу (у нас, вы знаете, хорошо протекает вниз к соседям). Насчет полотенца не знаю, но что прибрал все аккуратно, могу свидетельствовать.

В следующую ночь было дежурство моей десантницы — и как жестка показалась мне раскладушка! Только представить себе — в моей комнате, в каких-нибудь пяти шагах от меня, на моем законном ложе, раскинулось (лучше даже — «разметалось») прелестное таинственное существо, неприступно гордое и для меня пока безымянное, а на моих стульях разбросаны в милом беспорядке неизъяснимо чудесные одеяния и

покровы! Странно, никакие эти пышные словеса — «покровы», «одеяния», «ложе» — не приходили мне на ум и на язык при обстоятельствах вполне реальных, с моей долголетней невестой Диной, которая, впрочем, давно уже не невеста мне, а жительница города Бостона, штат Массачусетс, США. Гордая и неприступная занимала ванную с восемью и предпочитала душ. Я слушал, как хлещут шипучие струи с разными оттенками шума — оттого, что сначала одна, потом другая прелести подставлялись для омовения, — и, кажется, начинал постигать смысл затрепанного поэтического образа: я хотел бы быть этими струями, которым позволено... и т. д. Когда она выходила, освеженная, встряхивая длинными прядями и застегивая на груди свое джинсовое платье с погончиками, я как-то не осмелился обратиться к ней — хоть с тем же самым: «Как спалось?», — а только пытался поймать ее взгляд, но, как я уже сказал вам, это мне ни разу не удалось.

Папки с моей диссертацией тоже перекочевали на кухню — и, право, обнаружилось даже некоторое удобство — что можно, не отрываясь от стола, заваривать себе кофе. Вообще, мы отлично устроились, и к тому же оказалось, что мы, не сговариваясь, тоже не оставляли квартиру без присмотра. В мои библиотечные дни старики могли побыть дома, и мама могла приготовить обед, а в остальные — они уходили на долгие свои прогулки, включающие, естественно, стояние в очередях, — и я мог поработать над моими тамильскими преданиями. Однако ж поработать — это сильно сказано, вы не знаете, что такое наша квартира. Когда-то нам очень нравилось, что наш кооператив — самый дешевый в Москве, теперь эта наша «пониженная звукоизоляция» мне выходила боком. Из любой точки нашей квартиры слышен неумолимый ход времени, отбиваемый папиными часами, — о, вы не знаете, что такое папины часы. У него их накопилось штук тридцать: луковицы, каретные, будильники, нагрудные — в виде лорнета — и даже знаменитый, воспетый Пушкиным, «недремлющий Брегет», ходики с кукушкой и ходики с кошкой, у которой туда-сюда бегают глаза; часы, которые держит над головою голенькая эфиопка, и часы, на которые облокотились полуодетые Амур и Психея; часы корабельные — с красными секторами, и часы, охраняемые бульдогом. Кое-что

досталось папе в наследство, остальное он прикупал, когда еще прилично зарабатывал в своем конструкторском бюро, а в последние годы, на пенсии, он собирал уже просто рухлядь, которую выбрасывали или продавали за символический рубль, и возился с ней месяцами, пока не возвращал к жизни. Все это богатство каждые полчаса о себе напоминало боем, звяканьем, диньканьем, блямканьем и урчанием — притом не одновременно, а в замысловатой очередности. Один Бог знал, которые из них поближе к истинному времени, — его все равно узнавали по телефону, — да папа к точности и не стремился, наоборот — соревнование в скорости тоже составляло для него очарование хобби, и по этой причине останавливать их не позволялось. Мы с мамой давно притерпелись ко всей этой папиной музыке, даже перестали замечать; просто в последние дни слух у меня болезненно обострился — от звуков иных, непривычных.

— Валера! — слышался Колин металлический баритон. Против обещания, телефон они надолго забирали к себе — как они объясняли, «чтоб вам же не мешать». — Спишь там? А бельгиец-то — прошел... Какой, какой. Иван Леонидович, Жан-Луи.

— С Ивонкой, — подсказывала моя десантница.

— Точно, с супругой. Уж десять минут как, а ты не сообщаем... «Не успел, пиво небошь глотал... Где машину оставили?.. Дверцы хорошо заперли, стекла подняли? А то ведь на нас потом свалят... На сиденье ничего не лежит?.. Кукла? Ну, это детишкам своим. Прямо, значит, из «Березки»... Это и мы заметили, что с пакетом. Поглядим — с чем выйдут... Ну, иди, глотай свое пиво, только о работе не забывай.

Ненадолго воцарялась там тишина, но мне уже было не до моей бедной диссертации. Мне слышались — или чудились — кошачье мурлыканье, смешки, шлепки по телу, в общем, подозрительная возня. В эти минуты — кто сказал бы мне? — стояла ли она у окна? Сидела ли в кресле? Или, быть может, лежала? Я чувствовал себя спокойнее, когда они заводили мой магнитофон и Коля с воодушевлением подхватывал:

Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба — то гульба, то пальба.
Не обращайтесь вниманья, маэстро,
Не убиррайте ладони со лба!..

— Поставь лучше Высоцкого,— просила дама капризно и томно.— Ты же знаешь, я Высоцкого люблю неимоверно!

— Много ты понимаешь! Булат же на порядок выше.

— Не знаю. Я и Булата люблю, но по-своему,— голос моей неотразимой таил загадку, терзавшую мое сердце ревностью к обоим бардам.— А Высоцкий — это моя слабость.

— И как ты его любишь? — спрашивал Коля игриво.

— Я даже не могу объяснить. Дело не в словах и не в музыке. Просто он весь меня трогает сексуально.

— Но-но, я па-прашу не выражаться! — Колин голос певуче взвизывался и тотчас, без перехода, исторгался низким рокотом:

Моцарт отечества не выбиррает,
Просто игррает всю жизнь наппрролет!

— погоди, Моцарт,— в голосе ее слышалась насмешка, но почти любовная.— Моцарт мой милый, ты про общественные поручения не забыл?

— Когда Коля чего забывал? Просят — всегда сделаю. Но только — после обеда. Сегодня у нас кто первый по плану? Дочкин просил «Железную леди» побеспокоить. Но она просит — до двух ей не звонить. Не могу даме не уступить.

С часу до двух они, по очереди, удалялись обедать — наверно, в хорошее место, поскольку успевали там же и отовариться; по приходе он сообщал ей: «В заказах икра сегодня красненькая, я четыре банки взял, а куда больше?» Или — она ему: «Сегодня ветчина югославская — видишь, в удобной расфасовке, ты б тоже взял, жена мне спасибо скажет».

После обеда следовал звонок от Валеры — о замеченных изменениях, затем Коля-Моцарт — как я его мысленно прозвал, вслед за моей дамой — приступал к общественным поручениям:

— Але, можно Лидию Корнеевну?.. Ваш почтитель звонит. Обижаетесь на нас, что мы вам конверты перепутали? Но письма-то — дошли. Не ошибается тот, кто ничего не делает... Как это так — не делать? Ничего не делать мы не можем. Мы же вам жить пока

не мешаем. Воздухом — дышите? Дачку еще пока не отобрали?..

Там, видимо, клали трубку, но Коля не обижался, говорил озабоченно, с явной теплотой:

— Голос у нее сегодня чего-то усталый. Спит плохо, мысли невеселые. Да, ей много пережить пришлось...

— А всей стране — легче было? — возражала дама.

— За всю страну болеть — это Колиной головы не хватит. Сейчас она у меня за Наталью Евгеньевну болит... Але, можно Наталью Евгеньевну?.. Кто говорит? Академик Сахаров говорит. Ну, кто же тебе, Натуля, еще звонить может? Большому кораблю — большое плаванье... Чего звоню? Удивлен я, Натуля, безобразным поведением твоего сожителя... А надолго ли он тебе муж? Я так думаю — ненадолго. Ты уже могла убедиться, на примере некоторых твоих друзей, что за подобные штучки, что он вытворяет, судьба наказывает очень жестоко. Смотри, не образумишь своего красавца — будем вместе скорбеть о безвременной потере кормильца... Але, куда ты там делась? Телефон небось бегала замерять? Давай, замеряй. Делать тебе не хрена, Натуля, лучше бы рубашки мужу погладила, а то в мятой ходит, нехорошо, Натуля...

Видно, и Натуля швырнула трубку, и Коля это объяснял не без той же заботливой теплоты.

— Нервничать стала. Даже заикается. Хорошо бы им в Сочи съездить. Ведь восемь лет не отдыхали!

У дамы на этот счет было свое мнение:

— А потому что все девочку из себя строит. А уже за сорок давно-о...

Коля-Моцарт уже набирал другой номер.

— Але, товарищ Чемоданов?.. Сидишь, корпишь?.. Корпишь, говорю, тетеря глухая?! Бросай ты эти дела богословские, ты ж все равно не докажешь, что Бог есть, а в психушку — сядешь... Да не, из какого там «кей-джи-би», все тебе «кей-джи-би» снится. Просто твой почитатель тайный, хочу тебя предупредить. Ты вот с Бурундуковым общаешься — лучшим другом его считаешь?.. А знаешь, что он про тебя говорит в обществе? Вот у меня тут специально записано. Что все твои писания — вторичны... Вторичны! Сколько тебе повторять, уши прочисти! И нет, говорит, у него цент-

ральной идеи, поэтому в статьях драматургии не чувствуется... Да не у него, а у тебя... Ну, не знаю, какой. Центральной нету... Драматургия? Ну, значит, должна быть, раз говорят, что у тебя не чувствуется. Вот так. Задумайся.

— Поверил? — спрашивала дама.

— Не поверил, но — огорчился.

— Хорошо у тебя получается! Лучше всех в отделе.

— Выматываюсь, потому что всю душу вкладываю. Ну, на сегодня хватит.

Тем временем главный объект наблюдения тоже заканчивал свой ежедневный урок и вставал из-за стола. Мне было видно, как он накрывает машинку, считает и складывает отпечатанные листки, потом стоит подолгу у открытого окна, глядя на наши окна — и не видя их, точно смотрит куда-то в туманную перспективу. Если б я даже подал ему знак (какой, не подскажете?), он бы его не заметил. Как мне было ему посоветовать, чтоб он хоть завесил окно? В сущности, это ребячество, без которого можно обойтись, — эта его привычка поглядывать время от времени, отрываясь от своих писаний, на зелень, на верхушки кленов, ив, тополей. Я понимаю, он сам их когда-то сажал — больше, чем кто другой, — и ему, наверно, любопытно смотреть, как они вытянулись и разрастаются с каждым летом, подошли уже к пятому этажу. Его это, наверно, вдохновляет, — но надо же учесть и 12-этажник, что стоит наискосок, оттуда в сильную оптику можно, пожалуй, и прочитать, что он там пишет. Или он думает, что если сам он в чужие дела не лезет, так и другим нет дела до него? Но когда он, по своему расписанию, спускается во двор и бродит между домами, кому-то названивая из разных автоматов, не может же он не чувствовать на себе десятки взглядов — любопытствующих, осуждающих, а то даже испепеляющих, — ведь отчего-то он каменеет лицом, проходя сквозь эти взгляды, старается пройти быстрее. Вслед ему поворачивают головы все бабушки в беседках, и все детишки в песочницах, и даже собаки — в соответствии с настроением хозяев — натягивают поводки в его сторону. Такой вот микроклимат в нашем микрорайоне. Все ведь знают: с тех пор, как его исключили из Союза писателей, к нему исправно каждые три ме-

сяца является участковый и снимает допрос, на какие средства он живет, а однажды у всех на виду нашу знаменитость вывели под руки и, усадив в желто-голубой «Москвич» с синим фонарем на крыше, повезли в отделение — за два квартала, откуда он, правда, вернулся через час пешком.

С этим участковым, дядей Жорой, мы кланяемся, и я тогда спросил у него:

— Что, выселять будут — как тунеядца?

— Тунеядец-то он тунеядец,— сказал дядя Жора с досадой, разглядывая носок сапога,— да у него книжки печатаются — в Америке, в Англии, в Швейцарии и хрен знает где еще. Кроме как у нас. Сигналы на него поступают, а как на них реагировать? Его, понимаешь, дипломаты приглашают, не очень-то подступишься.

— Трудный случай? — спросил я.

— Весь наш район трудный. И чего я из Коминтерновского сюда перевелся? Хотя там тоже писателей этих — до едреной фени.

Дядя Жора у нас недавно, а я здесь живу — с детства. И я помню, как этот наш тунеядец был некогда в большой моде, его печатали в «Новом мире», и по его сценариям снимались фильмы, и вот в той самой квартире пел громоподобно, услаждая весь двор, покойный теперь артист Урбанский. Тогдашняя восходящая кинозвезда Л. Л. привозила дорогого автора со съемок на своей машине, и оба наших дома наблюдали, как она ему на прощанье протягивает цветы. И эти старушки, бывшие еще только зрелыми дамами, помогали его автографа. Да все, кто теперь воротит от него лицо, старались попасться ему на глаза, удостоиться пятиминутного разговора.

Я не знаю толком, что такое случилось с ним — да с ним ли одним? Тогда была кампания любви к молодым, любили целое поколение, которое почему-то называлось «четвертым», и он входил в эту плеяду, «надежду молодой литературы», считался в ней «одним из виднейших». Потом у всей плеяды что-то не заладилось с их новыми книгами, не так у них стало получаться, как от них ждали, к тому же они имели глупость «нехорошо выступать» и что-то не то подписывать и до того довыступались и доподписывались, что их начали выкорчевывать всем поколением сразу. Те-

перь и не прочтешь нигде, что было такое — «четвертое», а плеяда рассеялась по всему свету, остались только те, кому удалось сохранить любовь к себе,— и вот такие, как он, двое или трое, которым, как говорят, «терять уже нечего». Да, все почему-то получается у нас — оправдать надежды Родины! И поэтому мальчик Толя, семи лет, которому он заметил, что нехорошо царапать гвоздем машину, может ему ответить с достоинством хозяина жизни: «А вы тут вообще на птичьих правах».

Впрочем, еще один персонаж осмеливается говорить о его статусе во всеуслышание — наша районная шизофреничка Верочка. Когда, раз в полгода, ей приходит пора ложиться в психушку, а врачи почему-то не кладут, она кричит на весь двор, подпрыгивая упруго на двух ногах, как воробей: «А я на их писателю пожалуюсь на пятом этаже! Он за mine по «Голосу Америки» заступится!» Вот два полюса его невероятного положения: и «на птичьих правах», и можно — когда все исчерпано — ему пожаловаться, и он — «заступится». Так говорят семилетний и юродивая, но и мы, взрослые, нормальные, знаем: и то, и другое — правда. А может быть, все это, непостижимое, не с ним случилось, а с нами? Может быть, он остался, каким был всегда, а мы переменялись вместе со временем? Что же с нами, со всеми, произошло? Те самые люди, что по вечерам припадают к транзисторам и ловят, сквозь ревы глушилок, сообщения о нем или куски из его последней книжки,— растят детей, которые выучились смотреть ему вслед насмешливо и вытаскивать из его ящика письма, чтобы порвать и бросить на лестнице. Да, впрочем, и пишут ему как будто все реже, скоро и вовсе перестанут. Хотя люди компетентные — как наш сосед, бывший дипломат в Норвегии или в Дании, славный тем, что провалил в этой стране всю нашу разведку,— говорят, что, наоборот, пишут со всех концов страны и из других стран, но всю корреспонденцию забирает на почте особый человек по «доверенности номер один».

А теперь, кажется, подступились к нему вплотную — и как мне его предупредить? Можно дождаться, когда он вынесет свою мусорную корзину, с обрывками черновиков, и подоспеть со своим ведром, и тут, над контейнером, под шорох вытряхиваемого со-

держимого, сказать потихоньку. А он мне — поверит? Не сочтет за провокатора, которому как раз и поручили воздействовать на него психически? Он помнит, конечно, как я по его книгам писал дипломную «Об использовании бытового и производственного жаргона в произведениях имярек» и донимал его расспросами, но помнит он и другое — все мы переменялись, и каждый мог стать кем угодно.

Пожалуй, я бы все-таки решился, но этот таинственный Валера... Черт бы его побрал! Где он прячется? Откуда следит? Может быть, он изображает алкаша, который вон там, прислонясь к дереву, опохмеляется пивом «из горла»? Или на лавочке обжимается с подружкой, тоже топтуньей? Или стоит на углу с газетой, свернутой в трубку? — вон даже махнул кому-то, знак подает. А может, он как раз уминает мусор в контейнере, а между тем собирает эти самые обрывки? Я даже такой странный разговор слышал — между Колей и дамой: «Кто у нас сегодня Валерой? Вроде бы Дергачев со Жмачкиным?» — «Не со Жмачкиным, — отвечала она, — а с этим... новеньким, Ларьковым». — «То-то, я слышу, голос какой-то не родной...» Так он, этот Валера — не один? Так их — двое? А может, их даже пятеро или шестеро, а только двое звонят? Нет, я не осмелюсь. У меня — диссертация, и через полгода — защита. С опозданием на семь лет, после моего жалкого и ненавистного мне учительства в школе, я влез в эту аспирантуру, пусть по другому профилю, но с такой темочкой, от которой нашему строю ни горячо, ни холодно и за которой можно как-то пересидеть — если не рыпаться. У меня папа и мама, которым эти мои тамильские предания и практики только потому не кажутся чепухой собачьей, что они привыкли уважать всякое чужое дело, и тем больше уважать, чем меньше они в нем понимают. Могут ли, по-вашему, разрушить их надежды? Смею ли рассчитывать на их негенеральские пенсии или на то, что папа, в крайнем случае, продаст свою коллекцию? Ну и наконец, вот что... Положа руку на сердце, строго между нами, как на духу. Ведь когда он становился за черту, он тоже не смел рассчитывать, что кто-то за него станет подкладывать пальцы под паровоз. И наверное, мог бы воздержаться от каких-то крайностей. Чем-то он их уж слишком разозлил — иначе

б не стали тут держать пост, это все-таки дорогое удовольствие. И почему же кто-то другой должен разделить его грехи или ошибки, к тому же — беззащитный, о котором никакой «Голос», никакая «Волна» и никакая там Би-би-си словечка не скажут? Не знаю, не знаю.

Покуда я размышлял таким манером, писатель уже возвращался из своих странствий, я опять видел его в окне, и возвращались с прогулки мои старики. Мы обедали в кухне — и в основном молчали. Я отчего-то догадывался — или читал по их лицам, — что для своих прогулок в лесопарке они выбирали такие дорожки, сидели на таких лавочках, где встретиться с наблюдаемым было бы даже теоретически невозможно.

Ровнехонько в пять звонил в дверь мордастый, отвешивал молча головной поклон и направлялся к моей комнате.

— Ну-с, как успехи?

Докладывал Коля-Моцарт, моя дама вставляла отдельные поправки. Успехи наблюдателей были скорее успехами наблюдаемого, но они, странным образом, считали их как бы своими:

— Четвертую главу закончили, слава Богу. С этой главой были трудности — наверно, придется кой-чего перебелить. Пока начали перепечатку пятой. Да над финалом тоже надо покорпеть.

— Ну это уже небось готово, — говорил компетентно мордастый. — Хорошие писатели финал пишут заранее.

— Еще будет предисловие к зарубежному читателю, — уточняла дама. — Но пока только наброски.

— Ну, что ж, — говорил мордастый довольным голосом, и я почти видел, как он потирает руки или бьет кулачком в ладонь, — числу к тридцатому, пожалуй, запремся в ванной?

Я уже знал, что писатель свои манускрипты переснимает на пленку и делает это в ванной.

— Запас пленки готов, — сообщала дама, — «Микрат-300».

— Молодец, хорошую пленку достает! — хвалил мордастый. — Узнать бы, с какого объекта ему тащат, да задать тому деятелю по загравку — за соучастие. Ну, уж ладно, конец — делу венец. Готовимся, зна-

чит, к операции «передача»? — Мы в кухне, замерев, слушали его булькающий смехок.— А что, братцы, пожалуй, на этот раз Англия не устоит?

— В каком смысле? — спрашивал Коля-Моцарт.

— Договор заключит без промедления. В прошлый раз — сколько тянули! Что-нибудь года четыре?

— С половиной,— уточняла дама.

— Уже вся Скандинавия сдалась, Франция не выдержала, не говоря об итальянцах...

— Ну, итальянцы — те что ни попадя переводят,— вставляла дама.

— А эти-то долго, англичане, держались. Ух, привередливые! Но с тех пор-то мы — выросли! С прошлой книжечкой не сравнишь, романище мирового класса. Если мы тогда на аванс в две тысячи фунтов согласились не глядя, так теперь и с четырьмя спешить не будем. И со Штатами поторгуемся! Хотя они и так хорошо отвалили, а можно и больше с них содрать.— Слышалась искренняя гордость возросшим талантом наблюдаемого и затем — вздох почти горестный.— Да-да... И почему я романы не пишу? Все — статеечки на злобу дня.

— Кто-то же должен и на злобу,— успокаивал Коля.— Вы не менее важное делаете.

Мордастый, однако ж, на лезть не падок — и коротко перебивал:

— Бельгиец был?

— Час проговорили,— отвечивал Коля.— Мы едва успели кассету сменить.

— Что-нибудь вынес?

— Отчетливо сказать нельзя.

— А какая у нас техника? — жаловалась дама.— Одно мучение!..

— Да, и этот черт берет так, что не зафиксируешь. А ведь он-то, я чувствую, и передает. Вот бы кого по-крупному опорочить!

— А Хельсинки? — спрашивал Коля с ехидцей.— За письма его ж не выдворишь.

— Что Хельсинки! Его на иконах надо подловить. Большой любитель старины! Кто еще был?

— Из посольства Франции — на машине с флажком.

— Один шофер или кто поважнее?

— Шофер.

— Ну, это он приглашение привозил — на четырнадцатое, день Бастилии. Этот вряд ли чего взял, французы — они осторожные. Кто еще?

— Ахмадулина приезжала на метро.

— Беллочка? — оживлялся мордастый и опять вздыхал печально: — Да, слабаки эти официалы, только она его и посещает. Луч света в темном царстве. О чем говорили?

— Хозяина не застала, с женой говорили полчаса. Все — насчет приглашения: на дачу в Переделкино, в субботу.

— Ясно. Стихи новые почитаем. И выпьем, конечно, — самую малость!

— Сапожки не модные у нее, — вставляла моя дама тоном сожаления, но отчасти и превосходства. — Наши таких сто лет не носят. И шапочка — старенькая.

— Так ведь когда у нее Париж-то был! Лет пять назад. Теперь она себя опальной считает. Не считала бы, так и сапожки были б модерные, от Диора.

Черт бы побрал эти деревья, из-за которых не видно стало подъезда! Была Ахмадулина — и я прозевал ее. Я не сбежал вниз, не протянул ей последнюю ее книжку для автографа, не высказал, что я о ней думаю. А если и правда, что «поэт в России — больше, чем поэт», то, может быть, наше безвременье все-таки назовут когда-нибудь временем — ее временем, а нас, выпавших из летоисчисления, ее современниками? Но про меня — кто это установит, где будет записано. Мы себе запретили вести дневники, мы искоренили жанр эпистолярный, по телефону — лишь договариваемся о встрече, а встретясь — киваем на стены и потолки, все важное — пишем и эти записочки, сложив гармошкой, сжигаем в пепельницах. Господи, что же от нас останется? А вот что. Я-то Ахмадулину прозевал, а они — даже разговор записали. Те, от кого мы прячемся, увиливаем, петляя, «раскидывая чернуху», неутомимые эти труженики, ревнивые следопыты, продельывают за нас же всю необходимую работу, собирают нашу историю — по крохам, по шепоткам, по обрывкам из мусора, по следам на копирке, а то и целыми кипами бумаг — при удачном обыске. Плетя свою паутину, они связывают в узлы разорванные, пунктирные нити наших судеб. Мы что-то могли потерять —

у них ничего не потеряется! Все будет упрятано в бронированные сейфы, в глубину подвалов. Я приветствую тебя, диссертант третьего тысячелетия, и прошу у тебя прощения! Когда все это будет разложено по музейным папкам, из которых ты любую сможешь потребовать по простому абонементу, ты мог бы — выбеги я к подъезду! — услышать наши голоса, а то и увидеть покадровую съемку нашей встречи: вот я подхожу, слегка спотыкаясь на ровном месте, протягиваю книжку (в лупу можно рассмотреть титулы), Белла Ахатовна смотрит удивленно, потом с улыбкой, мы оба в кадре, и она что-то пишет в книжке, которую я стараюсь покрепче держать в руках. И поскольку возникло бы подозрение, что я через нее предупредил наблюдаемого, ты нашел бы в этой папке все обо мне: мои привычки, мои слабости и пороки, и какой тип женщины я предпочитал, помногу ли пил и нуждался ли опохмелиться, ну и мои, ясное дело, умонастроения. И ты бы тогда составил полную картину, что же собою представлял я, не пошевеливший пальцем, чтоб приблизить то время, когда нам дадут прочесть нашу собственную историю.

— Даю оперативку, — прерывал мои размышления мордастый. — Вечером у хозяина слет ожидается, надо полагать — с водочкой.

— Три поллитры куплено «Старомосковской», — подтверждал Коля-Моцарт. — Валера фиксировал.

— Будет кой-кто из диссидентуры, — мордастый называл имена, которые можно услышать по радио, то есть когда-то было можно, покуда эти поляки не вынудили нас глушить «вражеские голоса». — Привезут, конечно, «документы» на подпись... Ну, это не наша забота. А вот проследить насчет рукописей. Есть сообщения, что двое молодых собираются прийти, из «Союза независимых», или как они там себя называют? Что-нибудь почитают, наверно, вслух, а если толстое — то и оставят.

— Так чего с этим делать? — спрашивал Коля.

— Фиксировать, больше ничего. Пока никаких указаний не поступало. Наш объект — хозяин. И — каналы, каналы!

Уходя, мордастый взглядывал мельком на мою «золотую полочку», где уже, как вы понимаете, никаких «Зияющих высот» не было, зияла — пустота.

— Сынок наш взрослеет,— как-то сказал он на прощанье папе; желая доставить приятное.— И в целом мы вами довольны.

— А мы вами — нет,— отвечал папа — впрочем, когда дверь за мордастым закрылась.

С моими стариками определенно что-то происходило. Они все больше мрачнели. Папа охладел заметно к своей коллекции, забывал протирать ее тряпочкой по утрам, рассматривать и переставлять часы с места на место, даже заводить забывал — и вскоре иные вообще умолкли, динькали и блямкали только те, что с недельным заводом; он все реже шикал на маму, а мама все меньше стеснялась нашей «пониженной звукоизоляции».

— Ты знаешь, Матвей, что я решила?

— Что ты решила?

— Нам надо купить цейсовский артиллерийский бинокль. Я видела в фотомагазине — за девяносто шесть рублей.

— Зачем? У нас есть бинокль.

— Театральный? Это дерьмо. Артиллерийский дает восьмикратное увеличение.

— Зачем нам восьмикратное увеличение?

— Ты не понимаешь? Я хочу во всем участвовать.

Это слово — «участвовать» — она теперь часто проносила, к месту или не к месту. Звала ли ее соседка занять очередь за сардельками — она отвечала: «Нет, я, пожалуй, сегодня не буду участвовать»; собирались ли подписи на выселение буйного алкоголика, художника К., в молодости сталинского лауреата: «Я подумаю, надо ли мне участвовать»; складывались ли по трешке на ремонт и покраску скамеек: «Считайте, что я в этом участвую».

— В чем ты хочешь участвовать? — спрашивал папа унылым голосом.

— Во всем! Я потратила свою молодость на субботники и воскресники, увлекалась поэзией бесплатного труда, но, оказывается, есть такое бесплатное удовольствие — не считая, конечно, стоимости бинокля — заглядывать в чужие квартиры, в чужие окна... я не знаю, в замочные скважины. Я чувствую, как я от этого молодею!

— Аня, прошу тебя — тише.

— Почему — «тише»? Я хочу — громче! Я хочу слы-

шать, что делается в чужих постелях, о чем говорят любовники в антрактах или муж с женой. Ты не видал объявлений — где-нибудь можно купить по сходной цене подслушивающую аппаратуру? Я понимаю, в государственных магазинах нам не продадут, но где-нибудь подпольно, я тебя уверяю, ее делают — и не хуже, чем у японцев. Но начнем с артиллерийского бинокля, потом ты втянешься, тебя будет не оторвать. Недаром весь мир на этом помешался, теперь же самое модное занятие — подслушивать и подглядывать.

Папа вставал и, согбенный, шаркая шлепанцами, уходил на кухню. Мама, подняв голову, как пойнтер на охотничьей стойке, глядя своими черными, расширившимися глазами в окно, слушала, как он там чиркает спичкой, ставит чайник на газ, открывает банку растворимого кофе.

— Пол-ложечки! — кричала ему, не выдержав. — И добавь, пожалуйста, молока. Без молока я не позволю.

— Я не понимаю! — взрывался папа. — Кому из нас было плохо с сердцем?

Мама переводила взгляд на меня — он был теперь вопрошающим, сострадательным и вместе неуловимо разочарованным, — кусала губы, отчего горестно искажались ее красивое еще, иконописное лицо, и отвечала едва слышно:

— У всех у нас плохо с сердцем.

В мои библиотечные дни, занимаясь в Ленинке с утра до вечера, я все же приезжал на метро к обеду. Так гребовала мама, и так нам всем было дешевле и лучше. Пятнадцать минут сюда, пятнадцать обратно, и все мои дневные траты — четыре пятака, не считая сигарет.

Выходя из вагона, я по какому-то наитию поднял голову и увидел, что папа ждет меня наверху, на мосту, перекинутом через нашу наземную станцию и который отчасти служит ей крышей. Я настолько не привык видеть папу на улице одного, без мамы, что сердце у меня подпрыгнуло.

— Успокойся, — сказал папа, хотя я ни о чем не спросил. — Мама просто прилегла отдохнуть. Так что обед у нас будет попозже. Мы с тобой пока перекусим в «Багратионе».

Это ближайшее от нас кафе, на нашей же Малой

Филевской. Я помню, лет шесть мы ждали его открытия — и были поражены, как быстро, в первую же неделю, установился в нем запах захудалой столовки, этот омерзительный и сложного состава аромат увядшей капусты, перекаленного жира, лежалой рыбы и такого же мяса, вдобавок еще блевотины и скандала. Никто «порядочный» сюда не ходил, да и сейчас захаживают изредка — прежняя слава еще не рассеялась. Когда уже махнули рукой на наше кафе все ревизоры и комиссии, в дело вошел последний его заведующий, он же и бармен, коренастый армянин, большеголовый и без шеи. Он поначалу приезжал на метро, но вскоре стал ездить на красной «Ладе», попозже — на «бамбуковой», теперь — на белой, — но, надо признаться, не без заслуг: деньги и материалы, им же и выбитые на капитальный ремонт, он потратил с толком. Он оборудовал импортный бар в углу, стены обшил панелями темного дерева и шоколадной кожей, установил разноцветные светильники, каждый столик заключил в отдельную кабинку, отгороженную высокими, резного дерева, переборками. Он, наконец, вышиб к чертовой матери «музыкальный ансамбль», этих наших «песняров», длинноволосых и наглорожих, сексуально озабоченных, с их инкрустированными электрогитарами, с притопами и прихлопами, с идиотскими «ла-да-да», — и заменил их довольно несложным ящиком, из которого полилась негромкая и совсем недурная музыка. Оказалось, и невыветриваемый брезготный дух — выветривается, при некотором напряжении ума и сил можно его вытеснить амброзией шашлыка и тмином, кинзой и эстрагоном. Много может сделать человек, если на него махнуть рукой! Жаль только, силы сопротивления опомнятся, да и не кудесник же он — без конца доставать хорошую баранину.

Весь путь до «Багратиона» папа не проронил ни слова, только подозрительно оглядывался. В жаркий день на нем был его приличный костюм цвета маренго, дважды побывавший в чистке, рубашка с глухим воротом и галстук, повязанный толстым узлом. Во всем облике моего старика чувствовалась непонятная мне, но отчаянная решимость.

Мы выбрали дальнюю кабинку возле окна, хотя немного их было занято в глубине зала, и никто бы нам особенно не мешал: в одной гудела компания

азербайджанцев, в другой — лопотали по-французски четверо негров, наверно, из «Лумумбы», еще в двух-трех сидели парочки, премного занятые друг другом, а здесь нас мучило солнце и донимал уличный шум. Но папа так решил, и я не стал возражать.

Официантки нам, ясное дело, не светило скоро дожждаться, но сам заведующий, он же бармен, не торопясь, вышел нас обслужить. Он принес нам по шашлыку на овальных никелированных гарелочках, подстелив под них синие бумажные салфетки, побрызгал из одной бутылки чем-то винно-красным, из другой — бледно-желтым, посыпал из руки жемчужными полуколечками лука и пахучим зеленым крошевом. Рукамы же переломил надвое лепешку лаваша. Было в этом что-то милое, домашнее. Папа его попросил забести музыку. Он молча кивнул и удалился за свою стойку.

Папа зачем-то поглядел под стол, попробовал откинуть спинку дивана, заглянул за портьеру и, приступив наконец к шашлыку, спросил:

— Ты понял, кто у нас поселился?

— О, да! На этот счет у меня никаких сомнений.

— Так ты таки ничего не понял!

Он приблизил ко мне лицо, изрезанное морщинами, с тонким хищным носом и ястребиными, табачного цвета, округлившимися глазами, — лицо Шерлока Холмса, только не с Бейкер-стрит, а откуда-нибудь из Бердичева, — задышал на меня барашком, кинзой и луком.

— Мы с мамой давно уже догадались. Уголовники. Обыкновенные уголовники. Но не простые, а — международного класса. Уверяю тебя, их наверняка разыскивает Интерпол.

Я отшатнулся.

— Папа, что ты говоришь? Они, прежде всего, русские.

— Да? Они тебе показали паспорт? Они тебе показали фитюльку — и то на одну секунду. Дай мне сигарету, пожалуйста, мама не почувствует, что я курил... Да? Ну и что — что русские? Почерк у них — явно международный. Ты слышал, как они шантажируют по телефону каких-то людей, в особенности — женщин? По чужому телефону! И ты не почувствовал, что это какой-то условный шифр? Это же так ясно.

Это их жертвы! Как я думаю, они послали этим людям подметные письма с требованием — положить в определенное место такую-то сумму, но те почему-то не поддались на провокации, и отсюда эти угрозы. Ты слышал, чем они угрожают? «Тебе, падла, по земле не ходить». И ты меня станешь уверять, что они — оттуда? — папа с брезгливой гримасой помотал вилкой. — Не-ет! Там себе такого не позволяют. Там серьезное государственное учреждение. Там, конечно, не ангелы служат, у них свои «но», не будем говорить здесь... Но на такие штуки там не идут!

— Да почему ты думаешь? Почему мы все думаем, что есть какие-то штуки, на которые они не пойдут?

— Я знаю, — сказал папа, для вящей убедительности закрыв глаза. — Я знаю, если говорю.

— Но у них же... аппаратура.

Странно, это было единственное, что я нашел возразить.

— Хо-хо! — сказал папа. — Достать аппаратуру — это теперь не такая проблема. Наверняка ее где-нибудь делают подпольно — и не хуже, чем у японцев.

Я услышал совершенно мамины интонации.

— Хорошо. Если так, как ты говоришь, чего ж они хотят от нашего визави?

Глаза у папы, кажется, стали еще круглее, седой ежик пополз на лоб.

— Ты еще не догадался? Они и его хотят ограбить, только — в валюте. Они уже заранее считают его деньги. Сколько он получит в Германии, сколько во Франции. А если переведут на английский и на испанский, тогда он — просто миллионер. С их точки зрения. Они только ждут, когда он закончит, чтоб тут же захватить рукопись. И этим они его будут шантажировать: «Отдадим, но при условии — положите энную сумму в такой-то банк». Или просто продадут каким-нибудь пиратам из желтой прессы. Мы себе даже не представляем, какие у них возможности, связи во всем мире. И ведь он перед ними совершенно беззащитен. Он же — вне закона! Ты это-то понял?

Это-то я понял, я только не мог понять, верит ли сам папа в свою кошмарную гипотезу. Он вообще любитель гипотез, в особенности — фантастических, от которых у собеседника иной раз уши вянут, — а ведь, казалось бы, человек точного знания, инженер, не я —

с моим энтузиазмом и теорией «других рождений». Но даже если и правда это — не может же быть, чтоб там об этом не знали, не были б даже рады, если бы с нашим «отщепенцем» что-нибудь этакое произошло. И чем мы ему поможем? Не с нашими пулеметами соваться в политику! У меня даже заныло под ложечкой.

— Ты считаешь, мы его должны предупредить? — спросил я. — Скажу тебе честно — я боюсь.

— Ты мой сын, — сказал папа, — поэтому ты боишься. И поэтому говоришь об этом честно.

— В конце концов, кто он нам и кто мы ему?

— А вот это уже — нечестно. — Папа смотрел на меня скорбно, и мне было трудно выдержать его взгляд. — Ты знаешь ответ на свой вопрос. Мы ему — читатели. А он нам — собеседник. Он же к нам обращается! А мы — затыкаем уши.

— Ты можешь мне сказать, почему он не уезжает? Столько людей мечтают вырваться — и не могут, а от него бы избавились с дорогой душой. Неужели ему не хочется мир повидать — Венецию, Лондон, Париж?..

— И заплатить за свое любопытство — родиной? — спросил папа. И, не дождавшись моего ответа, покачал головой: — Я поздравляю тебя, Александр. Ты хоть и поздний наш ребенок и с поздним развитием, но вырос настоящим советским человеком, я могу только гордиться. Ты научился решать за других — кому ехать, кому не ехать. Но что делать, если он решил не по-твоему? Вот решил, что нельзя сейчас покинуть Россию. И как бы ты отнесся, если б действительно он уехал? Совсем равнодушно?

Разумеется, не опустела бы земля, подумал я, но что-то, наверно, сдвинулось бы тогда хоть в нашем микромире — и не в лучшую сторону. Он стал нашей экзотической достопримечательностью, для многих не лишенной приятности. Приятно ведь знать, что кому-то живется еще труднее. У меня, например, это так. И я бы, наверно, бросил в него камень. Почему же он не выдержал? Как посмел не выдержать!

— Но ему было столько предупреждений! — я возразил скорее не папе, а себе. — Начать с телефона, с почты, с того, что машину нельзя оставить, чтоб дворцы не вскрыли, не порезали покрышки, не залили б какую-нибудь дрянь в бензобак. И допросов ему хва-

тило, и слезки по пятам. Что еще ждать? Обыска? Чтоб взяли архив, переписку, книги, рукописи?..*

— Это предупреждение? — сказал папа. — Это жизнь. Да, которую он себе выбрал. Он писатель, он это предвидел, он свою страну немножко знает. В этом отношении — «все системы корабля работают нормально». А вот они, наши «родственники», — папа все гнул свою гипотезу, — это уже ненормально.

Не назвал бы я нашего соседа таким уж провидцем насчет родной страны, случалось ему и открытия совершать, лишь для него одного неожиданные. Я помню, лет десять назад, когда он был еще официальным писателем (интересно, в каком другом удивительном мире есть писатели официальные и неофициальные?), он сажал во дворе и вокруг дома елочки — штук семьдесят, если не больше. Он возил их откуда-то из лесу, километров за сорок, на своем, теперь уже состарившемся, «Москвиче» — по три, по четыре в рейс, обернув рогожей большие комья земли. Все эти елочки прижились и тронулись в рост, и вот тут-то мы показали этому психу, что он не зря потрудился для общества. Перед каждым Новым годом по ночам визжали ножовки — ведь у нас такой прекрасный, человеческий обычай; елочка в доме под Рождество — и желательна не из синтетики, а натуральная. Скоро от всех семидесяти остались одни колья, с полуосыпавшимися боковыми ветвями, смотреть противно и горестно. А ведь его предупреждали, — но он отвечал: «Видите ли, я стараюсь так не думать». Как же было не понять еще тогда, что мы — больная страна, больная неизлечимо. Если б я мог покинуть ее — и только вспоминать, как страшный сон!

Но мне не выдержать того, что выдержала слабая женщина, Дина. Не пережить мне того, холодящего сердце, состояния невесомости, которое называется «быть в подаче» или «в отказе», не собрать всех этих идиотских справок, не имеющих отношения ни к телу моему, ни к бессмертной душе; меня сожгут эти взгляды служебных сук, исполненные патриотического презрения и лютой зависти: «Есть шанс вырваться? А мы — чтоб тут оставались?» Она прошла по этим го-

* Примечание рассказчика: после описываемых событий был обыск.

рящим угольям, и я сейчас вижу ее такую, какой она улетала из Шереметьева, — когда она вышла, всего на несколько секунд, на знаменитый «балкончик прощания», растерзанная после нательного обыска, вся красная и в слезах, и сказала мне сверху каким-то рваным бесцветным голосом, — каким, наверное, произносит свои первые слова зверски изнасилованная: «Теперь ты, Саша... Через год — там... Я буду ждать...» Я стоял в окружении топтунов, которыми кишмя кишит провожающая толпа, но не только поэтому не ответил ей, просто — не знал, что обещать. Скрипку ее, довольно ценную, провезти не удалось, — но, кажется, ей такая и не понадобится в Бостоне, США, с концертами у нее пока не выходит, она дает уроки музыки и этим зарабатывает столько, что «двум нашим семьям, — как она пишет, — с голоду умереть невозможно». Первые письма от нее полны были эйфории, она желала успеха моей диссертации и заверяла, что здесь то, чем я занимаюсь, будет иметь вес — побольше, нежели там, — но полтора года прошло, и все больше стало сквозить грусти и раздражения — оттого, что меня, по-видимому, не дожидаться; в последних — она скучает по Москве и «даже по всей нашей мрази», а о том, что ждет, уже ни слова. Может быть, если б вышло с концертами, и не было бы причин для тоски.

— Он мог бы писать свои книги, — сказал я, — хоть на Азорских островах. Пожалуй, больше бы преуспел. А результат был бы тот же — тысяча экземпляров на всю Россию.

— Наверное, мог бы, — сказал папа. — Но я думаю, что книги немножко по-другому читаются, если знаешь, что автор живет не на Азорских островах. Поэтому, — закончил он неожиданно, со своей причудливой логикой, — мы отсюда пойдём в милицию. В оперативный отдел.

У меня еще сильнее заняло под ложечкой.

— Прямо сейчас?

— Можно не сразу, — легко согласился папа. — Мы попросим, чтоб нам сбили по коктейльчику. С вишенкой.

Мы покончили с шашлыками и пересели на высокие табуретки бара. Глядя, как бармен смешивает нам «шампань-коблер», папа вдруг спросил:

— Скажите, вы не скучаете по вашему Еревану?

— Я не из Еревана,— ответил бармен.— Я из Нахичевани. Почему скучать? Я оттуда никуда не уезжал.

— Как это? — спросил я довольно глупо.

— Я могу завтра туда поехать. Значит — я там живу.

— Видишь! — сказал мне папа, подняв палец.— В этом вся суть.

Все же и после коктейльчиков, которых мы заказали по два, ноги не очень-то нас несли к желтому флигельку бывшей усадьбы Огаревых, которая высится над крутым лесистым спуском к Москве-реке и куда, как гласит история, Герцен посылал своего слугу с записками к другу. По дороге я спросил папу:

— А что по этому поводу посоветовала мама?

— Мама? Ничего не посоветовала. Только сказала: «Я не желаю участвовать во всем этом дерьме».

— Так и сказала?

— Кажется, даже немножко резче.

И вот мы пришли и сели перед большим столом, за которым — вполоборота к нам и глядя в окно — сидел массивный майор в светло-серой рубашке и темно-сером галстуке, лет за сорок, с длинными залысинами, с пухлым лицом, с заплывшими глазками,— то ли монгольский божок, то ли Будда, то ли кот сибирский, где-то потерявший свои усы. Окно было настежь распахнуто, но забрано решеткой из толстых прутьев, расходящихся веером из нижнего угла. На лужайке перед окном четверо младших чинов дрессировали своих собак — огромных черноспинных и черномордых тварей, с пегими лапищами и нежно-бежевыми пушистыми животами,— учили их, как правильно нюхать тряпку и совершать круг, перед тем как рвануться по следу. Майор, развалиясь на стуле, держа одну руку в кармане, а другую на столе, внимательно наблюдал за учениями, но кажется, так же внимательно слушал, что ему втолковывал папа, потому что один раз, к месту, перебил недовольно:

— Как это вы говорите — «вне закона»? Закон на всех распространяется. По крайней мере, у нас в районе. Ну, продолжайте.

Раза два он взглянул на папу с видимым интересом, но и с неуловимой усмешкой, как смотрит чисто-породный «ариец», русско-татарских кровей, на по-

жилого еврея. Похоже, мы скрасили ему дежурство всей этой фантазмагорией. Но я ждал, когда нас все-таки попросят за дверь.

— Однако это еще не все,— вдруг сказал папа.— Вы бы послушали, какие анекдоты они рассказывали друг другу! Разумеется, низкопробные, и, я бы сказал, с очень нехорошим политическим душком.

Бог мой, это говорил мой папа, который во всю свою жизнь ни на кого не донес, ни разу даже не пожаловался!

— Скажу прямо — махрово антисоветские.

Майор повернулся к нам и налег жирной грудью на стол. Опора власти горела желанием — послушать хороший махровый анекдотец с нехорошим политическим душком.

— А ну, ну! Поглядим, что за дым.

— Про нашу милицию,— сказал папа.— Но я не хотел бы здесь...

— Про милицию? — в глазках майора зажглось что-то зеленое, как у кота, когда он смотрит на птичку.— Ничего, давайте, а где ж их еще рассказывать?

— Значит, один — такой. Подходит пьяный к милиционеру: «Дай ушко, я тебе политический анекдот расскажу». Тот говорит: «Ты что, не видишь, что я — милиционер?» — «Это ничего,— говорит пьяный,— я тебе три раза расскажу». Вот в таком духе.

— Та-ак,— сказал майор.— А еще какой? Вы ж сказали: «анекдоты», а только один рассказали.

— Второй — совсем дурацкий. И порочит нашу милицию совершенно зря.

— Они все дурацкие,— сказал майор.— И все порочат.

— Опять же пьяный,— сказал папа,— идет по улице и орет: «Але! Але! Говорит «Голос Америки» из Вашингтона». Подходит милиционер: «А ну, замолчи сейчас же!» А пьяный — не унимается: «Але, але...» ну и так далее. Милиционер его окунает в лужу...

— Как это? — спросил майор.— С головой?

— Разумеется. Чтобы пресечь эти выкрики. Но по сюжету пьяный не захлебывается, а продолжает из-под воды: «Ле... ле... хварыть... хлас... мерк... с Ваш... хтона...» Тогда милиционер садится перед ним на корточки и делает ртом: «Уу! Уу! Уу!»

— Глушилку изображает?..

— Я же говорил — никакого отношения к милиции. Майор закрыл глаза, словно чтоб погасить в них зеленое злое мерцание, и — после долгой выдержки — медленно их открыл.

— Вот что скажу, товарищ Городинский. У вас никого в квартире быть не должно. Этому писателю нашему наружное наблюдение не полагается.

Папа взглянул на меня с торжеством, однако и сам удивился:

— Вы точно знаете?

— Точно, — сказал майор. — Все, что я говорю, всегда точно. Нас бы тогда предупредили. Я бы, по крайней мере, знал. Поэтому ваше предположение, что они бандиты, обоснованно.

Он отодвинулся вместе со стулом, вытянул до живота ящик стола, достал блокнот, из красного пластмассового стаканчика вытащил заточенный карандаш.

— Это называется «оперативный блокнот». Вы мне тут нарисуйте вашу квартиру. Чтоб я все понял, где что находится. — Он повернулся опять к окну. — Митрофанов!

— А? — Митрофанов и его пес обернулись одновременно.

— Поди сюда, «А»...

— С собакой?

— Как хошь. Можно с собакой, можно без собаки.

Они все же подошли вместе. Пес, положив лапы на подоконник, просунул меж прутьев шумно дышащую пасть. От них обоих в маленькой комнате вполонину уменьшилось света.

— К собаке у меня претензий нету, — сказал майор. — А есть у меня претензии к участковому Туголукову. Как это, понимаешь, у нас непрописанные живут выше недели, а нам про это ничего не известно? Вот в этой квартире. — Он показал пальцем на блокнот, где уже появились передняя и санузел. Пес тоже поглядел и беспокойно взвизгнул. — И мало, что без прописки живут, так еще анекдоты про милицию сочиняют.

— Я не сказал «сочиняют», — возразил папа.

— Это уж мне известно, кто их сочиняет. И зачем. Ты только послушай, Митрофанов!

Папе пришлось, не прерывая занятия, пересказать оба анекдота Митрофанову с его псом. Первый про-

шел для Митрофанова бесследно, а после второго он было реготнул, показав нам хорошие деревенские зубы с крепкими деснами, но был осечен грозным взглядом майора.

— Как ты считаешь, Митрофанов, это выпады против нас или мне показалось?

— Выпады,— сказал Митрофанов.— И злостные.

— Это я и хотел от тебя услышать. А ты — смеешься.

Пес взглянул на хозяина удивленно, затем, склонив голову набок, принялся разглядывать меня и папу умнейшими ореховыми глазами. Мне показалось, он все же не до конца нам поверил.

— Я сейчас обедать пойду,— объявил майор.— Тут эти должны приехать с задержания, Кумов с Золотаревым. Им сегодня еще работка найдется небольшая, так что пусть подождут, я лично дам инструктаж.

— Устали, поди, Кумов с Золотаревым. Понервничали.

— С чего бы? Володьку Боже-Мой брали.

— Уже он опять освободился? — спросил Митрофанов.

— Уже ему снова садиться пора,— ответил майор.— Свыше недели погулял.

— Не отстреливался?

— В этот раз нет. А забаррикадировался в доме и грозитя горло себе перерезать.

— Не перережет,— сказал Митрофанов.

— Раз грозитя — значит, не перережет. Ну, иди, тренируй дальше.

Пес, взглянув на хозяина вопросительно — принять ли это за команду, с видимым сожалением убрал свои лапы с подоконника и потащился за Митрофановым на лужайку.

Папа вычертил план изящными быстрыми касаниями карандаша, так ровно и точно, как и подобало старому проектировщику плавильных агрегатов для цветного литья. Он даже проставил кое-где размеры в миллиметрах. Майор поглядел на него с уважением и стал вникать:

— Так, эта панель у вас сплошная. А вот эта дверь — к себе открывается или от себя? Ручка — справа или слева?

Убей меня Бог, чтоб я все это помнил, но папа отвечал уверенно:

— От себя, ручка — справа.

— Хорошо.— Майор даже повеселел.— Теперь учитите. Оно, конечно, следовало бы удалить лишних людей из зоны операции, тем более — пожилых, со всякими там функциональными расстройствами, поскольку возможна перестрелка. Но с точки зрения оперативной — лучше, чтоб эти люди оставались в квартире.

— Станьте, пожалуйста, на оперативную точку зрения,— отвечал папа, бледнея, но твердо.

— Я понимаю, вы люди... скажем, робкие. Но я попрошу вас — усильтесь.

— Мы усилимся,— обещал папа.— Можете на нас целиком рассчитывать.

— Тогда — где вам лучше укрыться. Бетонную панель пуля не прошивает, но не исключаются рикошеты. Иногда — двойные и тройные. Вот в этом уголке,— он показал карандашом на плане,— опасность наименьшая.

— У нас тут как раз стоит диванчик.

— И прекрасно, что стоит. Хозяйка пускай приляжет, как будто ей нездоровится, а вы возле нее посидите. И будете вести громкий разговор. Я бы его определил как «бурный». Но — не скандальный, это тоже привлечет внимание. Вы, скажем, поспорьте с ней на литературные темы. Или, скажем, про последний спектакль по телевизору.

— Телевизора у нас нет,— сказал папа.— Принципиально. Но это неважно, повод у нас найдется поспорить. Скажите, а ему? — Папа кивнул на меня.— Ему, наверно, необязательно участвовать в нашем бурном споре, лучше погулять во дворе?

— Спорить ему не нужно,— сказал майор, не глядя в мою сторону.— Ему лучше помолчать. И открыть двери как можно бесшумней. Ровно в половине шестого.

— Все двери? — спросил я, ощущая, с какой стороны у меня сердце.

— Зачем? — майор опять не поглядел на меня.— Одну входную. А там — хоть в воздухе испаритесь.

Можно ли было провести эту операцию хуже, чем мы ее провели? Папа и мама спорили у себя в комна-

те до того занудливо и такими ненатуральными головами, как если бы сильно перепились и приставали друг к другу с вопросами: «Ты меня уважаешь?» А минут за десять до срока они совершенно исчерпали тему и смолкли. Я отпирал дверь трясущейся рукой — и замок щелкнул на всю квартиру. Отчасти спасла положение кукушка в папиных часах, которая не запоздала распахнуть створки и отметить половину шестого печальным криком. Скрип отходящей двери приглушили железным урчанием и тяжким боем часы с бульдогом...

Они тотчас же вошли — в светлых, нежно-кофейных, плащах, засунув руки глубоко в карманы, оба молодые, стройные, хорошо подстриженные и причесанные, с подбритыми по моде височками. Если б вы ждали увидеть квадратные плечи и подбородки-утюги, так этого не было, — разве что нос у одного слегка расплюсчен, а у другого — слегка на сторону.

— Ку-ку, — сказал мне первый, кто вошел, с расплюсченным, приблизив ко мне лицо и совершенно беззвучно, как будто и не сказал, а мысль передал внушением. — Дай же пройти, лопух.

— Простите, пожа... — успел я вымолвить, прежде чем его рука, деревянной твердости, запечатала мне рот.

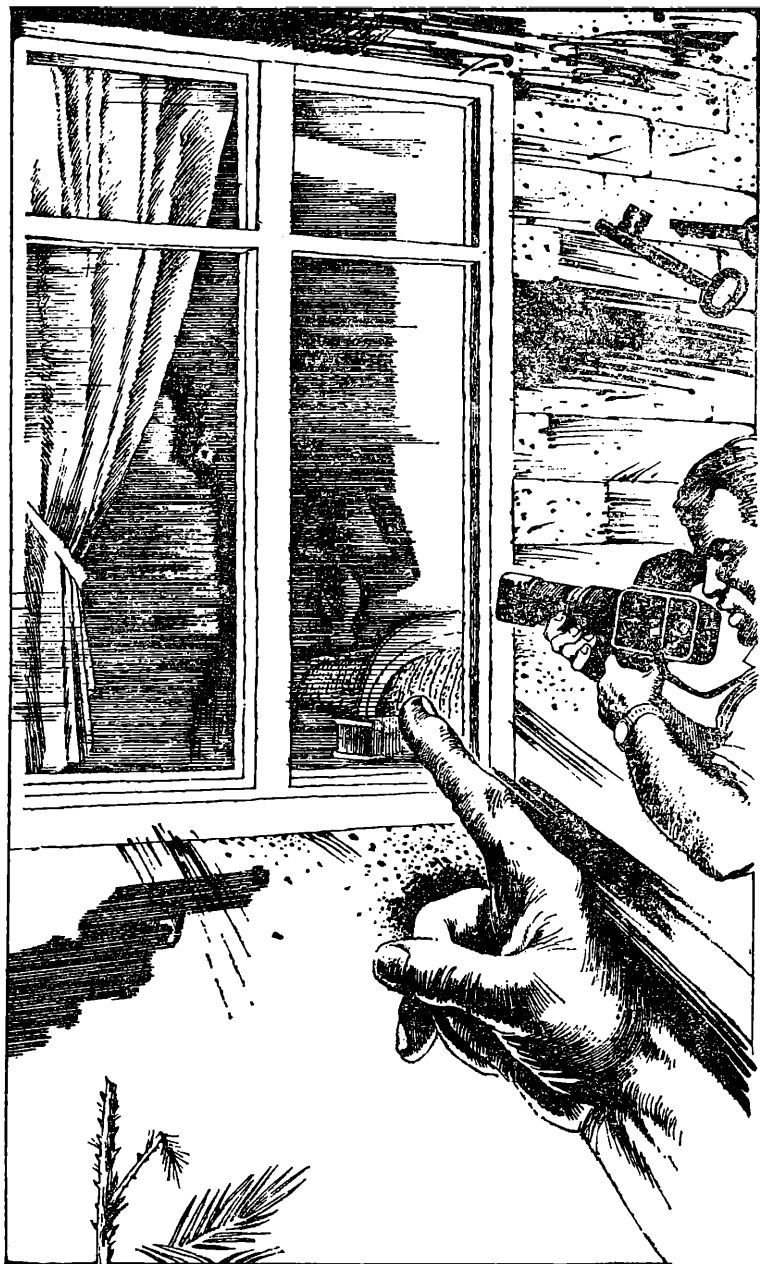
Второй, с носом на сторону, притиснул меня одной рукой к стенке и затворил дверь, которая, как выяснилось, может и не скрипеть. Не заскрипел и наш старый паркет, когда они пошли по нему друг за другом в тяжелых ботинках.

В моей комнате шел государственной важности разговор — Коля-Моцарт докладывал мордастому, пришедшему за полчаса до этого:

— ...Еще жене пальто кожаное привезли в подарок, цвет беж, Валера зафиксировал. Туристка из Италии привезла на себе, вышла в курточке, в зеленой.

— Ничего себе подарок! — слышался голос моей дамы. — По каталогу фээргэ такое пальтишко — триста шестьдесят девять марок, и еще сумка под цвет. Кто это им такие подарки делает? Это же скрытый гонорар. Совсем уже обнаглела. И что только делают, что делают!

— А сколько ж это в рублях, если посчитать? — задумался мордастый.



Первый, кто вошел, отпихнул дверь ботинком и, выдернув руку с пистолетом, бросился в комнату.

— А щас посчитаем в рублях!

Второй, став против двери тоже с пистолетом у живота, рывкнул на всю квартиру:

— Всем на месте! Не двигаться! Башку прострелю!

Там что-то упало на пол, послышался изумленно-испуганный, но бессловесный вскрик моей дамы, и быстро залопотал мордастый:

— Что такое, что такое, что такое? Свят-свят!..

Кажется, один Коля-Моцарт сохранил спокойствие, но ему-то как раз и досталось — я услышал звук, точно кулак с размаху впелся в тесто, и обиженный Колин взрев. Он что-то пытался объяснить насчет удостоверения, но нечленораздельно и вперемешку с матом, поэтому остался не понят.

— Опять лезешь, падла, куда не след? Еще пошевели у меня мослами! Сказано было — не двигаться.

Второй, оставшийся в коридоре, ласково посоветовал:

— А ты их к стеночке прислони, Олежек. Оно же удобнее будет.

— А и правда, Сергунь, — отозвался Олежек. — Ну-кась, граждане бандиты, валютчики мои золотые, все сюда, к стеночке лицом, упрямся руками, ниже, ниже, вот хорошо.

Сергунь, опустив пистолет, тоже вошел в комнату. Набравшись духу, и я туда заглянул. «Родственники» наши, — не исключая и дамы, — упирались руками в стенку и изображали правильный прямой угол, с перегибом в тазобедренной части. Признаюсь, и в этом положении моя дама сохранила некоторую элегантность.

Олежек, завернув мордастому на спину пиджак, ощупывал брючные карманы и под мышками. Мордастый нервно вскрикивал и рефлекторно двигал ногою.

— Лягаешься, — упрекнул Олежек, тыча ему пистолетом под коленку. — Значится, как этот пьяный говорит? Я, говорит, тебе трижды повторю, чтоб до тебя дошло?

— А милиционер ему что? — спросил Сергунь, направляясь к окну. — Уу? Уу? Уу?

— Ты, Сергунь, путаешь, это в другом анекдоте.

— Какой пьяный? Какой милиционер? — вскричал

мордастый.— Вы из какого отдела? Если угодно, я могу представиться — капитан Яковлев. А вы кто?

— Капитан, капитан, улыбнитесь,— пропел ему Олежек и принялся исследовать его пиджак.

Сергунь между тем исследовал аппаратуру — нечто напоминающее кинопроектор, объективом направленный в окно. От аппарата к розетке тянулся черный кабель. Сергунь повертел ручки, приложил к уху толстый наушник с раструбом из губчатой черной резины.

— Не смей трогать настройку! — визгливо закричала дама.— И слушать вы не имеете права! Я кому сказала? Слышишь, ты?..

И она прибавила нечто такое в адрес мужских Сергуниных достоинств, чего я в жизни не слыхивал от первейших матерщинников. Даже Сергунь застыл в оцепенении.

— Олежек, она вроде выразилась?

— Да вроде чуть не выругалась, Сергунь.

— Что ж она делает? — возмутился Сергунь.— Да она же все святое порочит, лярва. Не-ет, я ее сейчас оттяну... от этого занятия.

Слегка заалев, он шагнул к ней, к ее приполненным формам, выставленным весьма удобно, и рукою, свободной от пистолета, сделал что-то едва уловимое, рассчитанно-молниеносное,— а проще сказать, оттянул по заду,— и у меня в ушах зазвенело от ее поросячьего визга.

— Полегче, Сергунь,— сказал Олежек.— Еще, глядишь, след на всю жизнь останется, мужики любить не будут со всей отдачей.

— На всю жизнь — это нет,— возразил Сергунь, оттягивая еще раз, для симметрии.— А недельку у ней это дело потрясется.

И, не внимая новым визгам бывшей моей дамы,— от которой я излечился совершенно,— и возмущенным, но, к сожалению, неразборчивым восклицаниям Коли и мордастого, Сергунь подошел к окну и отвел занавеску. Поверх его плеча я увидел в окно в пятом этаже и нашего визави, склонившегося над книгой или своими писаниями. На несколько секунд он поднял голову и посмотрел в нашу сторону,— может быть, что-то услышав необычное или почувствовав чей-то взгляд,— но вряд ли он смотрел на что-то определенное и что-нибудь видел, кроме зеленеющих верхушек,

скорее — блуждал в своей туманной перспективе. Потом голова опустилась, и Сергунь бросил занавеску.

— Во дела! — сказал Олежек, разглядывая книжечку, снятую с шеи мордастого. — А он и правда капитан. Только ни фи́га не Яковлев, а Капаев.

— Совершенно верно! — мордастый сделал попытку выпрямиться.

Олежек нажимом пистолета между лопаток возвратил его в прежнее положение.

— А чего ж врал?

— Вы просто не в курсе операции! — вскричал мордастый, тут же, однако, снижая тон. — Я на это задание — Яковлев. Вы понимаете, что такое государственная тайна?

— Чего государственная тайна? — не понял Олежек. — Что ты Капаев или что ты Яковлев?.. Сергунь, у тебя голова не пухнет? Проверь-ка этого, мордастого, он кто будет — Иванов, он же Сидоров, или — наоборот?

Долговязый молча терпел, покуда Сергунь снимал с него книжечку и разглядывал ее, почесывая себе лоб пистолетом.

— Ни то, ни другое, Олежек. Старший лейтенант Серегин, Константин Дмитриевич. А говорили — ты Коля. Ну-к, повернись анфасом, Кистинтин Дмитрич. Вроде похоже..

Дама, не дожидаясь приказа, сама повернула к нему раскрытую книжечку и повернула лицо, от злости оскаленное и густо-красное. Из уважения к ее полу ей позволили оторвать одну руку от стены.

— Ты, значит, не лярва, — сказал Сергунь, — а техник-лейтенант Сизова? А еще кто?

— Никто. Сизова Галина Ивановна.

— Одна честная нашлась, — заметил Сергунь без чувства юмора. — Я, говорит, никто. Ну, за чисто-сердечное признание мы тебе пятнадцать суток не станем оформлять. Как ты, Олежек? Простишь ей оскорбление при исполнении?

— Она ж тебя, Сергунь, оскорбила, не меня. Мне за тебя обидно. Но я же твою доброту знаю. Ты же у нас голубь мира.

— Да уж прощаю. А чего с ними дальше делать, как думаешь? Хрен с ними, пушай выпрямляются?

— А они еще не выпрямились? — удивился Оле-

жек.— Ну, может, им нравится так? Тогда — мы пошли.

— Нет уж, подождите! — мордастый, встав вертикально, теперь, кажется, по-настоящему рассердился.— Извольте все же представиться. Кто вы такие?

— Да здешние мы,— ответил Олежек простецким невинным тоном.— Нас тут в районе все собаки знают. И обляять — побаяются.

— Откуда вы, я уже догадался. А как прикажете в рапорте вас упомянуть?

— Пожалста. Я Кумов Олег Алексеич.— А он — Золотарев Сергей Петрович.

— Книжечки можно не предъявлять? — спросил Сергунь.— Или надо?

Мордастый поглядел, как они засовывают пистолеты за отвороты плащей, и буркнул:

— Не нужны мне ваши книжечки.

— А в рапорте своем,— сказал Олежек,— не забудьте поблагодарить ваш семнадцатый отдел. Который нас не всегда предупреждает.

— А мы этого не любим,— добавил Сергунь.

Выходя, они весело перемигнулись. Мне больше не хотелось смотреть в мою комнату, и я повернулся и увидел папу, который, оказывается, стоял у меня за спиной — весь какой-то увядший, сгорбленный, опустив глаза.

— Ошибочка вышла, папаша,— сказал Олежек, разводя руками.— Люди эти не наши, но, как бы сказать, свои.

Папа лишь молча кивнул. И они переглянулись — малость с удивлением.

Мы проводили их до дверей. Они теперь шагали гулко, грузно, и паркет скрипел под их развалистой поступью.

— Извините, папаша,— сказал Олежек на лестнице, всматриваясь в папино лицо.— Может, лишнее беспокойство внесли... Это у них работа — санаторий, а у нас — погрязнее.

— Извините,— сказал и Сергунь.

— Ничего, что же делать...— ответил папа и закрыл дверь.

В коридоре его дождался мордастый. Волнистый его кок теперь рассыпался по лбу, отчего-то вспотев-

шему, и губы кривились язвительно. Он не говорил, а шипел:

— Что ж, вы проявили бдительность, в этом вас упрекнуть нельзя. Поступили как советский гражданин.

Папа, не поднимая глаз, опять молча кивнул.

— Но вы понимаете, что вы нас дезавуировали? Ввиду исключительной важности объекта, мы здесь никого не ставили в известность, полагаясь на ваше содействие. А что получилось — из самых, что называется, благих намерений?.. А может, не из благих?

— Из благих, — ответил папа скучным голосом.

— Я сейчас иду звонить — если эти люди не имеют секретного допуска, то считайте, задание государственной важности вами сорвано. И мы не сможем продолжать работу из вашей квартиры.

— Зачем же идти куда-то? — спросил я. Должно быть — по глупости.

Он смерил меня своим предолгим уничтожающим взглядом, но ответил не мне, а папе:

— Чтоб я звонил с вашего телефона? Скажу вам прямо: прежнего доверия у меня к вам нет, уж извините. И не трудитесь меня провожать.

Мы и не трудились. От грохота, с которым он захлопнул дверь, у меня сильно заныло где-то внизу живота, не знаю — как у папы.

Дверь в мою комнату была закрыта, и там стояла непривычная, зловещая тишина. Мы с папой, не глядя друг на друга, вошли в большую комнату. Мама, с закрытыми глазами, сидела на диванчике и, прижав ладони к вискам, раскачивалась из стороны в сторону.

— Боже мой, — говорила она, едва не плача. — Ну можно ли так унижать людей! Какие б они ни были...

Папа, нахмурясь и звучно посапывая, стал ходить из угла в угол. Я тоже не мог себе найти занятия. Вдруг папа нашел его для себя — он стал заводить свои часы. Одни за другими он их снимал или сдвигал с привычных мест, поворачивал к себе тылом или прижимал к животу и напористо вертел ключом, морщась как от натуги. Приступая к жизни, они тикали по-особенному громко, точно бы вынужденное бездействие было им в тягость. Папа не подводил стрелки, и все они показывали совершенно разное время, каждые на-

чиная с того, когда испустили дух. Минут десять только они и нарушали давящую тишину.

Но «чу!» — как писали в добром девятнадцатом веке. Нам это показалось — всем троим — слуховой галлюцинацией, но и там, за стеною, явственно что-то включилось, зашипело, переключилось, вступили аккорды гитары, глуховатый тягучий голос певца запел о старенькой скрипке — может быть, заменяющей отечество, — и металлический баритон Коли-Моцарта с воодушевлением подхватил рефрен:

Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба — то гульба, то пальба.
Не оставляйте стараний, маэстро,
Не убиррайте ладоней со лба!..

А вскоре мы услышали какую-то возню в их комнате, очень похожую на любовную, — скрип дивана, повизгивания и шлепки по телу, игривую негу и угрозу в голосе моей бывшей дамы:

— Ко-ля! Мо-царт! Не смей, все жене скажу...

— Бро-ось, — перебивал он протяжно. — Дружеских ласк не понимаешь. Просто нас с тобою работа спаяла...

Я сказал — «в их комнате», но двадцать лет она была моей, и мог же я туда вломиться по забывчивости, толкнуть дверь случайно?

Дама, приятно раскрасневшаяся, уронив на лицо нечаянную прядь и покусывая ее, сидела одной ляжкой на моем письменном столе, а Коля — перед нею на диване, глядя на нее снизу. Моцартова костистая длань обхватывала ее колено, облитое телесным блеском колготки. Она не пошевелилась при мне, даже не посмотрела, а спокойно подождала, покуда Коля не повернулся к двери, спрашивая меня глазами удава: «Что надо?» С горящим лицом я закрыл дверь и вернулся к моим старикам.

Я вернулся как раз в ту минуту, когда с мамой что-то случилось и папа, стоя перед нею, спрашивал с нарастающим испугом и от этого все больше раздражаясь:

— Что с тобой, Аня? Что? Что?..

— Нет! — говорила мама, поднимаясь с диванчика, с такими глазами, которые в романах называют «сверкающими». — Этого быть не может, Этого не может

быть никогда! Чтобы с людьми так поступили, чтобы их...

И она сказала, как именно с ними поступили, теми словами, которые из маминых уст я меньше всего предполагал услышать и не берусь здесь воспроизвести. Я только почувствовал — в эти слова она вложила весь свой шестидесятилетний страх и всю свою смелость, которой мне, наверное, не иметь.

— И чтобы они после этого: не повесились, нет, я им такого не желаю, но даже не поняли бы, что с ними произошло! И это они — русские?! И это они решают — кого лишить родины, гражданства? Надо их самих лишить навсегда — национальности!

Мы не сразу увидели, что папа, уменьшась в плечах, багровый, как перед инсультом, показывает глазами на дверь. К нам, не торопясь, входил Коля-Мозарт.

— Ну что вы так, Анна Рувимовна, — протянул он миролюбиво, усмехаясь одной щекой, похоже что смущенно. — Зачем вы на нас так... злобствуете? Это мы на вас должны обижаться, натерпелись — не дай Бог.

Он потрогал пальцами под глазом — там уже напухал и голубел приличный фингал. Пожалуй, Олежек перестарался, но что делать, подумал я, может быть, это единственный язык, который до них доходит?

— А если б у меня еще оружие оказалось? — спросил Коля сам себя. — Уй, что б тут было!

— Не смей! — услышался рыдающий вопль дамы. — Не смей перед ними еще унижаться! Иди сюда сейчас же!

— Отстань, — Коля отмахнулся своей широкой ладонью. — Ей-Богу, Анна Рувимовна, вы это напрасно — вот насчет гражданства и что мы не русские. Ну, это уж слишком...

— Да они тебе повеситься предлагают! — кричала дама. — А сало русское едят!..

Следом мы и впрямь услышали рыдания — во что-то мягкое. Похоже, она орошала слезами мой диван.

— Может быть, ей что-нибудь нужно успокоительное? — спросила мама, отчасти с жалостью, отчасти — брезгливо.

Коля, не отвечая, закрыл дверь и направился к диванчику, от которого мама тотчас отошла. Он сел, а

она стояла перед ним в двух шагах, стискивая на груди свой темно-малиновый халат.

— Что вы думаете,— спросил Коля,— мы вашему соседу зла желаем? Хотим его посадить? Или — выдворить в эмиграцию? Если б вы знали, как нам этого не хочется. Мы тоже немножко соображаем, кто чего значит для России.

— Почему же вы не оставите его в покое? — спросила мама.— Если уж мы говорим по-человечески...

— Да по-человечески-то мы понимаем, что лучше бы ему здесь печататься. И нам бы меньше было мороки. Но — нельзя! Идеология! Уж очень он далеко зашел. А в то же время — определенные круги на Западе его имя используют в неблагоприятных целях...

— Ой, не надо про «определенные круги на Западе»,— сказала мама.— Не надо про «неблаговидные цели». Это уже не человеческий язык. Скажите, Константин Дмитриевич... Кажется, так вас величать? Я слышала.

— Так,— сказал Коля.

— Вы не думаете, Константин Дмитриевич, что когда ваши дети вырастут,— наверное, есть они у вас? — они прочтут его книги и спросят вас: что было опасного, если просто сидел человек и поскрипывал себе перышком?..

Коля-Моцарт, усмехаясь куда-то в пол, помотал головой, вздохнул. Вздох, по крайней мере, был человеческий.

— Ох, Анна Рувимовна!.. Это они сейчас спрашивают! А когда вырастут — спрашивать перестанут. Потому что поймут — идеология! Нельзя! Да может, это самое опасное и есть — сидит человек и что-то скребет перышком. А мы не знаем — что.

Мама смотрела на его голову и, кажется, не находила, о чем еще спросить. Спросил папа, стоя перед окном и глядя сквозь занавесь вниз, на зеленеющие кроны:

— А что вы будете делать, когда вот эти деревья дорастут до крыши?

— Подпилим,— слегка удивясь, ответил Коля.— Не мы, конечно. Специалистов позовем — по озеленению.

— И долго все это будет?

Коля посмотрел ему в спину светлыми стеклянными глазами.

— Что — «все»?

Папа словно очнулся.

— Я хотел сказать — долго вы его собираетесь держать в осаде. Наверно, покуда он не уедет?

Коля-Моцарт, усмехаясь одной щекой, поднялся с диванчика и пошел к двери. Перед тем как закрыть ее за собой, он все же ответил папе:

— Всю жизнь.

Сергей Довлатов

Одиноким русским женщинам
в Америке — с любовью, гру-
стью и надеждой.

СТО ВОСЬМАЯ УЛИЦА *

В нашем районе произошла такая история. Маруся Татарович не выдержала и полюбила латиноамериканца Рафаэля. Года два колебалась, а потом наконец сделала выбор. Хотя если разобраться, то выбирать Марусе было практически не из чего.

Вся наша улица переживала — как будут развиваться события? Ведь мы к таким делам относимся серьезно.

Мы — это шесть кирпичных зданий вокруг супермаркета, населенных преимущественно русскими. То есть недавними советскими гражданами. Или, как пишут газеты, эмигрантами «третьей волны».

Наш район тянется от железнодорожного полотна до синагоги. Чуть севернее — Мидоу-озеро, южнее — Квинс-бульвар. А мы — посередине.

108-я улица — наша центральная магистраль.

У нас есть русские магазины, детские сады, фотоателье и парикмахерские. Есть русское бюро путешествий. Есть русские адвокаты, писатели, врачи и торговцы недвижимостью. Есть русские гангстеры, сумасшедшие и проститутки. Есть даже русский слепой музыкант.

Местных жителей у нас считают чем-то вроде иностранцев. Если мы слышим английскую речь, то настораживаемся. В таких случаях мы убедительно просим:

* Главы из книги писателя «Иностранка». Печатается с разрешения автора.

— Говорите по-русски!

В результате отдельные местные жители заговорили по-нашему. Китаец из закуской приветствует меня:

— Доброе утро, Солженицын!

(У него получается — «Солозениса».)

К американцам мы испытываем сложное чувство. Даже не знаю, чего в них больше — снисходительности или благоговения. Мы их жалеем, как неразумных беспечных детей. Однако то и дело повторяем:

«Мне сказал один американец...»

Мы произносим эту фразу с интонацией решающего, убийственного аргумента. Например:

«Мне сказал один американец, что никотин приносит вред здоровью!..»

Здесьние американцы в основном немецкие евреи. Третья эмиграция, за редким исключением, — еврейская. Так что найти общий язык довольно просто.

То и дело местные жители спрашивают:

— Вы из России? Вы говорите на идиш?!

Помимо евреев в нашем районе живут корейцы, индусы, арабы. Чернокожих у нас сравнительно мало. Латиноамериканцев больше.

Для нас это загадочные люди с транзисторами. Мы их не знаем. Однако на всякий случай презираем и боимся.

Косая Фрида выражает недовольство:

— Ехали бы в свою паршивую Африку!..

Сама Фрида родом из города Шклова. Жить предпочитает в Нью-Йорке...

Если хотите познакомиться с нашим районом, то встаньте около канцелярского магазина. Это на перекрестке сто восьмой и шестьдесят четвертой. Приходите как можно раньше.

Вот разъезжаются наши таксисты: Лева Баранов, Перцович, Еселевский. Все они коренастые, хмурые, решительные.

Леве Баранову за шестьдесят. Он бывший художник-молотовист. В начале своей карьеры Лева рисовал исключительно Молотова. Его работы экспонировались в бесчисленных домоуправлениях, поликлиниках, месткоммах. Даже на стенах бывших церквей.

Баранов до тонкостей изучил наружность этого министра с лицом квалифицированного рабочего. На па-

ри рисовал Молотова за десять секунд. Причем рисовал с завязанными глазами.

Потом Молотова сняли. Лева пытался рисовать Хрущева, но тщетно. Черты зажиточного крестьянина оказались ему не по силам.

Такая же история произошла с Брежневым.

Физиономия оперного певца не давалась Баранову. И тогда Лева с горя превратился в абстракциониста. Стал рисовать цветные пятна, линии и завитушки. К тому же начал пить и дебоширить.

Соседи жаловались на Леву участковому милиционеру:

— Пьет, дебоширит, занимается каким-то абстрактным цинизмом...

В результате Лева эмигрировал, сел за баранку и успокоился. В свободные минуты он изображает Рейгана на лошади.

Еселевский был в Киеве преподавателем марксизма-ленинизма. Защитил кандидатскую диссертацию. Готовился стать доктором наук.

Как-то раз он познакомился с болгарским ученым. Тот пригласил его на конференцию в Софию. Однако визы Еселевскому не дали. Видимо, не хотели посылать за границу еврея.

У Еселевского первый раз в жизни испортилось настроение. Он сказал:

— Ах вот как?! Тогда я уеду в Америку!

И уехал.

На Западе Еселевский окончательно разочаровался в марксизме. Начал публиковать в эмигрантских газетах запальчивые статьи. Но затем он разочаровался и в эмигрантских газетах. Ему оставалось только сесть за баранку...

Что касается Перцовича, то он и в Москве был шофером. Таким образом, в жизни его мало что изменилось. Правда, зарабатывать он стал гораздо больше. Да и такси здесь у него было собственное...

Вот идет хозяин фотоателье Евсей Рубинчик. Девять лет назад он купил свое предприятие. С тех пор выплачивает долги. Оставшиеся деньги уходят на приобретение современной техники.

Десятый год Евсей питается макаронами. Десятый год таскает он армейские ботинки на литой резине. Десятый год его жена мечтает побывать в кино. Деся-

тый год Евсей утешает жену мыслью о том, что бизнес достанется сыну. Долги к этому времени будут выплачены. Зато — напоминаю я ему — появится более современная техника...

Вот спешит за утренней газетой начинающий издатель Фима Друкер. В Ленинграде он считался знаменитым библиофилом. Целыми днями пропадал на книжном рынке. Собрал шесть тысяч редких, даже уникальных книг.

В Америке Фима решил стать издателем. Ему не терпелось вернуть русской литературе забытые шедевры — стихи Олейникова и Хармса, прозу Добычина, Агеева, Комаровского.

Друкер пошел работать уборщиком в торговый центр. Жена его стала медсестрой. За год им удалось скопить четыре тысячи долларов.

На эти деньги Фима снял уютный офис. Заказал голубоватые фирменные бланки, авторучки и визитные карточки. Нанял секретаршу, между прочим — внучку Эренбурга.

Свое предприятие он назвал «Русская книга».

Друкер познакомился с видными американскими филологами — Романом Якобсоном, Малмстедом, Эдвардом Брауном. Если Роман Якобсон упоминал малоизвестное стихотворение Цветаевой, Фима торопился добавить:

— Альманах «Мосты», тридцатый год, страница двести шестьдесят четвертая.

Филологи любили его за эрудицию и бескорыстие...

Фима посещал симпозиумы и конференции. Беседовал в кулуарах с Жоржем Нива, Оттенбергом и Раннитом. Переписывался с Верой Набоковой. Бережно хранил полученные от нее телеграммы:

«Решительно возражаю». «Категорически не согласна». «Условия считаю неприемлемыми». И так далее.

Он заказал себе резиновую печать: «Ефим Г. Друкер, издатель». Далее эмблема — заложенный гусиным пером фолиант — и адрес. На этом деньги кончились.

Друкер обратился к Михаилу Барышникову. Барышников дал ему полторы тысячи и хороший совет — выучиться на массажиста. Друкер пренебрег советом

и уехал на конференцию в Амхерст. Там он познакомился с Вейдле и Карлинским. Поразил их своими знаниями. Напомнил двум ученым старикам множество забытых ими публикаций.

На обратном пути Друкер заехал к Юрию Иваску. Неделю жил у старого поэта, беседуя о Вагинове и Добычине. В частности, о том, кто из них был гомосексуалистом.

И снова деньги кончились.

Тогда Фима продал часть своей уникальной библиотеки. На вырученные деньги он переиздал сочинение Фейхтвангера «Еврей Зюс». Это был странный выбор для издательства под названием «Русская книга». Фима предполагал, что еврейская тема заинтересует нашу эмиграцию.

Книга вышла с единственной опечаткой. На обложке было крупно выведено: «Ф Е Й Х Т В А Г Н Е Р».

Продавалась она довольно вяло. Дома не было свободы, зато имелись читатели. Здесь свободы хватало, но читатели отсутствовали.

Жена Друкера тем временем подала на развод. Фима перебрался в офис.

Помещение было уставлено коробками с «Евреем Зюсом». Фима спал на этих коробках. Дарил «Еврея Зюса» многочисленным приятелям. Расплачивался книгами с внучкой Эренбурга. Пытался обменять их в русском магазине на колбасу.

Самое удивительное, что все, кроме жены, его любили...

Вот раскладывает свой товар хозяин магазина «Днепр» Зяма Пивоваров.

В Союзе Зяма был юристом. В Америке с первых же дней работал грузчиком на базе. Затем перешел разнорабочим в овощную лавку. И через год эту лавку купил.

Отныне ее снабжала товарами знаменитая фирма «Демша и Разин». Здесь продавалось вологодское масло, рижские шпроты, грузинский чай, украинская колбаса. Здесь можно было купить янтарное ожерелье, электрический самовар, деревянную матрешку и пластинку Шаляпина.

Трудился Зяма чуть ли не круглые сутки. Это бы-

до редкостное единение мечты с действительностью. Поразительная адекватность желаний и возможностей. Недосыгаемое тождество усилий и результатов...

Зяма кажется мне абсолютно счастливым человеком. Продовольствие — его стихия. Его биологическая среда.

Зяма соответствует деликатесной лавке, как Наполеон — Аустерлицу. Среди деликатесов Зяма так же органичен, как Моцарт на премьере «Волшебной флейты».

Многие в нашем районе — его должники...

Около рыбного магазина гуляет с дворнягой публицист Зарецкий. Он в гимнастическом костюме со штрипками, лысина прикрыта целлофановым мешком.

В Союзе Зарецкий был известен популярными монографиями о деятелях культуры. Параллельно в самиздате циркулировали его анонимные исследования. В частности — объемистая неоконченная книга «Секс при тоталитаризме». Там говорилось, что девяносто процентов советских женщин — фригидны.

Вскоре карательные органы идентифицировали Зарецкого. Ему пришлось уехать. На таможне он сделал историческое заявление:

— Не я покидаю Россию! Это Россия покидает меня!..

Всех провожающих он спрашивал:

— Академик Сахаров здесь?..

За минуту до посадки он решительно направился к газону. Хотел увезти на чужбину горсточку русской земли.

Милиционеры прогнали его с газона.

Тогда Зарецкий воскликнул:

— Я уношу Россию на подошвах сапог!..

В Америке Зарецкий стал учителем. Он всех учил. Евреев — православию, славян — иудаизму. Американских контрразведчиков — бдительности.

Всеми силами он боролся за демократию. Он говорил:

— Демократию надо внедрять любыми средствами. Вплоть до атомной бомбы!..

Как известно, чтобы быть услышанным в Амери-

ке, надо говорить тихо. Зарецкий об этом не догадывался. Он на всех кричал.

Зарецкий кричал на работников социального обеспечения. На редактора ежедневной эмигрантской газеты. На медсестер в больнице. Он кричал даже на тараканов.

В результате его перестали слушать. Тем не менее он посещал все эмигрантские сборища и кричал. Он кричал, что западная демократия под угрозой. Что Джеральдин Ферраро — советская шпионка. Что американской литературы не существует. Что в супермаркетах продается искусственное мясо. Что Гарлем надо разбомбить, а велфер увеличить.

Зарецкий был профессиональным разрушителем. Инстинкт разрушения приобретал в нем масштабы творческой страсти.

В его руках немедленно ломались часы, магнитофоны, фотоаппараты. Выходили из строя калькуляторы, электробритвы, зажигалки.

Зарецкий поломал железный турникет в сабвее. Его телом надолго заклинило вертящиеся двери Сити-холла.

Встречая знакомого, он говорил:

— Что происходит, милейший? Ваша жена физически опустилась. Сын, говорят, попал в дурную компанию. Да и у вас нездоровый румянец. Пора, мой дорогой, обратиться к врачу!..

Как ни странно, Зарецкого уважали и побаивались...

Вот появляется отставной диссидент Караваев. В руках у него коричневый пакет. Сквозь бумагу выступают очертания пивных жестянок. На лице Караваева — сочетание тревоги и энтузиазма.

В Союзе он был известным правозащитником. Продемонстрировал в борьбе с режимом исключительное мужество. Отбыл три лагерных срока. Семь раз объявлял голодовки. Оказываясь на воле, принимался за старое.

В молодости Караваев написал такую басню. Дело происходит в зоопарке. Около клетки с пантерой толпится народ. Внизу — табличка с латинским названием. И сведения — где обитает, чем питается. Там же

указано — «в неволе размножается плохо». Тут автор выдерживает паузу и спрашивает:

«А мы?!»

После третьего срока Караваева отпустили на Запад. Первое время он давал интервью, ездил с лекциями, учреждал какие-то фонды. Затем интерес к нему поубавился. Надо было думать о пропитании.

Английского языка Караваев не знал. Диплома не имел. Его лагерные профессии — грузчика, стропалы и хлебореза — в Америке не котировались.

Караваев сотрудничал в русских газетах. Писал он на единственную тему — будущее России. Причем будущее он различал гораздо яснее, чем настоящее. С пророками это бывает.

Америка разочаровала Караваева. Ему не хватало здесь советской власти, марксизма и карательных органов. Караваеву нечего было противостоять.

Лагерные болезни давали ему право на инвалидность. Караваев много пил, а главное — опохмелялся. Благо пивом в нашем районе торгуют круглые сутки.

Таксисты и бизнесмены поглядывали на Караваева свысока...

Вот садится за руль «шевроле» таинственный общественный деятель Лемкус. В Союзе Лемкус был профессиональным затейником. Организовывал массовые гулянья. Оглашал торжественные здравицы в ходе первомайских демонстраций. Писал юбилейные речи, кантаты, стихотворные инструкции для автолюбителей. Подрабатывал в качестве тамады на молодежных свадьбах. Сочинял цирковые репризы:

— Вася, что случилось? Почему ты грустный?

— На моих глазах человек упал в лужу.

— И ты расстроился?

— Еще бы! Ведь этим человеком был я!..

Уехал Лемкус в результате политических гонений. А гонения, в свою очередь, явились результатом кошмарной нелепости.

Вот как это было. Лемкус написал кантату, посвященную 60-летию Вооруженных Сил. Исполнялась кантата в Доме офицеров. Текст ведущего читал сам Лемкус.

За его спиной расположился духовой оркестр. В зале собралось более шестисот представителей армии и

флота. Динамики транслировали кантату по всему городу.

Все шло прекрасно. Декламируя кантату, Лемкус попеременно натягивал солдатскую фуражку или морскую бескозырку.

В заключительной части кантаты были такие слова:

И сон наш мирный защищая,
Вы стали тверже, чем гранит.
За это партия родная
Достойных щедро наградит!..

Последнюю фразу Лемкус выкрикнул с особой горячностью — «достойных щедро наградит!» И в эту минуту ему на голову упал сценический противовес. То есть, попросту говоря, брезентовый мешок килограммов на двенадцать.

Лемкус потерял сознание. Зрителям оставались видны лишь стоптанные подошвы его концертных туфель.

Через три секунды в проходах забегали милиционеры. Еще через три секунды зал был полностью оцеплен. Лемкуса привели в сознание, чтобы немедленно арестовать.

Майор КГБ обвинил его в продуманной диверсии. Майор был уверен, что Лемкус заранее все рассчитал и подстроил. То есть сознательно обрушил мешок на голову ведущему, чтобы дискредитировать коммунистическую партию.

— Но я же сам и был ведущим,— оправдывался Лемкус.

— Тем более,— говорил майор.

Короче, Лемкус подвергся гонениям. Его лишили права заниматься идеологической работой. О другой работе Лемкус и не помышлял.

В конечном счете Лемкусу пришлось эмигрировать. Месяца четыре он работал по специальности. Организовывал массовые поездки эмигрантов к Ниагарскому водопаду. Выступал тамадой на бармицвах. Писал стихи, рифмованные объявления, здравницы, кантаты. Мне, например, запомнились такие его строчки:

От КГБ всю жизнь страдая,
Мы помним горечь всех обид!
Пускай Америка родная
Нас от врагов предохранит!..

Однако платили Лемкусу мало. Между тем у него

появился второй ребенок. И тут его представили баптистам.

Баптисты интересовались третьей эмиграцией. Им нужен был свой человек в эмигрантских кругах. Они хотели привлечь к себе внимание российских беженцев.

Баптисты оценили Лемкуса. Он был хорошим семьянином, не курил и пил умеренно.

Так Лемкус стал религиозным деятелем. Возглавил загадочное трансмировое радио. Вел регулярную передачу «Как узреть Бога?!».

Он стал набожным и печальным. То и дело шептал, опуская глаза:

— Если Господу будет угодно, Фира приготовит на обед телятину...

В нашем районе его упорно считают мошенником.

Вот сворачивает за угол торговец недвижимостью Аркаша Лернер. Видно, ему что-то понадобилось к завтраку? Какая-нибудь диковинная приправа.

Лернер начинал свою карьеру режиссером белорусского телевидения. Его жена работала на телестудии диктором.

Лернеры жили дружно и счастливо. У них была хорошая квартира, две зарплаты, сын Мишаня и автомобиль.

Аркадия Лернера считали крепким профессионалом. Даже пристрастие к замедленным съемкам не могло испортить его телеочерков. В них грациозно скакали колхозные лошади, медленно раскрывались цветы, парили чайки. Лернера увлекала гармония как таковая. Его короткометражки считались импрессионистскими.

А кругом бурлила жизнь, наполненная социалистическим реализмом. За стеной водопроводчик Берендеев избивал жену. Под окнами шумели алкаши. Директор телестудии был ярко выраженным антисемитом.

И Лернеры решили эмигрировать. Тем более что в эту пору уезжали многие. В том числе и близкие друзья.

В Америке Лернер около года пролежал на диване. Его жена работала продавщицей в «Александресе». Сын посещал еврейскую школу.

Лернер мечтал получить работу на телевидении.

При этом он был совершенно нетипичным эмигрантом. Не выдавал себя за бывшего лауреата государственных премий. Не фантазировал относительно своих диссидентских заслуг. Не утверждал, что западное искусство переживает кризис.

Друзья организовали ему встречу с продюсером. Тот хотел заняться экранизациями русской классики. Ему был нужен режиссер славянского происхождения.

Встреча состоялась на террасе ресторана «Блоуап».

— Вы режиссер? — спросил американец.

— Не думаю, — ответил Лернер.

— То есть?

— За последний год я страшно деградировал.

— Но, говорят, вы были режиссером?

— Был. Вернее, числился. Меня тарифицировали в шестьдесят седьмом году. А до этого я работал помощником.

— Помощником режиссера?

— Да. Это который бегаёт за водкой.

— Говорят, вы были талантливым режиссером?

— Талантливым? Впервые слышу. То, что я делал, меня не удовлетворяло...

— О'кей! Я занимаюсь экранизациями классики.

— По-моему, все экранизации — дерьмо!

— Это комплимент?

— Я хотел сказать, что предпочел бы оригинальную тему.

— Например?

— Что-нибудь о природе...

Тут между собеседниками возникла пропасть. И увеличивалась в дальнейшем с каждой минутой. Янки говорил:

— Природа не окупается!

Лернер возражал:

— Искусство не продается!..

На том они и расстались. Лернер еще месяца три пролежал без движения. При этом следует отметить, что его финансовые дела шли неплохо.

Видимо, Лернер обладал каким-то специфическим даром материального благополучия. Вообще я уверен, что нищета и богатство — качества прирожденные. Такие же, например, как цвет волос или, допустим, музыкальный слух. Один рождается нищим, другой — богатым. И деньги тут фактически ни при чем.

Можно быть нищим с деньгами. И — соответственно — принцем без единой копейки.

Я встречал богачей среди зеков на особом режиме. Там же мне попадались бедняки среди высших чинов лагерной администрации...

Бедняки при любых обстоятельствах терпят убытки. Бедняков постоянно штрафуют даже за то, что их собака оправилась в неполюженном месте. Если бедняк случайно роняет мелочь, то деньги обязательно проваливаются в люк.

А у богатых все наоборот. Они находят деньги в старых пиджаках. Выигрывают по лотерее. Получают в наследство дачи от малознакомых родственников. Их собаки удастаиваются на выставках денежных премий.

Видимо, Лернер родился заведомо состоятельным человеком. Так что деньги у него вскоре появились.

Сначала его укусил ньюфаундленд, принадлежавший местному дантисту. Лернеру выплатили значительную компенсацию. Потом Лернера разыскал старик, который накануне империалистической войны занял у его деда три червонца. За семьдесят лет червонцы превратились в несколько тысяч долларов. После этого к Лернеру обратился знакомый:

— У меня есть какие-то деньги. Возьми их на хранение. И, если можно, не задавай лишних вопросов.

Деньги Лернер взял. Вопросы задавать ленился.

Через неделю знакомого пристрелили в Атлантик-Сити.

В результате Лернер приобрел квартиру. За год она втрое подорожала. Лернер продал ее и купил три другие. В общем, стал торговать недвижимостью...

С дивана он поднимается все реже. Денег у него становится все больше. Тратит их Лернер с размахом. В основном на питание.

За двенадцать лет жизни в Америке он приобрел единственную книгу. Заглавие у книги было выразительное. А именно — «Как потратить триста долларов на завтрак»...

После завтрака Лернер дремлет, отключив телефон. Даже курить ему лень...

Я чувствую, пролог затягивается. Пора уже нам вернуться к Марусе Татарович.

ДЕВУШКА ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ

Марусин отец был генеральным директором производственно-технического комбината. Звали его Федор Макарович. Мать заведовала крупнейшим в городе пошивочным ателье. Звали ее Галина Тимофеевна.

Марусины родители не были карьеристами. Наоборот, они производили впечатление скромных, застенчивых и даже беспомощных людей.

Федор Макарович, например, стеснялся заходить в трамвай и побаивался официантов. Поэтому он ездил в черной горкомовской машине, а еду брал из закрытого распределителя.

Галина Тимофеевна, в свою очередь, боялась крика и не могла уволить плохую работницу. Поэтому увольнениями занимался местком, а Галина Тимофеевна вручала стахановцам награды.

Марусины родители не были созданы для успешной карьеры. К этому их вынудили, я бы сказал, гражданские обстоятельства.

Есть данные, гарантирующие любому человеку стремительное номенклатурное восхождение. Для этого надо обладать четырьмя примитивными качествами. Надо быть русским, партийным, способным и трезвым. Причем необходима именно совокупность всех этих качеств. Отсутствие любого из них делает всю комбинацию совершенно бессмысленной.

Русский, партийный, способный алкаш — не годится. Русский, партийный и трезвый дурак — фигура отживающая. Беспартийный при всех остальных замечательных качествах — не внушает доверия. И наконец, трезвый, способный еврей-коммунист — это даже меня раздражает.

Марусины родители обладали всеми необходимыми данными. Они были русские, трезвые, партийные и если не чересчур способные, то, как минимум, дисциплинированные.

Пожились они еще до войны. К двадцати трем годам Федор Макарович стал инженером. Галина Тимофеевна работала швеей-мотористкой.

Затем наступил тридцать восьмой год.

Конечно, это было жуткое время. Однако не для

всех. Большинство танцевало под жизнерадостную музыку Дунаевского. Кроме того, ежегодно понижались цены. Икра стоила девятнадцать рублей килограмм. Продавалась она на каждом углу.

Конечно, невинных людей расстреливали. И все же расстрел одного шел на пользу многим другим. Расстрел какого-нибудь маршала гарантировал повышение десяти его сослуживцам. На освободившееся место выдвигали генерала. Должность этого генерала занимал полковник. Полковника замещал майор. Соответственно повышали в званиях капитанов и лейтенантов.

Расстрел одного министра вызывал десяток служебных перемещений. Причем направленных исключительно вверх. Толпы низовых бюрократов взбирались по служебной лестнице.

На заводе, где трудился Федор Макарович, арестовали человек восемь. Среди прочих — начальника цеха. Федор Макарович занял его должность.

На фабрике, где работала его жена, арестовали бригадира. На его место выдвинули Галину Тимофеевну.

Аресты не прекращались два года. За это время Федор Макарович стал главным технологом небольшого предприятия. Галина Тимофеевна превратилась в заведующую отделом сбыта.

Потом началась война. Металлургический завод и швейная фабрика были своевременно эвакуированы. В Новосибирске у Федора Макаровича и Галины Тимофеевны родилась дочка. Назвали ее Марусей.

Марусины родители были необходимы в глубоком тылу. Побывать в окопах им не довелось. Хотя многие административные работники оказались на фронте. Лучшие из них погибли. А Федора Макаровича и Галину Тимофеевну повысили в должности. Кто решится упрекнуть их за это?..

К шестидесятому году Марусины родители прочно утвердились в номенклатуре среднего звена. Они были руководителями предприятий и депутатами местных Советов. У них были все соответствующие привилегии — громадная квартира, дача, финская ореховая мебель. Под окнами у них всегда дежурила служебная машина.

Предприятие, которое возглавлял Федор Макарович, считалось образцовым. В семидесятом году его посетил Леонид Ильич Брежнев. И тут Федор Макарович отличился.

Перед корпусом заводууправления был разбит газон. Обыкновенный газон с указателем — «Ходить по траве воспрещается!»

Генеральный секретарь приехал в октябре. К этому времени трава пожелтела. Федор Макарович отдал распоряжение — покрасить траву. И ее действительно покрасили. Для этой цели был использован малярный пульверизатор. Газон приобрел изумрудную субтропическую окраску.

Приехал Брежнев. Подошел вместе с охраной к заводууправлению. Кинул взгляд на газон и пошутил:

— Значит, ходить воспрещается? А мы попробуем!

И Брежнев уверенно шагнул на траву.

Все засмеялись, начали аплодировать. Федор Макарович от хохота выронил приветственный адрес. Брежнев обнял Федора Макаровича и сказал:

— Показывай, орел, свое хозяйство!

С этого момента Брежнев покровительствовал Таровичу...

Маруся росла в обеспеченной дружной семье. Во дворе ее окружали послушные и нарядные дети. Дом, в котором они жили, принадлежал горкому партии. В специальной будке дежурил милиционер, который немного побаивался жильцов.

Маруся росла счастливой девочкой без комплексов. Она хорошо училась в школе, посещала кружок балльных танцев. У нее был рояль, цветной телевизор и даже собака.

Жизнь ее состояла из добросовестной учебы плюс невинные здоровые развлечения — кино, театры, музеи.

Занятия физкультурой облегчили ей муки полового созревания.

Окончив школу, Маруся легко поступила в институт культуры. Выпускники его, как правило, заведуют художественной самодеятельностью. Однако Маруся была уверена, что найдет себе работу получше. Допу-

стим, где-то на радио или в музыкальном журнале. В этом ей могли помочь родители.

С тринадцати лет Марусю окружали развитые, интеллигентные, хорошо воспитанные юноши. Маруся так привыкла к дружбе с ними, что редко задумывалась о любви. Каждый из окружавших ее молодых людей готов был стать верным поклонником. Каждый поклонник готов был жениться на миловидной, стройной и веселой дочери Татаровича.

Но вышло совсем по-другому. Дело в том, что Маруся полюбила еврея...

Всем, у кого было счастливое детство, необходимо почаще задумываться о расплате. Почаще задавать себе вопрос — а чем я буду расплачиваться?

Веселый нрав, здоровье, красота — чего мне это будет стоить? Во что мне обойдется полный комплект любящих, состоятельных родителей?

И вот на девятнадцатом году Маруся полюбила еврея с безнадежной фамилией Цехновицер.

В сущности, еврей — это фамилия, профессия и облик. Бытует деликатный тип еврея с нейтральной фамилией, ординарной профессией и космополитической внешностью. Однако не таков был Марусин избранник.

Звали его полностью Лазарь Рувимович Цехновицер, он был худой, длинноносый, курчавый, а также учился играть на скрипке. Мало того, как всякий еврей, Цехновицер был антисоветчиком. Маруся полюбила его за талант, удобу, эрудицию и саркастичский юмор.

Марусины родители забеспокоились, хотя они и не были антисемитами. Галина Тимофеевна в неофициальной обстановке любила повторять:

— Лучше уж я возьму на работу еврея. Еврей, по крайней мере, не запьет!

— К тому же,— добавлял Федор Макарович,— еврей хоть с головой ворует. Еврей уносит с производства что-то нужное. А русский — все, что попадется...

И все-таки Марусины родители забеспокоились. Тем более что Цехновицер казался им сомнительной личностью. Он каждый вечер слушал западное радио, носил дырявые полуботинки и беспрерывно шутил.

А главное, давал Марусе идейно незрелые книги — Бабеля, Платонова, Зошенко.

Зять-еврей — уже трагедия, думал Федор Макарович, но внуки-евреи — это катастрофа! Это даже невозможно себе представить!

Федор Макарович решил поговорить с Цехновицером. Он даже хотел сгоряча предложить Цехновицеру взятку. Но Галина Тимофеевна оказалась более мудрой.

Она стала настойчиво приглашать Цехновицера в гости. Окружила его заботой и вниманием. Одновременно приглашались дети Говорова, Чичибабина, Линецкого, Шумейко. (Говоров был маршалом, Чичибабин — академиком живописи, Линецкий — директором фирмы «Совфрахт», а Шумейко — инструктором ЦК.)

Цехновицер в этой компании чувствовал себя изгоем. Его мать работала трамвайным кондуктором, отец погиб на фронте.

Молодежь, собиравшаяся у Татаровичей, ездила на юг и в Прибалтику. Хорошо одевалась. Любила рестораны и театральные премьеры. Приобретала у спекулянтов джазовые записи.

У Цехновицера не было денег. За него всегда платила Маруся.

В отместку Цехновицер стал ненавидеть Марусиных друзей. Цехновицер старался уличить их в тупости, хамстве, цинизме, достигая, естественно, противоположных результатов.

Если Цехновицеру говорили: «Попробуйте манго», — он вызывающе щурился:

— Предпочитаю хлебный квас!

Если с Цехновицером дружески заговаривали, он вскидывал брови:

— Предпочитаю слушать тишину!

В результате Цехновицер надоел Марусе, и она полюбила Диму Федорова.

Сын генерала Федорова учился на хирурга. Это был юноша с заведомо решенными проблемами, веселый и красивый. У него было все хорошо. Причем он даже не знал, что бывает иначе.

У него был папа, которым можно гордиться. Квартира на улице Щорса, где он жил с бабушкой. А так-

же — дача, мотоцикл, любимая профессия, собака и охотничье ружье. Оставалось найти молодую красивую девушку из хорошей семьи.

На пятом курсе Дима Федоров стал думать о женитьбе. И тут он познакомился с Марусей. Через шесть недель они спускались по мраморной лестнице Дворца бракосочетаний. Еще через сутки молодожены уехали в Крым.

Осенью родители подарили им двухкомнатную квартиру. Так началась Марусина супружеская жизнь.

Дима пропадал в академии. Маруся готовилась к защите диплома — «Эстетика бального танца».

Вечерами они смотрели телевизор и беседовали. По субботам ходили в кино. Принимали гостей и навещали знакомых.

Маруся была уверена, что любит Диму. Ведь она сама его выбрала.

Дима был заботливый, умный, корректный. Он ненавидел беспорядок. Каждое утро он вел записи в блокноте. Там были рубрики — обдумать, сделать, позвонить. Иногда он записывал: «Не поздороваться с Виталием Луценко». Или: «В ответ на хамство Алешковича спокойно промолчать».

В субботу появлялась запись: «Маша». Это значило — кино, театр, ужин в ресторане и любовь.

Дима говорил:

— Я не педант. Просто я стараюсь защититься от хаоса...

Дима был хорошим человеком. Пороки его заключались в отсутствии недостатков. Ведь недостатки, как известно, привлекают больше, чем достоинства. Или, как минимум, вызывают более сильные чувства.

Через год Маруся его возненавидела. Хотя выразить свою ненависть ей мешало Димино безупречное поведение.

Так что жили они хорошо.

Правда, мало кто знает, что это — беда, если все начинается хорошо. Значит, кончиться все это может только несчастьем.

Так и случилось.

Сначала умер Димин папа, генерал. Затем попала в сумасшедший дом алкоголичка-мама. Затем наследники, три брата и сестра, переругались, обсуждая, что — кому.

Самые ценные вещи из генеральского дома были конфискованы прокуратурой. В частности, шашка, подаренная Сталиным, и усеянный рубинами югославский орден.

Короче говоря, за месяц Дима превратился в обыкновенного человека. В целеустремленного и трудолюбивого аспиранта средних дарований.

Иногда Маруся уговаривала его:

— Хоть бы ты напился!

Дима отвечал Марусе:

— Пьянство — это добровольное безумие.

Маруся не успокаивалась:

— Хоть бы ты меня приревновал!

Дима четко формулировал:

— Ревновать — это мстить себе за ошибки других...

Самое трудное испытание для благополучного человека — это внезапное неблагополучие. Дима становился все более рассеянным и унылым. В ресторанах он теперь заказывал биточки и компот. Заграничный костюм надевал в исключительных случаях. Финансовой поддержки Марусиных родителей стыдился.

И тут Маруся стала ему изменять. Причем неразборчиво и беспрерывно. Она изменяла ему с друзьями, знакомыми, водителями такси. С преподавателями института культуры. С трамвайными попутчиками. Она изменила ему даже с внезапно появившимся Цехновицером.

Сначала Маруся оправдывалась и лгала. Выдумывала несуществующие факультативные занятия и семинары. Говорила о бессонной ночи у подруги, замышлявшей самоубийство. О неожиданных поездках к родственникам в Дергачево.

Затем ей надоело лгать и оправдываться. Надоело выдумывать фантастические истории. У Маруси не было сил.

Возвращаясь под утро, Маруся говорила себе — ладно, обойдется. Что-нибудь придумаю в такси. Что-нибудь придумаю в лифте. Что-нибудь скажу экспромтом.

Дима удивленно спрашивал:

— Где ты была?

— Я?! — восклицала Маруся.

— Ну.

— Что значит — «где»?! Он спрашивает — где! Допустим, у знакомых. Могу я навестить знакомых?..

Если Дима продолжал расспрашивать, Маруся быстро утомлялась.

— Считай, что я пила вино! Считай, что я распущенная женщина! Считай, что мы в разводе!..

Нет, как известно, равенства в браке. Преимущество всегда на стороне того, кто меньше любит. Если это можно считать преимуществом.

К тридцати годам Маруся поняла, что жизнь состоит из удовольствий. Все остальное можно считать неприятностями.

Удовольствия — это цветы, рестораны, любовь, заграничные вещи и музыка. Неприятности — это отсутствие денег, попреки, болезни и чувство вины.

Маруся предавалась удовольствиям, разумно избегая неприятностей.

Марусе было жалко Диму. Она испытывала угрызения совести. Она говорила:

— Хочешь, я познакомлю тебя с какой-нибудь девицей?

Дима удивленно спрашивал:

— На предмет чего?..

Вскоре Дима и Маруся развелись. Маруся переехала к родителям. Родители сначала огорчились, но довольно быстро успокоились. Дима Федоров как муж уже не представлял большого интереса. Маруся же опять была невестой, девушкой из хорошей семьи.

Через некоторое время Маруся полюбила знаменитого дирижера Каждана. Затем — известного художника Шарафутдинова, которому покровительствовал сам Гейдар Алиев. Затем — прославленного иллюзиониста Мабиса, распиливавшего женщин на две части. Все они были гораздо старше Маруси. И более того, годились ей в отцы.

С Кажданом она ездила в Прибалтику и на Урал. С Шарафутдиновым год прожила в Алушке. С иллюзионистом Мабисом летала по всему Заполярью.

В результате Каждан, отравившись миногами, умер. Шарафутдинов под давлением обкома вернулся к больной некрасивой жене. А Мабис, будучи с гастро-

лями во Франкфурте, добился там политического убежища.

Короче, все они покинули Марусю. При этом лишь один Каждан ушел из ее жизни деликатно. Поведение остальных чем-то напоминало бегство.

И вот Марусей овладело чувство тревоги. Все ее подруги были замужем. Их положение отличалось стабильностью. У них был семейный очаг.

Разумеется, не все ее подруги жили хорошо. Некоторые изменяли своим мужьям. Некоторые грубо ими помыкали. Многие сами терпели измены. Но при этом — они были замужем. Само наличие мужа делало их полноценными в глазах окружающих.

Муж был совершенно необходим. Его следовало иметь хотя бы в качестве предмета ненависти.

К этому времени Марусе было под тридцать. Ей давно уже пора было родить. Маруся знала, что еще два-три года — и будет поздно.

Маруся забеспокоилась. Свободные мужчины, как и прежде, оказывали ей знаки внимания. Многие женщины ей, как и прежде, завидовали. Рестораны, театры, сертификатные магазины — все это было к ее услугам. А чувство тревоги не утихло. И даже с каждым месяцем усиливалось.

И тут на Марусином горизонте возник знаменитый эстрадный певец Бронислав Разудалов. Сейчас его имя забыто, но в шестидесятые годы он был популярнее Хиля, Кобзона, Долинского.

Разудалов соответствовал всем Марусиным требованиям. Он был красив, талантлив, популярен, много зарабатывал. А главное — жил весело, легко и беззаботно.

Маруся ему тоже понравилась, она была стройная, веселая и легкомысленная.

У них получилось что-то вроде гражданского брака.

Разудалов часто ездил на гастроли. Марусе нравилось его сопровождать.

Сначала она просто находилась рядом. Вечерами сидела на его концертах. Днем ходила по комиссионным магазинам.

Затем у нее появились какие-то обязанности. Маруся заказывала афиши. Организовывала положитель-

ные рецензии в местных газетах. И даже вела бухгалтерию, что не требовало особого профессионализма. Ведь ей приходилось только складывать и умножать.

До ее появления Разудалов конферировал сам. Ему нравилось беседовать со зрителями, особенно в провинции. Он, например, говорил, предвзяв свое выступление:

— У некоторых певцов красивый голос. А некоторые, как говорится, поют душой. Так вот, голоса у меня нет...

Далее следовала короткая пауза.

— И души тоже нет...

Под смех и аплодисменты Разудалов заканчивал:

— Чем пою — сам удивляюсь!..

Постепенно Марусе стали доверять обязанности ведущего. Маруся заказала себе три концертных платья. Научилась грациозно двигаться по сцене. В ее голосе зазвучали чистые пионерские ноты.

Маруся стремительно появлялась из-за кулис. Замирала, ослепленная лучами прожекторов. Окидывала первые ряды сияющим взглядом. И наконец выкрикивала:

— У микрофона — лауреат всесоюзного конкурса артистов эстрады — Бронислав Разудалов!

Затем роняла голову, подавленная величием минуты...

Концерты Разудалова проходили с неизменным успехом. Репертуар у него был современный, камерный. В его песнях доминировала нота сдержанной интимности. Звучало это все примерно так:

Ты сказала — нет,
Я услышал — да...
Затерялся след у того пруда.
Ты сказала — да,
Я услышал — нет...

И тому подобное.

Разудалов был веселым человеком. Он зарабатывал на жизнь теми эмоциями, которыми другие люди выражают чувство безграничной радости и полного самозабвения. Он пел, танцевал и выкрикивал разные глупости. За это ему хорошо платили.

Вскоре, однако, Маруся заметила, что жизнелюбие Разудалова простирается слишком далеко. Она нача-

ла подозревать его в супружеских изменах. И не без оснований.

Она находила в его карманах пудреницы и шпильки. Обнаруживала на его рубашках следы помады. Вытаскивала из дорожного несессера синтетические колготки. И наконец, застала однажды в его гримуборной совершенно раздетую чревовещательницу Кисину.

В тот день она избила мужа нотным пюпитром. Через двадцать минут Разудалов появился на сцене в темных очках. Левая рука его безжизненно висела.

На Марусины попреки Разудалов отвечал каким-то идиотским смехом. Он не совсем понимал, в чем дело. Он говорил:

— Мария, это несерьезно! Я думал, ты культурная, мыслящая женщина без предрассудков...

Разудалов оставался верен своему жизнелюбию, зато научился лгать. От непрерывной лжи у него появилось заикание. На сцене оно пропадало.

Он лгал теперь без всякого повода. Он лгал даже в тех случаях, когда это было нелепо. На вопрос «Который час?» он реагировал уклончиво.

Друзья шутили:

— Разудалов хочет трахнуть все, что движется...

Теперь уже от ревности страдала Маруся. Поджидала мужа ночами. Грозил ему разводом. А главное, не могла понять, зачем он это делает? Ведь она так сильно и бескорыстно его любила!..

Муж появлялся утром, распространяя запах вина и косметики.

— Засиделись, понимаешь, выпили, болтали об искусстве...

— Где ты был?

— У этого... Голощекина... Тебе большой привет.

Маруся отыскивала в записной книжке телефон неведомого Голощекина. Женский голос хмуро отвечал:

— Илья Захарович в больнице...

Маруся, вспыхнув, подступала к Разудалову:

— Значит, ты был у Голощекина? Значит, вы болтали об искусстве?

— Странно,— поражался Разудалов,— лично я у него был...

И тут Маруся впервые задумалась — как жить дальше? Удовольствия неизбежно порождали чувство вины. Бескорыстные поступки вознаграждались унижениями. Получался замкнутый круг...

В чем источник радости? Как избежать разочарований? Можно ли наслаждаться без раскаяния? Все эти мысли не давали ей покоя.

Через год у нее родился мальчик.

Все шло, как прежде. Разудалов ездил на гастроли. Возвратившись, быстро исчезал. Когда Маруся уличала его в новых изменах, оправдывался:

— Пойми, мне как артисту нужен импульс...

Маруся снова переехала к родителям. Галина Тимофеевна к этому времени стала пенсионеркой. Федор Макарович продолжал работать.

Неожиданно появлялся Разудалов с цветами и шампанским. Рассказывал о своих творческих успехах. Жаловался на цензуру, которая запретила его лучшую песню: «Я пить желаю губ твоих нектар...»

Галину Тимофеевну он развязно называл — мамуля. Шутки у него были весьма сомнительные. Например, он говорил Марусиному папе:

— Дядя Федя, ты со мною не шути! Ведь если разобратся, ты — никто. А я, между прочим, зять самого Татаровича!..

Выпив коньяка с шампанским и оставив пачку мятых денег, Разудалов убежал. Бремя отцовства его не тяготило. Целуя сына, он приговаривал:

— Надеюсь, ты вырастешь человеком большой души...

Временами Маруся испытывала полное отчаяние. Угрожала Разудалову самоубийством. Именно тогда в его репертуаре появился шлягер:

Если ты пойдешь
к реке топиться,
приходи со мной,
со мной проститься!
Эх, я тебя до речки провожу
И поглубже место укажу...

Тут как в сказке появился Цехновицер. Он дал Марусе почитать «Архипелаг ГУЛАГ» и настоятельно советовал ей эмигрировать. Он говорил:

— Поженемся фиктивно и уедем в качестве евреев.

— Куда? — спрашивала Маруся.

— Я, например, в Израиль. Ты — в Америку. Или во Францию...

Маруся вздыхала:

— Зачем мне Франция, когда есть папа...

И все-таки Муся стала задумываться об эмиграции. Во-первых, это было модно. Почти у каждого мыслящего человека хранился израильский вызов.

То и дело уезжали знакомые деятели культуры. Уехал скульптор Неизвестный, чтобы осуществить в Америке грандиозный проект «Древо жизни». Уехал Савка Крамаров, одержимый внезапно прорезавшимся религиозным чувством. Уехал гениальный Боря Сичкин, пытаясь избежать тюрьмы за левые концерты. Уехал диссидентствующий поэт Купершток, в одном из стихотворений гордо заявивший:

Наследник Пушкина и Блока,
я — сын еврея Куперштока!..

Уезжали писатели, художники, артисты, музыканты. Причем уезжали не только евреи. Уезжали русские, грузины, молдаване, латыши, доказавшие наличие в себе еврейской крови. Короче, проблема эмиграции широко обсуждалась в творческих кругах. И Маруся все чаще об этом задумывалась.

В эмиграции было что-то нереальное. Что-то, напоминающее идею загробной жизни. То есть можно было попытаться начать все сначала. Избавиться от бремени прошлого.

Творческая жизнь у Маруси не складывалась. За муж она, по существу, так и не вышла. Многочисленные друзья вызывали у нее зависть или презрение.

У родителей Муся чувствовала себя, как в доме престарелых. То есть жила на всем готовом без какой-либо реальной перспективы. Сон, телевизор, дефицитные продукты из распределителя. И женихи — подчиненные Федора Макаровича, которые в основном старались нравиться ему.

Маруся чувствовала: еще три года — и все потеряно навсегда ..

Цехновицер так настойчиво говорил о фиктивном, именно фиктивном браке, что Маруся сказала ему:

— Раньше ты любил меня как женщину.

Цехновицер ответил:

— Сейчас я воспринимаю тебя как человека.

Маруся не знала — огорчаться ей или радоваться. И все-таки огорчилась.

Видно, так устроены женщины — не любят они терять поклонников. Даже таких, как Цехновицер...

На словах эмиграция казалась реальностью. На деле — сразу возникало множество проблем.

Что будет с родителями? Что подумают люди? А главное — что она будет делать на Западе?..

В загс пойти с Цехновицером — уже проблема. У жениха, вероятно, и костюма-то соответствующего нет. Не скажешь ведь инспектору, что брак фиктивный...

А потом начались какие-то встречи около синагоги. Какие-то «Памятки для отъезжающих». Какие-то разговоры с иностранными журналистами.

Маруся стала ходить на выставки левой живописи. Перепечатывала на своей «Олимпии» запрещенные рассказы Шаламова и Домбровского. Пыталась читать в оригинале Хемингуэя.

Ее родители о чем-то догадывались, но молчали. Пришлось Марусе с ними объясниться.

Как это было — лучше не рассказывать. Тем более что подобные драмы разыгрывались во многих номенклатурных семействах.

Родители обвиняли своих детей в предательстве. Дети презирали родителей за верноподданничество и конформизм.

Взаимные попреки сменялись рыданиями. За оскорблениями следовали поцелуи.

Федор Макарович знал, что должен будет в результате уйти на пенсию. Галина Тимофеевна знала, что о дочкой она больше не увидится.

В октябре Маруся зарегистрировалась с Цехновицером. К Новому году они получили разрешение. Девятого января были в Австрии.

Оказавшись на Западе, Цехновицер сразу изменился. Он стал еврейским патриотом, гордым, мудрым и немного заносчивым. Он встречался с представителями ХИАСа, носил шестиконечную анодированную звезду и мечтал жениться на еврейке.

Условия фиктивного брака Цехновицер добросовестно выполнил. Увез жену на Запад. Зато Маруся

оплатила все расходы и даже купила ему чемодан. Вскоре им предстояло расстаться. Цехновицер улетал в Израиль. Маруся должна была получить американскую визу.

Маруся говорила:

— Как ты будешь жить в Израиле? Ведь там одни евреи!

— Ничего,— отвечал Цехновицер,— привыкну...

Марусе было грустно расставаться с Цехновицером. Ведь он был единственным человеком из прошлой жизни.

Маруся испытывала что-то вроде любви к этому гордому, заносчивому, агрессивному неудачнику. Ведь что-то было между ними. А если было, то разве существенно — дурное или хорошее? И если было, то куда оно, в сущности, могло деваться?..

В аэропорт Маруся не поехала. У маленького Левушки третий день болело горло.

Маруся из окна наблюдала, как Цехновицер садится в автобус. Он казался таким неуклюжим под бременем великих идей. Его походка была решительной, как у избалованного слепого.

Через неделю Левушке благополучно вырезали гланды. Отвезли его в госпиталь миссис Кук из Толстовского фонда. Виза к этому моменту уже была получена.

Еще через шестнадцать дней Маруся приземлилась в аэропорту имени Кеннеди. В руках у нее был пакет с кукурузными чипсами. Рядом вяло топтался невыспавшийся Лева. Увидев двух негров, он громко расплакался. Маруся говорила ему:

— Левка, заткнись!

И добавляла:

— Голос — в точности, как у папаши...

ПОСЛЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ

В аэропорту Марусю поджидали Лора с Фимой. Лора была ее двоюродной сестрой по матери. Лорина мама — тетя Надя — работала простым корректором. Муж ее — дядя Савелий — преподавал физкультуру.

Лора носила фамилию отца — Мелиндер.

Татаровичи не презирали Мелиндеров. Иногда они

брали Лору на дачу. Изредка сами ездили в Дергачево. Маруся дарила сестре платья и кофты. При этом говорилось:

— Синюю кофту бери, а зеленую я еще поношу...

Марусе и в голову не приходило, что Лора обижается.

В общем, сестры не дружили. Маруся была красивая и легкомысленная. Лора — начитанная и тихая. Ее печальное лицо считалось библейским.

Марусина жизнь протекала шумно и весело. Лорино существование было размеренным и унылым.

Маруся жаловалась:

— Все мужики такие нахальные!

Лора холодно приподнимала брови:

— Мои, например, знакомые ведут себя корректно.

И слышала в ответ:

— Нашла, чем хвастать!..

Татаровичи не избегали Мелиндеров. Просто Мелиндеры были из другого социального круга. В старину это называлось — бедные родственники. Так что сестры виделись довольно редко.

Муся от кого-то слышала, что Лора вышла замуж. Что муж ее — аспирант по имени Фима. Но познакомиться с Фимой ей довелось лишь в Америке...

Эмиграция была для Лоры и Фимы свадебным путешествием. Они решили поселиться в Нью-Йорке. Через год довольно сносно заговорили по-английски. Фима записался на курсы бухгалтеров. Лора поступила в училище к маникюрше.

Дела у них шли прекрасно. Через несколько месяцев оба получили работу. Фима устроился в богатую текстильную корпорацию. Лора трудилась в парикмахерской с американской клиентурой. Она говорила:

— Русских мы практически не обслуживаем. Для этого у нас слишком высокие цены.

Лора зарабатывала пятнадцать тысяч в год. Фима — вдвое больше.

Вскоре они купили собственный дом. Это был маленький кирпичный домик в Форест Хиллсе. Жилье в этом районе стоило тогда не очень дорого. Жили здесь в основном корейцы, индусы, арабы. Фима говорил:

— С русскими мы практически не общаемся...

Фима и Лора полюбили свой дом. Фима собственными руками починил водопровод и крышу. Затем

электрифицировал гараж. Лора тем временем покупала занавески и керамическую утварь.

Дом был уютный, красивый и сравнительно недорогой. Журналист Зарецкий, с которым Лора познакомилась в ХИАСе, называл его «мавзолеем». Старик явно завидовал чужому благополучию...

Лора и Фима были молодой счастливой парой. Счастье было для них естественно и органично, как здоровье. Им казалось, что всяческие неприятности — удел больных людей.

Лора и Фима слышали, что некоторым эмигрантам живется плохо. Вероятно, это были нездоровые люди с паршивыми характерами. Вроде журналиста Зарецкого.

Лора и Фима жили дружно. Они жили так хорошо, что Лора иногда восклицала:

— Фимка, я так счастлива!

Они жили так хорошо, что даже придумывали себе маленькие неприятности. Вечером Фима, хмурясь, говорил:

— Знаешь, утром я чуть не сбил велосипедиста.

Лора делала испуганные глаза:

— Будь осторожнее. Прошу тебя — будь осторожнее.

— Не беспокойся, Лорик, у меня прекрасная реакция!

— А у велосипедиста? — спрашивала Лора...

Бывало, что Фима являлся домой с виноватым лицом.

— Ты расстроен, — спрашивала Лора, — в чем дело?

— А ты не будешь сердиться?

— Говори, а то я заплачу.

— Поклянись, что не будешь сердиться.

— Говори.

— Только не сердись. Я купил тебе итальянские сапожки.

— Ненормальный! Мы же договорились, что будем экономить. Покажи...

— Мне страшно захотелось. И цвет оригинальный... Такой коричневый...

В субботнее утро Фима и Лора долго завтракали. Потом ходили в магазин. Потом смотрели телевизор. Потом уснули на веранде. Потом раздался звонок.

Это была телеграмма из Вены. Маруся прилетала наутро, рейсом 264. К семи тридцати нужно было ехать в аэропорт.

Встретили ее радушно. Засиделись в первую же ночь до трех часов. Ребенок спал. Телевизор был выключен. Фима готовил коктейли. Маруся и Лора сначала устроились на ковре. Лора сказала: «Так принято».

Затем они все-таки перешли на диван.

Лора в десятый раз спрашивала:

— Зачем ты уехала, да еще с малолетним ребенком?

— Не знаю... Так вышло.

— Понятно, когда уезжают диссиденты, евреи или, например, уголовники...

— У меня было плохое настроение.

— То есть?

— Мне показалось, что все уже было...

Маруся хотела, чтобы ее понимали. Хотя сама она не понимала многого.

— У тебя, действительно, все было — развлечения, поклонники, наряды... А ты вдруг — раз, и уезжаешь.

— Мне сон приснился.

— Например?

— Вроде бы у меня появляются крылья. А дальше — как будто я пролетаю над городом и тушу все электрические лампочки.

— Лампочки? — заинтересовался Фима. — Ясно. По Фрейду — это сексуальная неудовлетворенность. Лампочки символизируют пенис.

— А крылья?

— Крылья, — ответил Фима, — тоже символизируют пенис.

Маруся говорит:

— Я смотрю, ваш Фрейд не хуже Разудалова. Одни гулянки на уме...

— И все же, — спрашивала Лора, — почему ты уехала? Политика тебя не волновала. Материально ты была устроена. От антисемитизма страдать не могла...

— Этого мне только не хватало!

— Так в чем же дело?

— Да ни в чем. Уехала, и все. Тебя хотела повидать... И Фиму...

Играла радиола. Уютно звякал лед в стаканах. Пахло горячим хлебом из тостера. За окнами стояла мгла.

Ночью все проголодались. Лора сказала:

— Фимуля, принеси нам кейк из холодильника...

Лоре было приятно, что дом хорошо и небрежно обставлен. Что на стенах литографии Шемякина, а в холодильнике есть торт. Что в гараже стоит японская машина, а шкафы набиты добротной одеждой.

Лора еще днем говорила мужу:

— Пусть живет. Пусть остается здесь сколько угодно. Не хочу я ей мстить за обиды, пережитые в юности. Не хочу демонстрировать своего превосходства... Мы будем выше этого. Ответим ей добром на зло... О чем ты думаешь?

— Я думаю — как хорошо, что у меня есть ты!

— А у меня — соответственно — ты!..

Лора подарила Марусе свитер и домашние туфли. Маруся их даже не примерила.

Лора предоставила Марусе с ребенком отдельную комнату. Маруся Лору даже не поблагодарила.

Лора предложила ей: «Бери из холодильника все, что тебе захочется». Но Маруся в основном довольствовалась картофельными чипсами.

Театры Марусю не интересовали. В магазинах она разглядывала только детские игрушки. Ночной Бродвей показался ей шумным и грязным.

Так прошла неделя.

В субботу появился гость. Джи Кей Эплбаум, развязный и шумный толстяк. Он был менеджером в корпорации, где работал Фима. Вчетвером они жарили сосиски у заднего крыльца и пили «Бадвайзер».

На этот раз Джи Кей пришел один. До этого, сказала Лора, он приводил невесту — Карен Роуч.

На вопрос «Где Карен?» менеджер ответил:

— Она меня бросила. Я был в отчаянии. Затем купил себе новую машину и поменял жилье. Теперь я счастлив...

Эплбауму понравилась Маруся. Он захотел учиться русскому языку. Маруся спела ему несколько ча-



штушек. Например, такую «Строят мощную ракету, посылают на Луну. Я хочу в ракету эту посадить мою жену...» Фима перевел.

Когда Эплбаум попрощался и уехал, Маруся сказала:

— По-моему, он дурак!

Лора возмутилась:

— Просто Джи Кей — типичный американец со здоровыми нервами. Если русские вечно страдают и жалуются, то американцы устроены по-другому. Большинство из них — принципиальные оптимисты...

Лора объяснила Мусе:

— Америка любит сильных, красивых и нахальных. Это страна деловых, целеустремленных людей. Неудачников американцы дружно презирают. Рассчитывать здесь можно только лишь на одного себя...

— В Америке, — брал слово Фима, — нужно ежедневно переодеваться. Как-то я забыл переодеться, и Эплбаум спросил меня:

— Ты где ночевал, дружище?!

Днем Маруся возилась с Левушкой. Хлопот особых не было. Тем более что вместо пеленок Маруся использовала удобные и недорогие дайперсы.

Эти самые дайперсы — первое, что Маруся оценила на Западе. Кроме того, ей нравились чипсы, фисташки и разноцветная бумажная посуда. Поел и выбросил...

Муся испытывала беспокойство. Ей надо было срочно искать работу. Тем более что Левушку определили в детский сад.

Сначала он плакал. Через неделю заговорил по-английски.

А Маруся все думала, чем бы заняться. В Союзе она была интеллигентом широкого профиля. Работать могла где угодно. От министерства культуры до районной газеты.

А здесь? Кино, телевидение, радио, пресса? Всюду, как минимум, нужен английский язык.

Программистом ей быть не хотелось. Медсестрой или няней — тем более. Ее одинаково раздражали цифры, чужие болезни и посторонние дети.

Ее внимание привлекла реклама ювелирных курсов. В принципе, это имело отношение к драгоценностям. А в драгоценностях Маруся разбиралась.

Ювелирные курсы занимали весь третий этаж мрачноватого блочного дома на 14-й улице. Руководил ими мистер Хигби, человек с наружностью умеренно выпивающего офицера. Он сказал Марусе через переводчика:

— Я десять лет учился живописи, а стал несчастным ювелиром. Разве это жизнь?!

Переводчиком у него работал эмигрант из Борисполя — Леня. В будущем Леня собирался открыть магазин ювелирных изделий. Он говорил:

— На этом я всегда заработаю свою трудовую копейку...

Всех учащихся разбили на группы. Каждому выдали набор инструментов. У каждого на столе была паяльная лампа, тиски и штатив.

В углу постоянно гудел никелированный кипятильник. Рядом возвышался дубовый стеллаж. Там в специальных коробках хранились работы бывших учащихся. Они показались Марусе безвкусными. Какой-то Барри Льюис выковал из серебра миниатюрный детородный орган...

В каждой группе был преподаватель. Марусе достался пан Венчислав Глинский, беженец из Кракова. Он целыми днями курил, роняя пепел себе на брюки.

Занятий фактически не было. Каждый делал все, что ему хотелось. Одни паяли, другие сверлили, третьи вырезали фигурки из жести.

Среди учащихся было несколько чернокожих. Они часами слушали музыку, покачиваясь на табуретках. Возле каждого на полу стоял транзистор. Иногда Маруся ощущала странный запах. Переводчик Леня объяснял ей, что это марихуана.

Марусиным соседом был китаец, тихий и приветливый. Он скручивал из медной проволоки тонкую косичку. Маруся занялась тем же самым.

Потом она вырезала из жести букву М. Обработала напильником края. Прodelала специальное отверстие для цепочки. Вроде бы получился кулон. Китаец взглянул и одобрительно помахал ей рукой.

У Маруси за спиной остановился пан Венчислав. Несколько секунд он молчал, затем отдельно выговорил:

— Прима!

И уронил Марусе на рукав бесцветный столбик пепла...

В четверг Маруся получила 73 доллара. Что-то вроде стипендии. На эти деньги она купила Левушке заводной мотоцикл, сестре — цветы, а Фиме — полгаллона виски. Оставшиеся сорок долларов предназначались на хозяйство.

Лора брать деньги не хотела. Маруся настаивала: — Я же вам и так должна большую сумму.

— Заработаешь, — говорил Фима, — отдашь с процентами...

Рано утром Маруся бежала к остановке сабвея. Дальше — около часа в грохочущем, страшном подземном Нью-Йорке. Ежедневная порция страха.

Нью-Йорк был для Маруси происшествием, концертом, зрелищем. Городом он стал лишь месяц или два спустя. Постепенно из хаоса начали выступать фигуры, краски, звуки. Шумный торговый перекресток вдруг распался на овощную лавку, кафетерий, страховое агентство и деликатесный магазин. Черета автомобилей на бульваре превратилась в стоянку такси. Запах горячего хлеба стал неотделим от пестрой вывески «Бекери». Образовалась связь между толпой ребятишек и кирпичной двухэтажной школой...

Нью-Йорк внушал Марусе чувство раздражения и страха. Ей хотелось быть такой же небрежной, уверенной, ловкой, как чернокожие юноши в рваных фуфайках или старухи под зонтиками. Ей хотелось достичь равнодушия к шуму транзисторов и аммиачному зловонию сабвея. Ей хотелось возненавидеть этот город так просто и уверенно, как можно ненавидеть лишь одну себя...

Маруся завидовала детям, нищим, полисменам — всем, кто ощущал себя частью этого города. Она завидовала даже пану Глинскому, который спал в метро и не боялся черных хулиганов. Он говорил, что коммунисты в десять раз страшнее...

От метро до ювелирных курсов — триста восемьдесят шагов. Триста восемьдесят шагов сквозь разноцветную, праздную, горлающую толпу. В облаках бензиновой гари, табачного дыма и запаха уличных жаровен. Мимо захламленных тротуаров и осле-

пительных, безвкусных витрин. Под крики лотошников, вой автомобильных сирен и нескончаемый барабанный грохот...

Ежедневная порция страха и неуверенности...

Занятия на ювелирных курсах прекратились в среду.

Сначала все шло нормально. Муся раскалила на огне латунную пластинку. Держа ее щипцами, потянулась за канифолью. Пластинка выскользнула, описала дугу, а затем бесследно исчезла. Вскоре из голенища Марусиного лакированного сапога потянулся дымок.

Еще через секунду Марусин крик заглушил пронзительные вопли транзисторов. Застежка-молния, конечно же, не поддавалась. Окружающие не понимали, в чем дело.

Все это могло довольно плохо кончиться, если бы не Шустер.

Шустер работал на курсах уборщиком. До эмиграции тренировал молодежную сборную Риги по боксу. Лет в пятьдесят сохранил динамизм, рельефную мускулатуру и некоторую агрессивность. Его раздражали чернокожие.

Целыми днями Шустер занимался уборкой. Он выметал мусор, наполнял кипятильник, перетаскивал стулья. Когда он приближался со шваброй, учащиеся вставали, чтобы не мешать. Все, кроме чернокожих.

Черные юноши продолжали курить и раскачиваться на табуретках. Всякое рвение было им органически чуждо.

Шустер ждал минуту. Затем подходил ближе, оставлял швабру и на странном языке угрожающе выкрикивал:

— Ап, блядь!..

Его лицо покрывалось нежным и страшным румянцем:

— Я кому-то сказал — ап, блядь!

И еще через секунду:

— Я кого-то в последний раз спрашиваю — ап?! Или не ап?!

Черные ребята нехотя поднимались, бормоча:

— О'кей! О'кей...

— Понимают,— радовался Шустер,— хоть и с юга...

Так вот, когда Маруся закричала, появился Шустер. Мигом сориентировавшись, он достал из заднего кармана фляжку бренди. Потом без колебаний опорожнил ее в Марусин лакированный сапог. Все услышали медленно затихающее шипение.

Тот же Шустер разорвал заклинившую молнию. Маруся тихо плакала.

— Покажите ногу доктору,— сказал ей Шустер,— тут как раз за углом городская больница.

— Покажите мне,— заинтересовался, откуда-то возникнув, Глинский.

Но Шустер оттеснил его плечом.

Врач, осмотрев Марусю, разрешил ей покинуть занятия. Маруся, хромая, уехала домой и решила не возвращаться...

Фима с Лорой отнесли к ее решению нормально, даже благородно.

Лора сказала:

— Крыша над головой у тебя есть. Голодной ты не останешься. Так что не суетись и занимайся английским. Что-нибудь подвернется.

Фима добавил:

— Какой из тебя ювелир! Ты сама у нас золото!

— Вот только пробы негде ставить,— засмеялась Маруся...

Так она стала домохозяйкой.

Утром Фима с Лорой торопились на работу. Фима ехал на своей машине. Лора бежала к остановке автобуса.

Сначала Маруся пыталась готовить им завтраки. Потом стало ясно, что это не требуется. Фима выпивал чашку растворимого кофе, а Лора на ходу съедала яблоко.

Просыпалась Маруся в десятом часу. Левушка к этому времени сидел у телевизора. На завтрак ему полагалась горсть кукурузных хлопьев с молоком.

Затем они шли в детский сад. Вернувшись, Маруся долго перелистывала русскую газету. Внимательно читала объявления.

В Манхаттене открывались курсы дамских парикмахеров. Страховая компания набирала молодых че-

столюбивых агентов. Русскому ночному клубу требовались официантки, предпочтительно мужчины. Так и было напечатано — «официантки, предпочтительно мужчины».

Все это было реально, но малопривлекательно. Кого-то стричь? Кого-то страховать? Кому-то подавать закуски?..

Попадались и такие объявления:

«Хорошо устроенный джентльмен мечтает познакомиться с интеллигентной женщиной любого возраста. Желательно фото».

Ниже примечание мелким шрифтом: «Только не из Харбина».

Что значит — только не из Харбина, удивлялась Маруся, как это понимать? Чем ему досадил этот несчастный Харбин? А может быть, он сам как раз из Харбина? Может, весь Харбин его знает как последнего жулика и афериста?..

Хорошо устроенный джентльмен ищет женщину любого возраста... Желательно фото...

Зачем ему фото, думала Маруся, только расстраиваться?..

Днем она ходила в магазин, стирала и пыталась заниматься английским. В три забирала Левушку. К шести возвращались Фима и Лора. Вечера проходили у телевизора за бокалом коктейля.

По субботам они ездили в город. Бродили по музеям. Обедали в японских ресторанах. Посмотрели музыкальную комедию с Юлом Бриннером.

Так прошел сентябрь, наступила осень. Хотя на газонах еще зеленела трава и днем было жарко, как в мае...

Маруся все чаще задумывалась о будущем.

Сколько можно зависеть от Лоры? Сколько можно есть чужой хлеб? Сколько можно жить под чужой крышей? Короче, сколько все это может продолжаться?..

Маруся чувствовала себя, как на даче у родственников. Рано или поздно надо будет возвращаться домой.

Но куда?

А пока что Маруся была сыта и здорова. Одежды у нее хватало. Деньги на хозяйство лежали в коробке из-под торта. Не жизнь, а санаторий для партийных

работников. Стоило ли ради этого ехать в такую даль?..

В общем, чувство тревоги с каждым днем нарастало...

Однажды Маруся написала такое письмо родителям:

«Дорогие мама и папа!

Представляю себе, как вы меня ругаете, и зря. Дело в том, что абсолютно нечего писать. Ну, абсолютно.

Лазька улетел на свою историческую родину, где одни, пардон, евреи. Но он говорит — ничего, мол, пробьемся.

Что еще сказать?

Вена — тихий городок на берегу реки. Все говорили тут — Донау, Донау... Оказывается — река Дунай и больше ничего.

Вроде бы имеется оперный театр. Хотя я его что-то не заметила.

Люди одеты похуже, чем в Доме кино. Однако лучше, чем в Доме науки и техники.

В Австрии мы жили три недели. Почти не выходили из гостиницы. У входа дежурили эти самые, которые не просто, а за деньги. В общем, ясно. У одной была совершенно голая жэ. Папка бы ахнул. В этом плане свободы больше чем достаточно.

Леве из вещей купила носки шерстяные и джемпер. Себе ничего.

В Америку летели около семи часов. В самолете нам показывали кино. Вы думаете — какое? В жизни не догадаетесь. «Великолепная семерка». Стоило ли ехать в такую даль?..

Поселилась я у Лоры с Фимой. Левка ходит в детский сад. А я все думаю, чем бы мне заняться.

Свободы здесь еще больше, чем в Австрии. В специальных магазинах продаются каучуковые органы. Вы понимаете? Мамуля бы сейчас же в обморок упала.

Чернокожих в Америке давно уже не линчуют. Теперь здесь все наоборот. Короче, я еще не сориентировалась. Скоро напишу. И вы пишете.

Обнимаю. Ваша несознательная дочь Мария».

КОСЫНКА В БЕЛЫЙ ГОРОШЕК

Так всегда бывает в этих местах, да и не только в этих, до поры сухо, а потом заладят дожди, захлестнут все, а дел еще непочатый край. И так по неделе частят, с утра, с небольшими дневными или вечерними перерывами, под сплюсненным небом. И вроде бы не сильный, а мелкий и хворый дождь. Расползутся дороги, станут мылками. И машины крутит из стороны в сторону, делают пережег бензина. И тогда вернее транспорта, чем лошадь, нет.

Теперь Антонов пожалел, что свернул на эту развилку, потому что геодезиста он так и не нашел, хотя проехал он уже много, а теперь и вовсе не знал, куда сворачивать.

Лысый плелся понуро, копыта его часто разъезжались, он припадал, но быстро восстанавливал свое первоначальное положение, как человек, поскользнувшийся на льду. Однако телега выскивала свою колею сама и тем облегчала продвижение Лысому.

Антонов сидел на мокром сене. Ехать ему было далеко, и, собираясь, он положил побольше сена. От долгой и валкой дороги он устал и потому иногда ложился в телегу, уставившись в хмурое, будто застиранное небо. Дорогу ему никто не указывал, дали лошадь, да и он сам думал, что найдет, потому что степь не лес, и однажды он уже был там. Он вспомнил всю свою дорогу, по которой он с утра тянулся, и подумал, что обратно возвращаться уж резона нет, а дорога должна была все-таки привести к какому-нибудь жилью, потому что обратно, в этой одинаковой кругом степи, можно опять поехать не туда.

Дорога действительно привела его в деревеньку из нескольких дворов, расположенных, однако, далеко друг от друга, а возможно, это был только отшиб даже большой деревни, скрытой отсюда сопками.

Он въехал в первый же ближайший шаткий двор, стал там и пошел к черному от воды, старому дубу. Сперва попал он в маленькую переднюю, а потом толкнул дверь и оказался в основной, наверное, и единственной комнате, где было темно.

— Можно? — спросил Антонов, став уже за порог и ожидая.

— Ктой-то, незваный? — отозвался резкий женский голос из-за ситцевой, от пола на всю комнату, занавески. Антонов оглядел комнату, дощатый пол с щелями в палец, прямо перед ним открытую без двёрцы печь, которая едва топилась и давала в комнату небольшой жар и свет. Справа под низким и нешироким окном, вдоль всей стены, стояла длинная лавка. Из-за занавески вышла женщина, босая, застегивая юбку. Сверху она была в белой и чистой из грубого полотна рубашке под самое горло, не оставляющей ничего открытым.

— Чего глаза пялишь, — сказала она Антонову, прикрыв грудь ладонью, — дверь затворите, небось холод.

Антонов неловко прикрыл дверь и теперь стоял, ожидая, что она скажет. Она вышла, чтобы прибрать волосы и набросить платок на плечи, и Антонов увидел на занавеске выпирающую ее ногу.

— Идите к лавке, чего пнем стоять-то, — сказала она.

Антонов прошел к лавке, стараясь меньше грязнить, сел и положил руки на колени. Он подумал, что, может, у нее нет мужика, и ночевать у нее будет неловко, и потом начнут говорить, что привела к себе заезжего командированного.

— Чего надо-то, чего мне с вами делать-то? — спросила она, осматривая Антонова.

— Геодезист мне нужен, — сказал Антонов, — дома надо ставить. Сейчас не успеем, зимой поздно будет.

— До Степаныча далеко будет, — сказала она, — куда ж теперь до него-то. С утра надо.

— С утра и еду, — ответил Антонов.

Он посмотрел в окно, снял свой намокший брезентовый плащ и, не найдя на стене гвоздя, положил в угол.

— Как звать вас? — спросил Антонов.

— Настей звать, — ответила она. — А зачем вам?

Он не знал, что ему сказать, они помолчали немного, и, решившись, Антонов сказал:

— Переночевать мне надо, Настя, вот что.

Она встала, прошла босиком до печки, вынула не

остывшую еще из духовки и неочищенную картошку и дала Антонову.

— Нельзя мне. Двое у меня детишек от разных мужиков за занавеской. А своего нету.

Антонов посмотрел и вспомнил, как она прикрыла ладонью грудь, и подумал, что было ей и не больше двадцати шести.

Он разломил картошку и, очищая шкурки, раскладывал их на лавке, чтобы потом класть туда чистую. Потом достал из полевой своей сумки, от Парамоныча, выданный им же спирт для геодезиста и черную буханку хлеба, купленную в Харлове. Антонов решил, что стоит уж сегодня выпить, раз уж неизвестно, где будет ночевать сегодня и будет ли вообще, хоть и был спирт для геодезиста.

— Что ж я соли-то не подала? — сказала Настя.

Она быстро встала и ушла за занавеску и принесла оттуда банку соли.

— Давайте выпьем, Настя, — сказал Антонов. — Только стаканы нужны, а потом я пойду.

Она принесла стаканы. Он налил по полстакана ей и себе, и они выпили. Она сидела тоже на скамье, и между ними была чистая картошка на разложенной им шелухе, и банка соли, и начатая неполная бутылка спирта, и два стакана.

Антонов разломал хлеб. Подал половину Насте, густо посыпав солью.

Они съели по куску хлеба с солью и по картошке. Картошка была даже теплая.

Лампа стояла на подоконнике, и им было светло.

— И лук есть? — спросил Антонов.

— Есть, — обрадованно сказала Настя. Она достала лук, очистила и теперь сама, макнув целую головку в соль, подала ее Антонову. — Люблю смотреть, как мужик ест, — засмеялась она.

Она и сама взяла луку, и теперь они оба ели картошку и хрустели луком с солью и черным хлебом.

После спирта Антонову стало тепло, и он подумал, после того как Настя засмеялась, что хорошо бы остаться здесь и никуда не ходить.

И Насте тоже стало тепло, она радовалась, что может посидеть тихо, поесть картошки и выпить с мужиком. И вся ее дневная маета исчезла сейчас, и она

подумала, что хоть и нескладная ее жизнь, но бывают и у нее хорошие дни.

Антонов налил еще, и они выпили снова.

— Хорошо пошла,— сказал Антонов.

— И у меня тоже,— ответила Настя, и они оба рассмеялись.

Они съели еще картошки и луку, и теперь они ели только отломанные от хлеба запеченные корки, а мякоть оставляли, потому что голод уже притаили.

— А как вас звать-то? — спросила Настя, теперь уже не смущаясь этого незваного мужика.

— Антонов,— сказал он, привыкнув к фамилии своей в институте.

— Значит, Антоша,— сказала Настя.

— Можно и так,— сказал Антонов, улыбаясь.

Кто-то из ребят задвигался за занавеской, и Настя встала посмотреть. Потом она вернулась. Они доели картошку, теперь уже без лука и хлеба, просто с солью. Потом они посидели еще.

Антонов молчал и не знал, что сказать. Он подумал, что, может быть, это и есть счастье.

Лампа на окне погасла. Антонов вздрогнул.

— Кончился керосин,— сказала Настя тихо,— идти за ним далеко, аж за сопку.

Антонов ничего не ответил. В комнате было уже совсем темно.

Между ними, на лавке, стояла банка соли и расстеленная по лавке шелуха, и лежал плохо пропеченный мягкий хлеб.

Он отломал кусок этого хлеба.

— Пойдемте,— сказала Настя.

— Я останусь здесь,— сказал Антонов.— Я никуда уже не пойду.

Настя встала и принесла ему его брезент из угла, и он начал медленно натягивать его.

Она вышла поглядеть на улицу.

Она открыла дверь, и ее обдало дождевым шумом. Теперь лил серьезный настоящий дождь надолго. Она глянула в темноту и ничего не увидела, ни двора ни кола, даже своего валкого забора.

И ей стало горько оттого, что нигде не было света, что гостил у нее чужой незванный мужчина, что Антонову надо уходить и что ей теперь уже придется оставить его у себя. Она прислонилась к косяку и тихо за-

плакала. Но ничего не было слышно, потому что лил серьезный настоящий дождь надолго. Потом она вытерла глаза и вошла в дом.

Пока она так стояла, будто вся жизнь ее уже прошла и закончилась.

Антонов уже оделся и ждал ее, чтобы проститься. Он уже не думал о погоде, о домах и о том, где ему придется спать.

— Раздевайся, Антоша,— сказала Настя.— Положу спать у себя.

Он снова начал раздеваться и побросал все в угол. Она подметала, где готовила ему постель.

— Вы не беспокойтесь, сумею, мягко будет,— сказала Настя, постилая на пол цветастое, из разных кусков, ватное одеяло.

Она забыла про свою горечь, когда распахнула в дождь дверь, про свои горькие бабьи слезы и про нелегкую ее жизнь. И ей снова стало хорошо, будто они сидели с Антоновым на лавке, ели вместе хлеб и говорили.

— Только бы с полу не дуло, всежки холод,— сказала она.

Потом она принесла подушку, взбила ее и сама легла испробовать.

Она примостилась и так и эдак, перевернулась с боку на бок, а потом легла на спину.

— Хорошо будет,— сказала она довольная и встала.

— Спасибо,— глухо сказал Антонов. Он снял с правой ноги ботинок и, когда она поворачивалась, смотрел на нее. Он подумал, что вид у него, наверное, несуразный, в военных отцовских брюках, без сапог, с распушенной поверх гимнастеркой.

Настя ушла за занавеску, и Антонов услышал, как заскрипели под ней доски, когда она укладывалась.

Потом он слышал, как она встала, хлопнула дважды сенями и долго не возвращалась. Когда она вошла, он оглянулся к ней. Она стояла в мокрой телогрейке и платке.

— Что ж вы лошадь-то забыли, Антоша,— рассмеялась она,— а сами-то улеглись, ботинки сняли. Сразу видно, что городской.

— Вы меня простите, Настя, про лошадь я забыл.

Ночью Настя не спала, она думала об Антонове, о том, что плохо все-таки ему постелила, как бы не дуло. Она вспомнила, что ей было хорошо с ним, когда они сидели и ели картошку с солью и луком и черный хлеб. И она забыла, что на улице лил настоящий дождь надолго, и что скажут завтра соседи, и про двух детишек от разных мужиков, которые спали теперь в ряд, вместе с нею, на досках.

Антонов тоже не спал ночью, ворочался с боку на бок и думал о Насте, о том, что до холодов надо поставить дома, что его ожидают в заготпункте и что зря он, наверное, сбился на эту развилку и попал в Настин дом и теперь мается. Потом он услышал, что она встала босая. Она вышла из-за занавески в рубашке и быстро пошла к тому месту, где он лежал на полу.

— Дай хотя бы полежу возле тебя, возле мужикато,— сказала она виновато и, присев, быстро юркнула к нему, укрываясь его брезентом и прижимаясь к нему вся. Антонову сделалось жарко, и, обнимая ее, он подумал, что вместе с ними, здесь же, были ее дети, в одной с ними комнате, и что живет она на отшибе, может, даже большой деревни.

— А мужика ой как хочется,— быстро говорила она, целуя его лицо и глаза,— и все мужики по деревне по своим бабам. А кто был, так кто в городе пропал, другой в армии остался. И такого бы мужика, как ты, Антонушка.

Антонов был на Алтае полгода. В поселке стояли выложенные из бутового камня склады, ожидая, когда пойдет зерно. Камень били где-то у Колованского хребта, на границе с Монголией.

Кроме складов, ничего не было. Сам он жил в землянке, оббитой сосновой доской.

Сначала он варил в котлах асфальт, делали у складов тока под зерно. Потом пошло зерно.

Когда машины буксовали, они сбрасывали его под колеса.

Были только грунтовые дороги.

Ночью небо было черным, без просветов с боков, но без туманов и облаков, чистое, с большими яркими звездами.

От них только и шел ночной свет. И от этого виделась чернота неба.

Дождевой шум вдруг разом стих. Так бывает в этих местах. Можно ехать часами по мылкой дороге, машину будет вести из стороны в сторону, дождь падает плотной завесой, промокнуешь до костей, наберешь на сапоги пуд глины и надорвешь мотор, и вдруг, будто чудо, будто Бог тебя услышал, на две половины разделится дорога, прочертится как ниткой на две половины, и там, где ты был, там тебя уже нет; и машина рванет по сухому на все свои сто двадцать лошадей, пойдет сухая без дождей дорога, а потом, глядишь, через сто метров, уже жарко палит солнце.

Когда дождевой шум стих разом, Антонову вдруг пришла шальная мысль. Он вспомнил долгую и валкую дорогу, как он подъезжал к ее дому, горы горячего после просушки зерна, асфальт, который он варил в котлах ноль семьдесят пять куба.

— А самолет ты видела? — неожиданно спросил Антонов.

— Откуда ж мне видать-то его, — сказала она шепотом, сбивая дыхание свое и снова обцеловывая Антонова. — Ни самолета, ни мужика близко нету. А так, они-то летают, иногда пролетит какой. Протрачусь только. Да куда я от ребятишек, с ними-то я на всю жизнь. Да зачем мне самолет-то, Антонушка? Разве что с тобой куда улететь, милый.

Потом она сказала Антонову: если бы однажды было синее небо.

Она бы купила новое платье и туфли.

Она бы купила новую косынку и кожаную сумку вишневою.

Косынку бы купила синюю в белый горошек. И когда бы он к ней пришел, то это было бы ее счастье.

Остался бы, милый, сказала Настя утром, сладко мне с тобой.

Антонов ничего не сказал, только крепче обнял ее.

Тогда Настя ему сказала: я же воду из-под тебя пить буду, Антонушка. И дома все выскребу. И печку побелю.

Я ж не злая и на работу скорая. От жизни это все.

Вот такая у нее была жизнь, а сейчас станет другая.

— Учиться мне надо, Настенька,— сказал Антонов.

— Сколько же учиться? — спросила Настя тихо.

— Три года,— сказал Антонов.

— Как в армии,— вздохнула Настя,— долго.

— Долго,— сказал Антонов.

Утром Настя собирала его в дорогу, как своего мужа.

Пока он спал, она постирала всю его одежду. Развела огонь в дворовой печке и раскалила чугунный утюг. Потом просушила под утюгом всю его одежду: гимнастерку, военные штаны и рубашку.

Антонов смотрел на нее, как она принесла чистые его брюки и гимнастерку. Глаза ее и лицо просветлели после ночи. Он вспомнил ее дрожащее тело, и ему стало горько.

Приедешь в город если, сказал Антонов, заходи.

На клочке бумаги он написал ей адрес общежития.

Настя вышла вслед ему, но не пошла дальше сеней.

Антонов сел в телегу и, не оглядываясь, дернул Лысого.

Настя не смотрела ему вслед. Она закрыла глаза, чтобы все, что было у них, увидеть снова и оставить в своем сердце навсегда.

Когда она открыла глаза, Антонов был уже далеко, дорога изогнулась крюком на подходе к сопкам, и Лысый шел будто теперь к ней, выискивая колею колесами, и лицо Антонова будто бы было тоже обращено к ней, и он тоже шел к ней, и он что-то говорил ей, близко, в самые губы.

Она же говорила ему: если бы однажды было сильнее небо.

Она бы купила новое платье и туфли.

Она бы купила новую косынку и кожаную сумку вишневую.

Косынку бы купила синюю в белый горошек. И когда бы он к ней пришел, то это было бы ее счастье.

Август, 1985

ЕГОРИЙ

Запахи. Больше всего меня поразили запахи, к этому я совершенно не был готов. Обшарпанные фасады, небрунные грязные сугробы, темные улицы, неухоженность и запущенность — обо всем этом рассказывал каждый возвращающийся из Москвы, ко всему этому я был готов. Но запахи...

Может, если бы они были совершенно незнакомыми, это бы так не действовало. Но это были знакомые запахи, ими была пропитана вся предыдущая жизнь, от детства до самого отъезда. И все же они застали меня врасплох, потому что все эти годы я вспоминал что угодно: телефоны друзей, название пригородных станций, слова песен, цены на хлеб, но не запахи.

Но если бы они были только знакомыми, и все, просто знакомыми запахами детства — это было бы, в конце концов, всего лишь сильным сентиментальным воспоминанием, не более. Однако в этих запахах присутствовало что-то постороннее и неприятное, искажающее знакомые свойства, словно черты дорогого лица, отраженные в выпуклой поверхности. И непонятно, изменились ли запахи или изменился я сам...

Я сразу же вспомнил, как только вышел из гостиницы под мокрый мартовский снег, где находится ближайшее метро. И точно — вход был на прежнем месте. Сколько стоит теперь проезд? Боже мой, пятак, по-прежнему пятак! В Нью-Йорке за эти годы плата за сабвей выросла в три раза, а здесь все пятак.

Метро. По-прежнему чисто, нет этих жутких нью-йоркских граффити. Запах подогретого воздуха и техники. И что-то постороннее, чего раньше не было... Или я не замечал?

«Ссыллелующая станция — «Белорусская», — простонал противоестественный радиоголос. Поезд плавно тронулся, набирая скорость, замелькали огни на темной стене туннеля, как раздробленное на кусочки отражение луны в темной воде, когда ударишь веслом.

...Я налегал на весла, стараясь погружать их без всплеска в темную воду. Вышли рано, до света, было зябко и хотелось спать. С самого начала договори-

лись, что я гребу всю дорогу туда и обратно. «Это твой, старик, вклад в искусство»,— сказал Тихонов. Он полулежал на корме, подсунув ящик с красками под спину, но, видимо, испытывая угрызения совести, потому что, в конце концов, предложил: «Ладно, давай погребу». Но я твердо был намерен держаться до конца.

Рассчитали мы правильно и с первыми лучами солнца были на месте. Лодку вытащили на берег, весла спрятали в кустах и стали взбираться по отвесному глинистому склону. Это было нелегко: ноги скользили по глине, и здорово мешали все эти принадлежности — ящик с красками, тренога, подрамник, складной стул. Подсаживая друг друга, кричтя и ругаясь, счищая с себя комья глины, мы достигли верха. Тихонов разогнулся, посмотрел, да так и застыл. Только сказал: «Вот это да. Не натрепался, Рубин. Потом дважды обошел храм — в одном направлении, в другом. Заглянул внутрь, но сразу же выскочил: «Что за дикари! Никакого понятия!»

Точку выбрал совсем не ту, что я предполагал. Писал стоя, на стул присаживался на несколько секунд и, пока сидел, неотрывно разглядывал храм. Все время молчал. Я старался не мешать, находил себе какое-нибудь занятие, но все же время от времени, проходя мимо, заглядывал через его плечо, отмечая про себя, как постепенно на холсте проявляется изображение. Когда появились очертания куполов, полуразрушенных, с сорванными крестами, я не выдержал и спросил:

— А подправить не хочешь? — Он оторвался от холста и посмотрел на меня с удивлением:

— Зачем же? Нет, пусть будет, как есть. В этом все дело...

Где-то после полудня я вдруг увидел, что он снял холст и складывает треногу.

— Закончил, эй? — Я возился в стороне с костром.

— Хватит, пожалуй. Дома допишу.

— Покажи.

— Нет, полработы никому не показываю. Давай, Рубин, поедим.

Мы сели в тени под дубом. Храма, правда, отсюда не было видно, зато открывался потрясающий вид на реку. Тихонов снял рубашку и прислонился голой спи-

ной к стволу. Я извлек из золы горячую картошку, снял с прутиков подрумяненную над углями колбасу. Из майонезной банки вытряс туго набитую туда кислую капусту домашнего квашения.

Бутылку я завернул в мокрое полотенце и смачивал его несколько раз, так что водка была, ну, не то чтобы холодная, но, по крайней мере, не теплая. Разлили в походные пластмассовые стаканчики.

— За конечный результат,— предложил я,— чтоб получилось.

— Вроде получается, боюсь загадывать. Тебе спасибо, это ведь ты нашел. Только не надо чокаться пластмассовой. Давай так.

Выпили и дружно захрустели капустой.

— Хороша Иркина капуста,— промычал Тихонов с полным ртом.

— Ира просто гениальная, я всегда говорю. Давай за нее.

Выпили по второй.

— Легко пошла, воздушно, как улыбка феи.— Его белесые глаза сияли восторгом. Эта способность радоваться простым жизненным обстоятельствам меня всегда озадачивала, казалась несовместимой с его в целом весьма рациональной натурой.

— Так как он называется? Храм Святого Егора?

— Егория,— поправил я.— Так называли на Руси Георгия Победоносца. Егорий, Юрий, а в летописи вообще — Гюргий. Князь Гюргий Всеволодович, например.

— Постой, мой Юрка, получается, тоже Егорий? Ну, победоносец... Его даже девчонки во дворе лупят.

Юрке было тогда лет пять-шесть. Ира жаловалась, что он какой-то забитый, и Тихонов, по-моему, очень это переживал.

— Ладно, давай выпьем по пластмассовой за Егория, неустрашимого и победоносного.

Когда выпили, он сказал таким же беззаботным тоном:

— Знаешь, а меня тягают. Второй раз вызывали...

У меня все похолодело внутри, хмель моментально соскочил.

— За что конкретно?

— Ну, за выставку, за ленинградские дела тоже... А хуже всего — за иностранцев, там, знаешь, этого не любят. Я двух американок водил к себе в мастерскую.

Он старался выглядеть спокойным, но видно было, как из глубин его естества подымается страх. Я вдруг заметил, как сильно поседела его борода за последнее время.

— На прошлой неделе четыре часа пудрили мозги. Грозят, суки, и все так вежливо, по-хорошему. По имени-отчеству величают... Слушай, я что хочу сказать. Если что... ну, в общем, я на тебя рассчитываю, в смысле моих, Иры и Юрки... Слышишь? Мне больше не на кого надеяться.

— О чем речь, Тихонов! Если только сам к тому времени...

Я не знал, как ему сказать, — ведь он так далек от всего этого, он просто ничего такого никогда не слышал. Да и сама идея покажется ему чудовищной скорее всего. Он по-своему понял мои слова.

— Да тебя-то за что? Ты ведь ничего такого не делаешь. Работаешь себе, и все.

В тот раз я так ничего и не сказал о своих намерениях. Мы допили бутылку, покидали вещи в лодку. Плыть по течению было куда легче, и мы засветло успели вернуть лодку хозяйке. Я проводил Тихонова до его московской квартиры, на Преображенку, и по-мог ему втащить вещи на второй этаж.

В тот год осенью произошло чудо, вернее два. Картина под названием «Пейзаж с церковью Св. Егория» была допущена на ежегодную выставку МОСХа на Кузнецком мосту и произвела там сенсацию. И второе чудо, хотя и меньшего масштаба, — я получил разрешение на эмиграцию.

...Метро на Преображенской площади, два квартала мимо магазинов и алкашей, потом через улицу, через рынок, направо в знакомый переулок. Мокрый снег хлестал в лицо. Вот подъезд. Я взбежал на второй этаж и остановился перед дверью с деревянной самодельной дощечкой «Тихоновы». Самое трудное — убедить себя, что это не виденный сто раз сон и что я не проснусь сейчас в своей нью-йоркской квартире на Вашингтон-хайтс.

Ира открыла сразу, едва я дотронулся до звонка, она словно ждала за дверью. Несколько секунд она

смотрела на меня молча, с выражением, как мне показалось, ужаса.

— Господи, действительно ты,— проговорила она наконец.— Ты позвонил утром, я не могла поверить. Как с того света...

Я стоял перед ней в полной растерянности, не зная, что сказать и что делать и должен ли я ее обнять.

— А ты совсем не изменилась,— сказал я, чтобы что-нибудь сказать, и она отреагировала на это соответствующим образом — пожала плечами.

— Сними пальто, стряхни снег с ботинок и проходи. Юры, жаль, нет дома.

Я вошел в комнату, и запах тихоновской квартиры заморозил меня. Это был тот же знакомый запах. Все было точно таким же, все было на прежних местах. Я сразу прошел в дальний угол комнаты и, как прежде, сел на коричневый плюшевый диван рядом с торшером. Прямо передо мной был журнальный столик, а за ним — такое знакомое вольтеровское кресло с позеленевшими головками обойных гвоздей. Я посмотрел на кресло и вдруг ощутил, что в знакомом запахе тихоновской квартиры нет больше главного — аромата свежей краски.

Пустое вишневое кресло зияло, как рваная рана.

Ира села на другой конец дивана, и мы долго молчали, глядя на вольтеровское кресло.

— Ты когда узнал? — спросила она, не поворачиваясь ко мне.

— Ну, первые годы я даже не пытался установить контакт, боялся вас подвести, знал, что у него и так хватает... Потом стал у посетителей выспрашивать, кто ездил в Союз и общался с художниками. Не встречали, мол, такого? Нет, никто не встречал. Однажды не выдержал, будь что будет — позвонил. Телефон отключен... Другой раз написал — ответа не получил. Мне говорили, что первое письмо, как правило, не пропускают: авось заглохнет. Испугался, думал — посадили. Но сообразил: наоборот, шум был бы за границей. А потом объявился этот молодой ваш гений, который картину за три миллиона продал. Я специально к Нахамкину на прием напросился, чтобы познакомиться. А гений говорит: Тихонова не знаю. Весь, говорят, московский союз знаю, а Тихонова не встречал.

— Понятно, не встречал: когда он художником стал, Тихонова уже лет пять в живых не было.

— Когда же он... когда это случилось?

— В восьмидесятом, в марте.

— Что произошло?

Она помедлила, словно вспоминая:

— Да в том-то и дело, что ничего особенного как бы и не происходило. Пил не больше, чем всегда, вы ведь, бывало... Тягали его, конечно, это было. Они особенно на него озлились после того, как дали выставить «Егория», помнишь, перед твоим отъездом. Думали, он купится на такую честь. А он... Ну, ты знаешь его характер. Работал много, особенно последнее время. Все, знаешь, вместе, одно к одному. Вышел утром за почтой, и нет его долго. Я выбежала, смотрю — сидит на лестнице, прямо на ступенях, бледный как смерть. Я «скорую» вызвала, приехали на удивление быстро. В тот же день в больнице и умер. Инфаркт.

Она говорила размеренным голосом, почти что спокойно, глядя перед собой. Я смотрел на нее сбоку. Нельзя сказать, что она не изменилась, годы и все пережитое не обошли ее стороной. Морщинки вокруг глаз и проседь в темных волосах — все было, как в кино, когда прошло столько-то лет и это надо показать. Но в общем она не изменилась, я узнавал ее быстрые движения, неожиданный пристальный взгляд, манеру сидеть на диване, не касаясь спинки... Она была все той же и такой же красивой, или снова красивой, можно и так сказать.

— Что Юра? — спросил я.

— Ничего, нормально. Учится на историческом. Его сейчас нет дома.

— Как ты с ним? Возраст такой, что...

— Честно говоря, трудно. Он, помнишь, в детстве был тихоней, зато сейчас... отцовский характер!

— Как ты живешь?

— Материально? Ничего, работаю в библиотеке. Гроши платят, но я все еще тихоновскими картинами пробавляюсь, сейчас они очень в цене, иностранцы хватают, только дай. Продаю постепенно. Жалко каждый раз бывает, как будто опять его теряю.

— Но «Егория» не продала, — я кивнул на висящую прямо против меня картину, где мне был знаком каждый мазок, даже неровность холста.

— Я, Рубин, «Егория» продать не имею права,— проговорила она с нажимом,— он мне не принадлежит.

— Как это? Чей же он?

— Твой, представь себе. У Тихонова было завещание, я обязана тебе отдать «Егория», когда бы ты ни появился.

Я подошел к картине. Ира включила верхний свет, и мне снова пришлось убеждать себя, что это не сон, что я не проснусь сейчас в квартире на Вашингтон-хайтс, глядя на тусклое окно и соображая, где я нахожусь.

— Что же я буду с ним делать? Я могу его увезти?

— Можешь, только придется подсуетиться, сходить в министерство за разрешением. Я дам тебе все документы.

Я действительно знал каждый мазок, но картина показалась мне еще лучше, чем в моих ночных видениях.

Когда мы сидели за чаем, Ира рассказывала:

— Страшно было, сказать не могу. Одна — с ребенком. Что я могла, что знала? Как капусту квасить. Вышла замуж за первого, кто подвернулся. Саша Бутко, не помнишь? Неважно. Он, в общем, не плохой, но что-то не то, все не то... два года прожили и разошлись. Еще пыталась, опять не получилось. Я думаю, тебе повезло, что уехал...

Она вдруг засмеялась и посмотрела мне прямо в глаза.

— Понимаешь, что я говорю? Тебе, может, и повезло, что уехал. А мне вот жаль. Да что теперь-то... — она слабо махнула рукой.

Я чуть не поперхнулся чаем, а когда совладал со своим дыханием, сказал что-то насчет трудностей эмиграции и жизни в непривычных условиях. Она глубоко вздохнула:

— Знаешь, Тихонов жутко переживал, что не простился с тобой перед отъездом. Это из-за меня, я не сказала ему, когда ты уезжаешь. Ему только этого не хватало — ходить на проводы! Помнишь, что тогда было, в самом-то начале? В подъездах фотографировали. Ему только этого не хватало... Он пытался тебя разыскать в Израиле. Ты где живешь?

— В Нью-Йорке.

— Правда? А мы почему-то думали — в Израиле. Я Юре говорю: появится Рубин, увезет «Егория» в Израиль.

— В Америку. Увезу в Америку.

Когда мы прощались в прихожей, мне показалось, что в глубине коридора мелькнула чья-то спина.

Снег усилился, и фигуры редких прохожих напоминали белые призраки. Я долго отряхивался у входа в метро; ноги промокли, и даже за шиворотом хлюпало что-то холодное. В вагоне в этот час народу было мало. Я пристроился в углу, расстегнул пальто и вытащил из-под полы большой потертый конверт с желтоватыми разводами. Слава Богу, он был сухой. Я сунул руку в конверт, перебирая бумаги с лиловыми печатями на бланках и просто на тетрадных листах. Мое право на «Егория»...

Мне стало холодно, я снова застегнул пальто и понял, что у меня озноб. Огни в туннеле проносились в лихорадочном ритме, колеса нервно стучали. Под этот аккомпанемент в моей голове без конца повторялся, как записанный на магнитофон, разговор с Ирой. И фраза, от которой я поперхнулся чаем. Ей не стоило это говорить...

В номере я извлек из чемодана аспирин, проглотил две таблетки, запив водой из графина, и лег в постель. Поверх одеяла я положил свое пальто: влага от него не проходила сквозь одеяло, а тяжесть создавала иллюзию тепла. Нужно было поскорее уснуть, чтобы завтра встать пораньше и бежать в министерство — просить разрешение на вывоз картины.

Я долго ворочался на сероватых, свежестырированных простынях, испускавших знакомый с детства запах хозяйственного мыла. Уснул я, видимо, около полуночи и вскоре был разбужен телефонным звонком. Проклинаю все на свете, с бьющимся сердцем, я схватил трубку.

— Але, але, вы меня слышите? — сказал молодой мужской голос. — Мне нужно поговорить с господином Рубиным.

— Да... он говорит...— я пытался справиться с сердцебиением.

— Это вы? Извините, что так поздно. Мне очень нужно с вами немедленно повидаться.

— Повидаться? А кто это?

— Это Юра Тихонов. Я здесь внизу, у входа в гостиницу. Меня не пускают. Швейцар или кто он...

— Юра! Юра! Стой у входа, я сейчас выскочу. Слышишь?

Я увидел его сразу, он стоял у входа и сбивал кепкой снег с плеча. Он был небольшого роста, худой, бледный, белокурый и очень похожий на отца. Я бросился к нему, он протянул мне мокрую холодную руку, и я понял, что сентиментов здесь не будет.

— Извините, но очень нужно,— сказал он без тени сожаления в голосе.

— Пустяки, о чем речь! Я так рад! Я просто... да пошли в гостиницу. Ресторан еще, кажется, открыт, или кафе...

— Нет, я не могу задерживаться, я до дому не доберусь. Мне нужно сказать несколько слов. Можно здесь, между дверьми, здесь тепло. Если только этот вышибала...

Он кивнул в сторону швейцара, который стоял в нескольких шагах от нас и с преувеличенной безучастностью смотрел в сторону.

— Почему же здесь! — взмолился я. Сын Тихонова, Юра! Сон слетел с меня сразу.

— Я не располагаю временем. Совсем. Мне нужно поговорить с вами о «Егории».

О «Егории»! Мог ли услышать от него что-либо более приятное?

— Конечно, конечно! Ведь он был написан, можно сказать, у меня на глазах. Я могу тебе рассказать...

— Нет, я не об этом, я говорю о дальнейшей судьбе этой картины. Она не должна уйти за границу, вот о чем я говорю.

— Постой, ты хочешь сказать, что я не вправе...

— Права, вам важны права! — в его голосе звучал сарказм.— Я не оспариваю вашего юридического права. Я даже не говорю о том, что почти все картины отца ушли за границу. Ну, трудно матери было, я ее не осуждаю... Но «Егорий» — это совсем другое дело,

это наше национальное достояние. Мы не можем допустить, чтобы наше национальное...

— «Мы»? Кто «мы»?

В его белесых глазах, так похожих на глаза Тихонова, появилась жестокость.

— Мы — это те, кто живет в этой стране постоянно.

Последнее слово он произнес с нажимом.

— Хорошо, Юра, я это понимаю, — я старался говорить дружелюбно. — Но пойми и ты меня. Это был мой лучший друг, очень близкий мне человек. Картина — память о нем. И о моей жизни... о лучшем, может быть, времени в моей жизни. Мне это дорого.

Он упрямо дернул головой, и капли с мокрого чуба упали на его бледный лоб.

— Это наше национальное достояние, мы не допустим, чтобы «Егория» увезли в Израиль. Хочу только вас предупредить: у нас есть возможность обратиться к обществу и воспрепятствовать надругательству над...

— Угроза?

— Понимайте, как хотите. Мы тоже имеем право защищать себя. Вы же защищаете свою страну от арабов! А с нами можно сделать что угодно?

Только этого не хватало... Я уже догадывался, как пойдет разговор дальше, но все же спросил:

— А если я буду настаивать на своем праве?

— Не советую. «Егория» вы все равно не получите. У нас есть к кому обратиться — и в министерстве, и в таможне. За «Егория» мы будем бороться!

Он смотрел на меня с нескрываемой враждебностью. С ненавистью смотрели на меня глаза Тихонова — знакомые и чужие, как московские запахи...

Это было невыносимо.

— Хорошо, пусть будет по-твоему. Подожди здесь!

Последние слова я сказал громко — для швейцара.

Я поднялся к себе в номер, взял со стола конверт с желтоватыми разводами и снова спустился вниз. Юра и швейцар стояли друг против друга в тех же позах.

Я подал конверт Юре:

— Мои документы на «Егория». Все! На прощание ответь мне на один вопрос: сегодня, у вас, когда я разговаривал с Ирой... с мамой, ты был дома?

Он потупился и после некоторого колебания ответил:

— Да. Но я был очень занят.

Он напялил на самые уши кепку и, взглянув, пошел к двери. У дверей он остановился, потоптался в нерешительности, потом обернулся ко мне. Выражение лица было другим — не столь решительным и, как мне показалось, с оттенком смущения.

— Отец любил вас,— сказал он, покосившись на швейцара.— Он тоже считал вас лучшим другом, он мне говорил, я помню...

— Ладно, Юра, смотри, опоздаешь на метро.

Он резко повернулся и вышел на улицу под мокрый снег. На углу он остановился возле урны, бросил в нее конверт с документами, потом сунул руки в карманы куртки и исчез в белой пелене.

Я смотрел вслед и думал о словах его матери. «Повезло, что уехал» и «жаль»... Это «жаль» впивалось в меня, как жало, не давало покоя.

Нет, все-таки повезло.

Анатолий Гладилин

«ЗАПОРОЖЕЦ» НА МОКРОМ ШОССЕ

Опыт технического исследования

Официально он был рожден в Запорожье, на ЗАЗе, но уж очень напоминал ФИАТ-500. Однако это внешнее сходство отчаянно опровергалось конструкторами: мол, наше, родное, отечественное дитя, ну разве что родственники за границей... Чтоб положить конец досужим вымыслам, его срочно модернизировали: удешевили сорт стали (чтоб пальцем можно было оставлять вмятины на корпусе), упростили приборную доску (это вам не проклятый Запад), резиновые втулки заменили капроновыми (которые срабатывались в два раза быстрее), всюду, где только возможно, поставили болты меньших размеров (экономия металла), да и на конвейере бывшие ученики «ремеслухи» импровизировали по вдохновению (то гайку не закрутят, то пружинку не дожмут),— словом, получилось сооружение, при знакомстве с которым опытным механикам

хотелось выбросить все справочники, инструкции, — все книги вообще, исключая одну (к технике отношения не имеющей), где напечатан был плач пророка Иеремии. Опытные механики уже тогда догадывались, что владельцу «Запорожца», в сущности, надо надеяться только на эту книгу, храня ее в сумке с инструментами, рядом с буксирным тросом. Однако не понимали механики, что тут был заложен высший смысл: частичка нечего баловать — разводной ключ в зубы и под машину. Таким образом наглядно проводилась в жизнь идея всеобщего обязательного политехнического обучения...

Да, важная деталь биографии: первый экземпляр был привезен в Москву и показан Очень Большому Человеку. Очень Большой Человек, несмотря на крайнюю занятость (читал доклады послов, руководил посадкой кукурузы и репетировал произношение слова «социализм» — последнее, впрочем, безуспешно), снизошел до «Запорожца», погладил его, даже соизволил протиснуться в салон — и ничего: «Запорожец» сделал торжественный круг по Кремлевскому двору, не развалился.

И тогда его запустили в массовое производство.

Но к моменту появления нашего героя (кузов № 696070, мотор 524532, шасси 46778) то ли директору завода надоело получать письма, в которых ему обещали проломить голову монтировкой, то ли уборщицы устали выметать из сборочного цеха отваливавшиеся с готовых машин гайки и болты, а может, просто молодежь у конвейера нашла себе другое развлечение — как бы там ни было, наш герой имел некую гарантию и мог проехать тысячу километров самостоятельно.

ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ

Отец

Мать

«Юнкерс» — «Симка»
ФИАТ-362
ФИАТ-500

Примус — Керосинка
Мясорубка
Картофелесажалка

«Запорожец»

Из семейного альбома

— Я хочу, чтобы у меня родилась голубенькая «Импала»,— шептала мама,— такая блестящая, элгантенькая... Пусть будет глупой, но красивой...

— Зачем загадывать,— вздыхал папа,— ребенок в семье — это счастье.

Сам он мечтал, чтоб у них был сын, красный «Форд», будущий чемпион на кольце в Монте-Карло.

Увы, несчастный случай! Мама попала под постановление. Преждевременные роды. Выкидыш. Дитя аборта.

— Как же мы назовем такого хорошенького?

— Назовем его Гантенбайн,— предложил эрудированный папа.

— Сам дурак! — возмутилась мама.— Дитя малое, неразумное. Разве оно виновато? Может, «Манечка»?

Для историков сообщаем, что в этот знаменательный день стояла какая-то погода. Какая именно и где стояла,— никто почему-то не помнит. Может, погода стояла за углом, может, пряталась на соседней улице, но на складе — как припоминают старожилы (они же сторожа военизированной охраны),— на складе под ногами что-то хлюпало.

Длинный парень в очках (именуемый в дальнейшем Хозяин) топтался посреди складского двора, а человек в грязных валенках с галошами, ватных промасленных штанах и в ковбойке с засученными рукавами (именуемый в дальнейшем Хмырь Болотный) тщательно, чуть ли не на свет, изучал накладную квитанцию.

Наконец Хмырь Болотный значительно хмыкнул (и Хозяину показалось, что его, как из выхлопной трубы, обдало перегаром, только не бензиновым, а винным), вернул Хозяину квитанцию и хриплым баском спросил:

— Студент?

— Кто?

— Ты?

— Я? — обиделся Хозяин.— Я журналист!

— Чего же ты до «Москвича» не дотянул,— пристыдил его Хмырь Болотный.— «Запорожец» — несерьезная машина. Я бы на нем в разведку не пошел.

И пока Хозяин ошарашенно соображал, как же на

машине можно ходить в разведку, Хмырь Болотный рассказал анекдот:

— Едет по шоссе «Запорожец» и подпрыгивает. Мильтон свистит, останавливает и спрашивает шофера. А шофер, замечу, такой же верзила, как ты, башкой в крышу «Запорожца» упирается. Мильтон, значит, интересуется, почему машина прыгает. «А я,— говорит шофер,— икаю!..»

Хмырь Болотный заржал, вновь окутав Хозяина сизым облаком. Но Хозяин быстро сориентировался и тоже ответил анекдотом: муж уехал в командировку, а жена...

Анекдот понравился.

— Ты, Хозяин, молоток! (впервые в жизни Хозяина назвали именуемым в дальнейшем именем).— Я бы тебя взял в разведку.— И Хмырь Болотный широким жестом пригласил к забору.— Ходи! Выбирай себе автомобиль!

У забора, сбившись в кучу, стояли новенькие «Запорожцы», недавно привезенные с завода: у одного колесо спущено, у другого — фара побита, у третьего — крыло помято... И все они были, пардон, цвета свежего детского поноса.

— Почему они такие невзрачные? — робко осведомился Хозяин.

— Чего? — вылупил глаза Хмырь Болотный.— Невзр... невср... тьфу, холера! Ты хоть какого выведи за ворота. Видишь, за забором татарин шустрит? Так он у тебя за полторы цены с руками оторвет. Скажут тоже — невхреначные!.. Армянин еще больше даст.

И, подумав, предложил:

— С женой посоветуйся. Она выберет. Жена небось тоже с тобой приперлась? То-то, угадал! Старый разведчик...

Жена действительно спешила навстречу, радостно вереща:

— Митенька! Яшла! Пойди посмотри, какой хорошенький! И с ушками, и с глазками, прямо как живой...

«Ну, баба: дает! — покачал головой Хмырь Болотный, критически оценивая жену Хозяина.— Ишь ты, ушки, глазки... Напридумывает женский пол... И почему у всех очкастых такие оторвы? Не за что дер-

жаться. Нет, я бы ее в разведку не взял. Хотя, если пол-литра поставит...»

В другом конце двора, за двумя грузовиками, прятался наш герой: голубенький, серенький, гладенький, улыбочатый — рот до ушей!

— Смотри, какой веселенький! — пела жена. — Просто красавец!

— Точно, красавец! — подтвердил Хмырь Болотный и мрачно сплюнул: — Бери, Хозяин, заворачивай попку.

Так, с легкой руки (ноги? или плевка?) Хмыря Болотного наш герой стал впредь именоваться Красавцем.

Покатался Хозяин по двору — ничего, тянет машина. Заглянул в багажник. Бензобак на месте, запасное колесо имеется, домкрат на дне валяется... Где сумка с инструментами?

— Здорово работают ребята! — восхитился Хмырь Болотный. — Инструмент сперли!

Хозяин вздохнул и достал три рубля. Хмырь Болотный проворно утопал к забору, открыл багажник крайнего «Запорожца», приволок сумку.

— Считаю, Хозяин, должен быть полный комплект.

Расстались друзьями.

Выехали за ворота. Красавец повилял, принюхался, потом напрямик направился к ближайшей бензоколонке. Подзаправившись, весело фыркнул и бодро почесал по московским улицам. Только кустики мелькали. Но за один квартал до хозяйского дома Красавец вдруг закашлялся и встал. И дальше ни в какую!

Хозяин тыкал скорости, выжимал сцепление, крутил заводную ручку, — взмок Хозяин, отчаялся.

Красавец не чихнул и с места не стронулся.

Вылезла жена и вместе с Хозяином стала толкать Красавца к дому.

Публика собралась. Естественно, комментировала.

Но Красавец сжал зубы и не поддался на провокации. Приехал домой, как и положено новорожденному, на руках. Показал характер.

Первые детские шаги. Еще чувствуешь какую-то неловкость. Задеваешь заборы, столбы. Не можешь

прямо пройти в ворота. Досадные ссадины, царапины...

Недели не прошло, а Хозяин отличился: заводя мотор, забыл переключить скорость на нейтральную. Машина как стояла у подъезда, так и поехала. Хозяин с перепугу нажал не на тормоз, а на газ.

Что оставалось делать Красавцу? С разгона влетел в парадное. Хорошо еще, обе створки были отворены. Лишь бока ободрал. Не больно? Попробуйте сами, на себе! Небось сразу в поликлинику и — на бюллетень! А мы утерлись, замазали ссадины и улыбаемся как ни в чем не бывало! Одно плохо — соседи дразнятся:

— Эй, Митя, твой Красавец, говорят, по лестницам ходит? На пятый этаж вскарабкался?

И потом — страшно. Страшно с непривычки на московских улицах. Хозяин сначала тихие переулочки выбирал. Но осмелел, и потянуло его на шумные магистрали. А там — ужас! Таксисты-разбойники шныряют, правил не соблюдая. Черные министерские «Волги» прут по осевой, как танки. Частники проклятые тормозят перед носом. И главное — грузовики. В Москве их видимо-невидимо: самосвалы, бензовозы, рефрижераторы, панелевозы, тягачи, трайлеры... Откуда их столько на нашу голову? Вон самосвал везет песок из Рязани в Москву. Навстречу другой самосвал, тоже с песком, из Москвы в Рязань. Почему бы не возить? Бензин казенный... Военный грузовик оставляет за собой черную дымовую завесу. У него одно колесо в два раза выше нас. Зазсваешься, попадешь под такую громилу — он раздавит как пустую консервную банку и не почешется. Мы маленькие, голубенькие (слегка поцарапанные), вежливые, а они — огромные, нахальные и очень противные. Фу!

И во сне такое не приснится. Попали на Садовое кольцо, в самую «пику». С одной стороны грузовики в три ряда, с другой стороны грузовики в три ряда. А мы, вместе с легковушками, к осевой жмемся. Нам направо надо, да где там, не пускают! У грузовика железа много — разве он пропустит? Проскочили нужную улицу. Развернулись. Поехали обратно. Дождались стрелки на поворот, но пока подошла наша очередь, переключился светофор. Встречный поток чуть

не смял. Опять пошли вдоль осевой. Только решили перестраиваться в правый ряд, сумасшедший троллейбус наподдал, оглушил гудком, еле-еле успели к осевой отпрыгнуть, костей бы не собрали. Опять проскочили нужную улицу. Развернулись. Поехали обратно. Развернулись. Встречный поток вынес на осевую. Сунулись вправо — шофер самосвала кулаком погрозил. Проскочили нужную улицу. Развернулись. Поехали обратно. Развернулись. Колонна автобусов пионеров везет — не проскочишь. Развернулись. Поехали обратно. Развернулись. Тащимся вдоль осевой. Развернулись! Мама, куда я попал! Замуровали!

— Вот так! — сказал Хозяин жене, вытирая потный лоб. — Будем крутиться, пока бензин не кончится!

Через три недели захромал Красавец. Поехал Хозяин за город, на станцию гарантийного ремонта. Простояла день в очереди. К вечеру мастер подошел, осчастливил.

Сняли колпак, вскрыли правое колесо.

— М-да, — сказал мастер, — подшипник надо менять.

— Ну и прекрасно, — сказал Хозяин.

— Прекрасного мало, — сказал мастер, — нету подшипников.

— Но вы же обязаны делать гарантийный ремонт! — вскипел Хозяин. — Я машину тут оставлю и возьму ее только тогда, когда почините!

— Это пожалуйста, — согласился мастер. — Подшипники обещали привезти в конце квартала. Ждите. Правда, за оставленные машины мы не отвечаем. А с запасными деталями, сами видите, туговато. Впрочем, может, кузов и не утащат...

Остыл Хозяин. Закручинился.

— Хоть до дома я доберусь?

— Смотря как поедете, — философски заметил мастер. — Мой вам совет: купите ступицу в сборе. Всего делов-то на пятьдесят рублей. Вообще-то они дефицит, но для хорошего человека — достанем...

— Жулье! — сказал Хозяин.

Развернулся Красавец и поковылял в сторону Москвы.

Два мужика, вышедшие из дверей продмага с бутылкой «чернил» крепостью в девятнадцать градусов (а может, эти мужики вышли из поэмы Гоголя «Мерт-

вые души?»), «сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем... «Вишь ты,— сказал один другому,— вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» — «Доедет»,— отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» — «В Казань не доедет»,— отвечал другой».

И все бы ничего, обошлось бы, да попалась выбоина на дороге. Хрястнуло что-то, и стал Красавец припадать на правую переднюю и плакать горячими слезами. Больно, ой, как больно, железо трет, можно сказать, по голой кости. И тащится Красавец на первой скорости и орет благим матом, мокрый след за ним по асфальту тянется. А Хозяин совсем обезумел, тоже слезами заливается, жмет на акселератор и повторяет, как в беспамятстве, слова русской народной песни: «Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»...»

Ну, дотяни, Красавец, дотяни, милый! Всего-то километров пятнадцать осталось. Отвалится правое колесо или не отвалится? Доедет то колесо до Москвы? Ой, какой скрежет? Сейчас полетит ось к чертовой матери... Ничего, не дрейфь. Врагу не сдастся наш гордый «Варяг». Русская народная песня...

Впрочем, почему русская? Почему — народная! Переводчик Арго, листая старые немецкие журналы за 1906 год, наткнулся на любопытную страницу. Там сообщалось, что некий герр Шмидт, восхищенный подвигом русских моряков крейсера «Варяг» во время русско-японской войны, сочинил песню. Приводился текст песни: «Наверх, геноссе, все на свои места, наступает последний наш час, мы не будем сдаваться врагу и просить пощады» и соответствующая нотная запись мелодии. Арго, естественно, заинтересовался и раскопал русскую газету за 1910 год, где был воспроизведен русский текст песни, правда, с указанием, что это перевод с немецкого. Имя автора почему-то не упоминалось. В сборнике русских военных песен, изданном в 1915 году, «Варяг» занимал видное место, однако там не было ни слова о том, что это перевод с немецкого. Деликатность издателей сборника можно было понять — шла война с Германией.

Арго написал о своей находке статью, разослал ко-

пии по журналам. Как ни странно, журналы не спешили публиковать сенсационное сообщение. Вскоре Арго вызвали в партком Союза писателей. «Ай-я-яй,— сказали партийные товарищи,— подрываете основы». — «Так ведь это случилось при проклятом царизме,— доказывал Арго,— явный факт фальсификации истории!» — «А как быть с патриотическим воспитанием молодежи? Как быть с советским кинофильмом «Крейсер «Варяг»?» — спросили партийные товарищи. Далее Арго намекнули, что как раз сейчас решается вопрос о его заграничной поездке. История с авторством песни о крейсере «Варяг» канула в Лету.

Ох уж эта История — все норовит куда-нибудь кануть...

Что касается Красавца, то добросовестные беспристрастные историки отметили в своих скрижальных анналах (или в аннальных скрижалях?), что автомобиль советской конструкции «Запорожец» совершил свой первый гражданский подвиг: довез Хозяина до дома. Правда, ступица правого переднего колеса рассыпалась, но это уже детали. Детали Историю не волнуют. Детали Хозяин доставал на черном рынке.

Шло время (которое в нашей стране, в отличие от загнивающего Запада, целеустремленно движется к светлому будущему), и постепенно Красавец стал проявлять свой независимый, лихой характер. На глазах у изумленной публики пронесся Красавец вдоль улицы Горького по резервной зоне, предназначенной для правительственных машин. Ахнули частники, и почесали затылки выдавшие виды таксисты. А потом сообразили, что, оказывается, открыли резервную зону — горит зеленый светофор. Но все по привычке к тротуарам жались, а Красавец первым сориентировался.

В сущности, что мы теряем?

Грузовиков бояться — на улицу не ходить. К тому же грузовики тупы и неповоротливы. А нам для разворота достаточно двух квадратных метров. Почтенные «Волги» и «Москвичи» рыдают после каждой ца-

рапины. У нас же бока жестяные — стукнули молоточком и выправили вмятину. Частники на дорогих машинах шарахаются от самосвалов, а мы в любую щель пролезем. Главное — маневр и находчивость!

...И начали в Москве поговаривать, что появился отчаянный «Запорожец», которого постоянно штрафуют за превышение скорости.

Случались, правда, и проколы. Но не в «Правах», уважаемые товарищи, в «Правах» у нас всегда рупь для милиции приготовлен. Раскрывает гаишник «Права», а там — новенькая хрустящая бумажка, сама в руку просится. Какой же зверь после этого дырку в талоне сделает?

Однажды Красавец напозволял себе... Кутил в ресторане ВТО, развозил артисток по домам... Короче, возвращался он из Филей. Ночь. Фонари притушены. Свежий снежок выпал. А на Филях место есть такое: площадь, а посередине — клумба. Клумба плоская, ее не сразу заметишь. Тем более, когда снегом припорошена. Словом, эта площадь — классическая ловушка для новичков. И не успел Красавец опомниться, как оказался на клумбе. Тут как раз милицейский мотоцикл выруливает. Ситуация — врагу не пожелаешь.

Остановился Мотоцикл, полюбовался картинкой, а потом вежливо так поинтересовался:

— Откуда ты, друг сердешный, спланировал? Уж не из космоса?

— Нечего зубы скалиты! — рассердился Красавец. — Почему площадь не освещена? Почему создаете аварийную обстановку?

— А тормоза на что? — допытывался Мотоцикл.

— Если резко заторможу, то обязательно перевернусь. Такая у меня конструкция.

Вздыхнул Мотоцикл, припомнил, сколько «Запорожцев» в кювете вверх колесами валяется...

— Так надо было выворачивать вправо!

— Попробуй выверни на мокром шоссе! Это самосвал вывернет, а я кубарем покачусь аж до самой Москвы-реки...

Видит Мотоцикл, что Красавец здраво рассуждает. Не придерешься. Действительно, могла быть крупная авария. И так эта клумба поперек горла застряла,

каждую ночь — приключения. А Красавец вроде парень не промах — не растерялся.

— С клумбы хоть слезешь?

— Спрашиваешь!

— Счастливо добраться!

— Покедова!

...Но окажись Красавец не в центре клумбы, а с краю,— уловил бы Мотоцикл запашок, и тогда...

И еще был случай. «Волга» прогуливалась (ну, «Волга» как «Волга»: новенькая, черная, свежелакированная, с желтыми спецподфарниками, на крыше — антенна, при помощи которой можно в одну минуту поднять по боевой тревоге все дивизии мирного оборонительного Варшавского пакта), так вот вдруг мимо «Волги» — метеором — Красавец. «Волге» это почему-то сразу не понравилось. Ишь, как подраспустилась молодежь, уважение к старшим потеряла! Наподдала «Волга», чтоб наказать наглеца, да не тут-то было. «Волга», она по прямой привыкла, но, как назло, улица общественным транспортом запружена, не протолкнешься. Красавец тем временем меж грузовиков проскакивает, все дальше уходит. Запыхалась «Волга», взопрела! Нагнала Красавца лишь при выезде из города. Поговорили у милицейской будки. Сначала, как водится, оштрафовали Красавца за превышение скорости. Но затем видит «Волга», что Красавец хоть мал, да удал. «Волга» ему нотации читает, а Красавец в ответ:

— Да ладно, хватит, нацепила подфарники, антенну и изображаешь из себя Братскую ГЭС! Впрочем, баба ты ничего, в теле, я бы, например, с большой охотой, вон лесок рядом...

Задохнулась «Волга» от возмущения, а потом подумала — действительно, почему бы нет? Красавец — парень симпатичный, и не из наших, значит, не наступит, все останется шито-крыто. Все мы люди, все мы человеки, всем охота, а на службе устаешь, издержаться...

— Ишь ты, какой шустрый,— кокетливо проворчала «Волга» и убрала антенну,— мне в этот лесок нельзя. Слишком на виду. Но я знаю одно глухое шоссе, «кирпичами» закрытое. Со мной — пропустят.

И потрусили они рядышком, нежно держась за руки. Но что у них там дальше произошло, умолчим. Дело пахнет государственной тайной...

Не скроем, любил Красавец пофорсить. Бывало, садится неземное синеокое создание, юбку оправляет, носик морщит:

— Фу, тесновато! И вообще...

— Почему вообще? — негодует Красавец. — В тесноте да не в обиде. А если меня какая-нибудь сволочь обгонит, плачу пять рублей. Пари!

Ни разу не проигрывал!

Однако почти через день приходилось наведываться в редакционный гараж к знакомому механику. Нрав у Красавца был неукротимый, но железо не выдерживало таких скоростей. И летели поочередно подшипники, задний мост, коробка передач...

Тут спрашивают: куда именно все это летело? Уточняем: у нас все летит только вперед! Вперед и выше!!! Знакомый механик похвалялся приятелю:

— Пока у Мити «Запорожец», — моя семья не умрет с голоду.

Миллионы машин выпускают Крайслеры и Форды, да и Московский завод малолитражных автомобилей старается... Бегают эта разномастная армия по автострадам и автобанам, а чего, собственно, бегают? Ну кто на нее внимание обращает? Зажимают люди уши и жалуются, что бензином воздух провонял.

Лишь одному Красавцу повезло. Сама Марианна Вертинская, знаменитая киноактриса, мечта всех московских интеллектуалов (мечта в полосочку!), выделила Красавца из общего пестрого автопотока, осчастливила, села.

И понесся Красавец, окрыленный таким доверием, окрыленный любовью! На сверхзвуковой реактивной скорости домчался до первого светофора — как назло включили красный, тормозить надо, а не тормозится! Жмем на тормоз, а педаль проваливается! Еле-еле остановились на середине перекрестка.

— Пожалуй, сегодня спешить не будем, — сконфуженно сказал Красавец.

— Лучше не надо,— охотно согласилась мечта в полосочку. Впрочем, полосы куда-то исчезли. Вместо лица — белое пятно.

Поехали тихонечко, аккуратненько, восемь с половиной км в час,— как у Феллини. Задолго до светофоров низшую передачу включаем. И почти что благополучно до Дома кино дотопали, но внезапно слева, резко инвалидная мотоколяска,— обходит, гадина! Не стерпел Красавец такого позора, взыграла молодая кровь! Коляску, конечно, мигом обставили. Но опять же впереди перекресток, а чем тормозить? Педаль проваливается! Заскрежетали шестеренки в коробке передач. Но инерция несет вперед, а впереди стена из троллейбусов и автобусов. Вперед нельзя. Только выше! Безднадега... В последний момент вспомнил Красавец про ручной тормоз. Правда, ручником давно не пользовались, он еще в первые дни сломался, а тут свершилось чудо — сработал ручник, выручил. Уф!

...Была в конструкции старых «Запорожцев» некая загадочность: машина идет со скоростью шестьдесят км в час, а пассажирам кажется, что не меньше двухсот. И ощущение неземной легкости — будто вот-вот взлетишь...

«Наш паровоз, вперед лети, в коммуне — остановка».

Уважаемый поэт-фронтовик рассказывал:

— Мальчишкой я выступал в цирке мотогонщиком по вертикальной стене. В сорок первом служил в морском десанте. В сорок пятом прыгал с парашютом на горящую Варшаву. Но недавно вез меня Красавец по мокрому шоссе... Братцы, скажу честно: такого ужаса я никогда не испытывал!

Писатель Василий Аксенов предложил переделать «Запорожец» в еврейский танк. Призадумались арабские страны, и временно приутихли страсти на Ближнем Востоке.

Постепенно Красавец получил международную известность. Автор «Бразильских рассказов» описал случай на ипподроме:

«...По радио объявили: «В пятом заезде вместо американского жеребца Апикс-Апорт будет выступать под тем же номером русский «Запорожец».

И действительно, на призовую дорожку вслед за девятью рысаками выехала маленькая машина, похожая на «Фиат-600».

В соседней ложе заволновались:

— Кто на «Запорожце»?

— Наездник Флавио.

— Флавио? В него я верю. Может, поставит?

— Против Женевьевы у него нет шансов. Смотрите, как проходит Женевьева. Битый фаворит.

— А вдруг Женевьева заскачет? Я все-таки поставлю на «Запорожца».

— Вы старый игрок, а рассуждаете, как мальчишка. У русских машин слабые моторы... Скорее придет Трибун. Смотрите, какой лихой жеребец! Причем наездник его еще сдерживает.

Я послушал их разговор и побежал к кассе — ставить на «Запорожца». Не то чтоб я в него верил, но уж такой характер — играть против фаворитов.

Дали старт. Бег повела Женевьева, за ней держался Трибун. Так прошли полкруга. Но вот справа стал вырываться «Запорожец». Вот он обошел лидеров на корпус, на два корпуса, один, идет один, его никто не достает! Последняя прямая! Ну!

— Кажется, приехал! — завопил темпераментный господин из соседней ложи, который тоже поставил на «Запорожца». — Давай, милый! Только бы не заскакал! Господи, только бы не заскакал!

И словно он накликал! «Запорожец» в десяти метрах от финиша сбился в галоп и пришел — галопом — в столб. Плакали мои денежки...»

В Совете Министров ожесточенно спорили:

— Америку по мясу и молоку не догнали!

— Зато мы обштопали Штаты по производству шелковых кальсон!

— Не тот пропагандистский эффект. Вот когда мы спутник запустили...

— Но американских летает в три раза больше...
— Советский человек первым вышел в космос!
— И здесь мы уступаем первенство. Разве что на Луну успеем...

— По достоверным сведениям агентуры,— мрачно заявил председатель Комитета госбезопасности,— американцы раньше нас высадят человека на Луну.

— Товарищи, не надо паники! Мы всегда сможем отыграться на неграх.

— Держи карман шире! Новый президент такой подлюка — обещает дать неграм равные права.

— Не послать ли ракету к Марсу?

— Американцы уже послали.

— Каковы перспективы орбитальных околоземных станций?

— Чихали в Штатах на эти станции.

— Может, выбросить бюст Ленина на Венеру?

— Какой смысл? Говорят, там нет компартии. Или наверняка прокитайская...

— Может, голых баб запустим в космос?

— Нашли, чем удивить! На Западе давно сексуальная революция.

— Видимо, мы не всегда оперативно улавливаем свежие революционные веяния.

— Этот путь для нас закрыт. При существующем продовольственном снабжении революционная энергия рабочего класса должна быть направлена только на нужды промышленности.

— Тем более необходим новый успех в космосе.

— А если мы первыми высадим на Луну «Запорожца»? — раздался робкий голос.

Помолчали. Идея представлялась заманчивой...

Но по-настоящему Красавец прославился после совершенно фантастической истории. История кажется абсолютно невероятной, но, однако, поговорите со старыми московскими гаишниками. Они когда это вспоминают, сразу за животы хватаются.

Дело было простое, житейское. Вздумал Первый человек Москвы вместе со Вторым на рыбалку съездить. Без лишнего шума, скромненько, можно сказать, совсем по-пролетарски. У Первого — «ЗИЛ». У Второго — «Чайка». Два шофера. Охраны — человек шесть. Вот и вся компания.

Порыбачили славно. Отдохнули. А когда назад собрались, глядь — у «ЗИЛа» сняты три колеса, — а у «Чайки» — все четыре. И аккуратно под обода чурочки подложены.

Потом выяснилось, что ехали грузины. Увидели на лужайке близ дороги два новеньких автомобиля. Темные были грузины, не сообразили, что машины правительственные — ведь в Грузии тогда любой завмаг мог «Чайку» по благу достать. Остановились грузины, прикинули обстановку. Вроде бы без присмотра добро ржавеет. (Почему без присмотра? Охранники рыбу неводом гнали, за машины не беспокоились. Известно, что у «Волг» или «Москвичей» резину воруют — но «Чайку», а тем более «ЗИЛ» в Москве ни разу не разували. Дураков нет.)

Грузины попались шальные. Решили небось — давай нашему дороговому Сулико подарок сделаем. А покрышки с «ЗИЛа» про запас сняли. Вдруг удастся самому товарищу Мжаванадзе за полцены загнать. Конечно, хозяин Грузии в «запасках» не нуждается, но за полцены — и он не откажется... Грузинов этих под Курском прищучили, далеко успели утопать, да на «левой» «Победе»... Но все это потом было.

А в тот момент!

Фантазия у вас есть? Вот и представьте себе, что сказал Первый человеку Второму, а Второй — начальнику охраны, а начальник — рядовым охранникам (капитанам, лейтенантам в штатском), а те — шоферам. Лично нам подробности неизвестны, а придумывать мы не привыкли. Знаем только, что двое охранников побежали в соседнюю деревню звонить в Москву, а остальные — на шоссе выстроились ловить «попутку». Да как на грех ни одного задрипанного самосвала — воскресный вечер, проселочная дорога, тишина, и лишь травка зеленеет и солнышко блестит...

И вдруг пыль на горизонте! Кто-то катит. Штатские на изготовку. А пыльное облако все ближе, и вот он, долгожданный, вынырнул «Запорожец». Начальник охраны даже сплюнул от злости! «Носит нелегкая всякую нечисть. Была бы хоть «Волга» — временно бы конфисковали...»

Но, видно, здорово разозлился Первый московский человек на своих служек. Страшнее мести не придумать! «Проголосовал» Первый — Красавец на тор-моза.

— Здравствуйте, товарищ! Не в Москву ли направляетесь? Прекрасно! Подбросите? Садись, Иван Ваныч.

Второй покряхтел, но куда же ему деваться? Прелез на заднее сиденье. А Первый рядом с Хозяином с комфортом устроился.

Хозяин головой крутит, ничего понять не может. Сели два здоровых лба, вином от них пахнет. Остальные мужики хмурятся, а самый толстый из них — плачет навзрыд: «Петр Устиныч, подождите, сейчас пришлют из города».

Кто придет? Кого пришлют? Да ну их к черту! Наверно, пьяная компания передралась. Ладно, просят подвезти — подвезем. Мы люди не гордые. Правда, лицо Петра Устиныча показалось Хозяину знакомо. Но разве угадаешь, что вот так, запросто, с портрета в машину шагнули?

Красавец взревел и попер по проселку. Метров пятьсот проехали, и человек на переднем сиденье вежливо так предложил:

— Товарищ, может, потише поедем?

Удивился Хозяин:

— Да что вы! Скорость — пятьдесят км!

— Разве? — удивился человек на переднем сиденье и замолк надолго.

Вылезли на шоссе, и Красавец бойко почесал к Москве. На спидометре — семьдесят. Петр Устиныч глаза закрыл. Наверно, притомился. А пассажир сзади дрожащим голосом интересуется:

— Скажите, товарищ, вообще-то машина надежная?

Хозяин рад поболтать со случайным попутчиком.

— Вообще-то всегда домой добирался. Но всякое бывало. Колесо отлетало. Руль заклинивало. А однажды, когда вез знаменитую артистку Марианну Вертинскую, — видели небось ее в кинофильме, — так...

И подробно стал Хозяин рассказывать, как с Вертинской по Москве путешествовали и как тормоза отказали. Слово за слово, но замечает Хозяин, что на шоссе нечто необычное происходит. Откуда ни возьмись, выскочила милицейская «Волга» — полосатая «раковая шейка» с фонарем на крыше, и пошла впереди, по самой середине шоссе, встречные машины у обочины прижимает, вроде бы дорогу расчищает!

А кому? Сзади две «Чайки» пристроились и защитного цвета бронетранспортер. Хозяин благоразумно решил их пропустить, тормознул. Но «Чайка» и бронетранспортер тоже привстали, не хотят обгонять, в кильватере держатся.

Тем временем рассказ о путешествии с артисткой Вертинской подошел к моменту, когда инвалидная мотоколяска резвый темп навязала и еле-еле ручной тормоз выручил. И услышал Хозяин шепот сзади:

— Петр Устиныч! Рисковать своей жизнью вы не имеете права! Партия вам не простит.

И так как ответа не последовало, то голос сзади окреп:

— Товарищ водитель! Правь к обочине. Останавливай, да осторожно.

Ну кто этот задний пассажир Хозяину? Случайный попутчик! Но в голосе звучали такие нотки, что Хозяин стих, как кролик, и беспрекословно на тормоза!

Тут только открыл глаза Петр Устиныч, окинул окрест себя затуманенным взором и вымолвил со значением:

— Директора Запорожского автозавода гнать надо из партии...

И уже с другой, ленивой, снисходительной интонацией добавил:

— А вам, товарищ, счастливого пути. Звоните, если что...

Правда, телефона своего почему-то не оставил. Но крепко руку пожал.

Задний пассажир буркнул что-то нечленораздельно и бегом в кусты.

И опять Хозяин в недоумении. Видит, что рядом с Красавцем две «Чайки», две «Волги», бронетранспортер — всем им тоже приспичило, что ли? Всем в кусты надо?

Нажал на газ Хозяин. Подальше от веселой компании.

Однако через пять минут с диким свистом обогнала его эта колонна, чуть в кювет не сдунула. И скрылась за горизонтом.

Всю следующую неделю ломал Хозяин голову, кое-что стало проясняться. А потом остановил его на Са-

довом кольце гаишник. Разговор обыкновенный. «Почему на желтый проехали?» — «Я не проезжал!» — «Три рубля штрафа!» — «Да клянусь вам, зеленый был, товарищ инспектор!» — «Ах, спорите! Пойдете в воскресенье на лекцию!» — «Да не я один проскочил. Я держался за черной «Волгой». — «Волга» вам не указ! Ваши права! И явитесь на Подкопаевский для пересдачи!»

Впредь наука: не лайся с ГАИ. Отобрали права.

Инспектор справку заполнял: имя, фамилия, место работы, марка машины, номер...

Как до номера дошли, споткнулась бойкая ручка. Прищурился инспектор:

— Товарищ водитель, вы случайно в прошлое воскресенье на Истринском водохранилище не отдыхали?

Вопрос с подвохом. Значит, и там нарушил? Семь бед — один ответ, все равно — плакали права!

— Было, товарищ инспектор. Я человек честный. Правду говорю. А на желтый я не проезжал.

Хихикнул инспектор, но разом взял себя в руки. Приосанился. Голос официальный, а глаз — веселый.

— Катайтесь, товарищ водитель. Только скорость не превышайте. Говорят, в «Запорожце» без привычки не проедешь...

И справку тут же порвал. Водительские права вернул. Взял под козырек.

Сейчас, конечно, все твердят: почему Красавец делал так, и не так, и надо было, и ему бы следовало, и лучше, и тогда наверняка, и вообще — и прочую дребедень. Короче, никто не понимает, почему он был таким. А ответ ясен — характер.

Красавец был маленьким, на него всегда смотрели свысока, а он не желал этого. Он задибал, по возможности, нос и доказывал, всем доказывал, что он, Красавец, не такой уж маленький и способен, ей-Богу, способен на многое. Он просто не мог жить в постоянном унижении!

Конечно, если бы Красавец смирился со своей участью и никогда бы не превышал сорока км в час, тогда, конечно, он бы благополучно дотащился до уважаемого возраста и законной пенсии. Ведь недаром

портрет основателя соцреализма вещает с недостигаемых высот: «Рожденный ползать — летать не может». Кажется, точный марксистский закон, основанный на передовом материалистическом мировоззрении. А Красавец все время его нарушал! Не хотел Красавец ползать, он летал — и летели ошметки передового закона, и летели карданные болты, и летел Красавец по дорогам России, с выбоины на колдобину. («Эх, подмосковные, дороги ровные»... Почему автора этой песни еще не настигла монтировка шофера?) В Крыму обставил всех ялтинских таксистов, за ночь проскочил от Мелитополя до Тулы, установил мировой рекорд скорости прохождения московских улиц в самую «пику» (от проспекта Вернадского до Выставки достижений народного хозяйства — 22 минуты!!!) — эх, Красавец, Красавец, «такой маленький, такой хорошенький», где сейчас твои ушки и глазки?

...Могильным холодом повеяло с булыжного шоссе у Игналинского озера. Бешеная гонка за литовской «Волгой», вертихвосткой с распущенными патлами, сто километров по булыжнику... Литовка зазывно смеялась и крутила «динамо», но у самой Игналины — сдалась, уступила. Ночь. Луна. Соловьи. Любовь.

А потом, когда «унялись волнения, страсти», вывели Красавца на подъемнике Рижской станции техобслуживания. Тронул мастер колеса и закурил. Болтаются колеса! Подошел механик, полюбопытствовал и почесал затылок. Подошел слесарь, удостоверился и почесал себе место, откуда ноги растут. Подошел сварщик, охнул и почесал себе еще более интимное место.

Стояли и чесались. А что еще делать? Сработались у Красавца втулки переднего моста. Двенадцать капроновых втулок. Цена каждой — ровно три копейки, но не достать этих втулок ни в Риге, ни в Таллинне ни за какие деньги. Нет этих втулок по всей Прибалтике, нет их ни в Ленинграде, ни в Белоруссии. Шагающие экскаваторы есть, трелевочные тракторы в наличии, самоходные комбайны имеются, даже танки класса «амфибия» с инфракрасными фарами — пожалуйста, пригоним хоть тысячу! Но вот втулок капроновых, трехкопеечных, на всей территории, на которой могут разместиться три Франции плюс один Люксембург, втулок — ни одной штуки! (Может, именно по этой

причине Франция и Люксембург не спешат здесь размещаться?)

— Хозяин,— сказал мастер,— давай я тебя разве-
селию. Новый анекдот. Едет по шоссе «Запорожец» и
подпрыгивает. Останавливает его милиционер, спра-
шивает у водителя, почему машина прыгает. А води-
тель, русский парень, отвечает: «Это я ик-каю!..»

— Хороший анекдот,— согласился Хозяин,— смеш-
ной.

— Какой же ты друг после этого? — возмутился
приятель.— Обещал, что мы вместе вернемся на ма-
шине в Москву, а теперь отказываешься... Я вон даже
варенья накупил, десять банок...

— Варенье возьму,— сказал Хозяин.

— Небось чувиху подцепил? — съехидничал прия-
тель.

— Точно,— согласился Хозяин.

С утра пошел дождь. Зарядил тупо, монотонно, на
целый день. Сразу после Риги застучало правое заднее
колесо. Хозяин вылез, достал гаечный ключ «на две-
надцать», лег под машину. На правом кардане отста-
вали два болта. А где еще два? Отлетели? Но почему
не входят запасные? Что за чертовщина? Позавчера
проверял на станции техобслуживания: карданы были
в порядке, все болты затянуты наглухо.

Сзади остановился «Запорожец». (Когда на обо-
чине из-под «Запорожца» торчат ноги водителя, дру-
гие «Запорожцы» останавливаются без приглашения.
Понятно без слов: сегодня я тебя выручу, завтра — ты
меня.) Шофер лег в лужу рядом с Хозяином. Добро-
вольный консультант изъяснялся несколько вычурно,
но безапелляционно, в основном оперируя одним гла-
голом, смягченным нами для благозвучия:

— В общем, парень, хреново! Срезались головки
болтов к... самой матери! Другие не вхренаришь. Надо
дрелью расхреновывать эти хреновины, а дрель сего-
дня ни хрена не достанешь — воскресенье, хрен им в
нос и в рот, даже не знаю, где... Ты хренай, только
очень хреноватенько, до Даугавпилса, там наверняка
на автобусной станции дежурный хрен свой хрен хре-

новит. Дохреначишь — твое счастье, но не хрени, а то как перехренакнешься!.. Не говори, парень, все мучаются. Это не карданы, а сплошная хреновина, на хреноватости хренящаяся! Отхреновывай двадцать км в час, иначе хреники захренарят, и колесом на хрен. И будешь горько плакать!

Далеко-далеко (так и хочется добавить: «где кочают туманы»), на 71 километре, с проселка выехал грузовик, оставив на черном лакированном шоссе желтые разводы мокрой глины.

Хозяин не смотрел на дорогу, а вертел головой и прислушивался — не раздастся ли вновь стук заднего колеса?

Красавец, не чувствуя твердой руки, постепенно набирает привычную скорость...

«Так я и буду за тобой тащиться всю жизнь? — думал Красавец, нагоняя «Волгу» с ленинградским номером.— Раскорячилась на самой середине шоссе, а по правой стороне, как положено, ездить не умеешь? На прямой, конечно, где тебя достанешь! Сил много, ума не надо! Вон, видишь, поворот? Там мы с тобой и разойдемся, как в море теплоходы. Странновато на повороте? Тормозишь? Прощай, бабка! А это что за образина вылезла? Мама родная, его величество самосвал! Отдыхал бы под навесом, газетку бы почитывал — так нет, дома не сидится. Привет, привет, привет горячий!.. Еще один самосвал, как сговорились! Всех грузовиков не обгонишь, но к этому надо стремиться! Старушка «Победа», естественно, прет тоже посередке. «Старушка не спеша дорожку перешла, ее остановил милиционер...» Давай, давай, принимай вправо! И кому только выдают шоферские права? «Москвичи»-двойняшки, где маму потеряли? Вежливые попались ребята, мигалку включили, сами дорогу уступают... Спасибо, родные! Девочка под деревом «голосует». И почему Хозяин ее не берет — могли бы и подвезти с ветерком... «А дождь идет, а дождь идет, и все вокруг чего-то ждет...» Кто эту песню поет? Нина Дорда? Ладно, почешем в одиночку. Скучная дорога. То ли дело в Крыму! Там не зевай! М-да, брат-

цы-товарищи, опять накаляется обстановка на Ближнем Востоке. Ну вот я, простой советский «Запорожец», в политике ни бум-бум, но ежели меня спросят, скажу: «Арабы завсегда нас обманут. Им лишь деньги давай, а как американцы больше заплатят — перекинутся в империалистический лагерь». Вообще все — суета сует. Мало духовного в нашей жизни. Погрязли в тряпках, в запчастях. Быт проклятый заедает. А между прочим, ночью взглянешь на небо — там звезды. И вокруг каждой — планеты. А по планетам этим небось тоже «Запорожцы» бегают...»

Хозяин почувствовал рывок, и машину понесло вправо. Накатилась зеленая волна... И еще несколько мгновений, пока летели сквозь кустарник, Хозяин пытался вывернуть руль, но, казалось, скорость все увеличивается.

— Мама! — крикнул Хозяин.

Удар.

Сколько времени прошло? Секунда? Минута?

Хозяин вставал, подвывая, и видел разбросанные рубашки, книги, чемодан с отломанной крышкой, майку на ветке дерева...

В пяти метрах, уткнувшись разбитой головой в дно канавы, лежал Красавец. Задние колеса еще подрагивали, задний подфарник мигал, агонизируя.

И сразу очень страшное: крыша «Запорожца» и правый бок — весь в красной жидкости! Миг ужаса.

«Но нет, нет,— соображал Хозяин,— не может быть в одном человеке столько крови! Вот мои руки, вот мои ноги! Так это варенье! Фу ты, черт!»

И постыдная радость: слава Богу, я живой!

Все машины, которых недавно обогнал Красавец, подтянулись, остановились. Высыпал народ. Разминали затекшие ноги, обменивались впечатлениями:

— Я как увидел, как он едет, еще подумал: «Нет, это добром не кончится!»

— А где милиция? Надо зафиксировать дорожное происшествие.

— На кой хрен? Кузов — всмятку! Доездили!

— Шофер-то цел?

— В рубашке родился! Его выбросило через правую дверь и не поцарапало! Один шанс из ста.

— Да, будь он с пассажиром — вместе бы в лешку.

— Гляди, руль сломан!

— Руль и спас! Если графически вычертить, то вектор движения от силы удара и амортизации руля смещается вправо...

— Господи, кровищи-то!

— Да не кровь это, тетка, варенье.

— Варенья жалко. Смородиновое или малиновое? Смородина нынче в цене...

— На буксире пойдет?

— Колеса заклинило...

Слова. Слова. Слова.

Однако свой брат шофер выручил. Мужики отволокли останки Красавца через дорогу, на двор хутора. Владелец хутора, кузнец Пауль, латыш, заверил Митю, чтобы тот не беспокоился. Сбережет он машину до Митинога приезда.

В теплой комнате напоили Хозяина чаем, завязали веревкой разбитый чемодан.

— Пауль, может, денег тебе дать?

Усмехнулся латыш:

— Я на чужой беде не наживаюсь.

Дохромал Хозяин с чемоданчиком до шоссе (что-то с ногой случилось, впопыхах и не заметил) — а все уже разъехались. Пустота. Дождь. И шоссе чистое. Все следы смыты. Словно ничего и не произошло. Словно ничего и не было. И может, вот-вот появится из-за поворота маленький, «такой хорошенький, с ушками и глазками»...

Час «голосовал» Хозяин. Тянул руку. Тихо проносились мимо «Волги» и «Победы», да кто остановится? Много вас развелось вдоль дорог, любителей кататься на дармовщину...

Хозяин промок насквозь, потерял всяческую надежду, но тут притормозил старенький «Москвич». Любезные старичок и старушка. Без разговоров открыли дверцу.

...Шустрит «Москвичонок» к Риге. Скорость — не больше тридцати. Тепло в машине. Сухо. Уютно. Спо-

койно. А кто на 71 километре остался, кто на дворе под дождем лежит, верный товарищ, сам погиб, тебя спас — да ладно, да хватит (так, кажется, говорил Красавец), распустил нюни, скажи еще спасибо, ведь жизнь продолжается...

— Разрешите сигарету?

— С превеликим удовольствием. Хотя, молодой человек, медицина утверждает, что никотин отрицательно влияет на здоровье.

— Совершенно с вами согласен. Вредная привычка.

Вернулся Хозяин только зимой. Сунулся по инстанциям. Ему объяснили, что нужно ехать в Огрский райотдел; там бумагу должны составить, дескать, не было в этот день дорожных происшествий, никого Красавец не сбил, не задавил, не опрокинул.

Огрский райотдел милиции — двухэтажное здание, как раз напротив универмага. Чистота, пустота, благолепие. Побродил Хозяин по коридору, почитал лозунги на стенках: «Создадим», «Добьемся», «Построим». Под плакатом «Все дороги ведут к коммунизму» секретарша чистила ногти.

Милый разговор произошел:

«Где Зам?» — «На занятиях!» — «Где Пом?» — «На объекте!» — «Где старший инспектор?» — «Участок объезжает!» — «Где начальник?» — «Нету начальника!» — «Когда его приемные часы?» — «В среду!» — «Так сегодня среда?» — «Ничего не знаю, вызвали начальника в район!»

Другой бы на месте Хозяина угомонился, явился бы в следующую среду, но Хозяин — человек нервный, взбеленился, вытащил красную книжечку, хлопнул ею об пол. Секретарша шею вытянула, обомлела: корреспондент центральной газеты!

Юркнула секретарша в кабинет и оттуда выпорхнула, раскланиваясь, мол, проходите, пожалуйста, ошибка вышла, я подумала, что вы простой, советский.

А в кабинете и Зам, и Пом, и старший инспектор, и сам начальник. Застегнуты, подтянуты, соответствуют должности, улыбками щелкают — прямо иллюминация, как в светлый праздник Седьмое Ноября.

— Просим! Садитесь! Пепельница слева! Лимонад

или кофе? Позвольте узнать, чем наше скромное учреждение привлекло ваше внимание?

Хозяин дело понимал. Спросил о показателях. Показатели были все на уровне. Преступность в районе катастрофически падала. Бытовые происшествия пресекались профилактической работой сотрудников. Число аварий на дорогах (на тех, которые ведут к коммунизму) значительно меньше, чем в прошлом году.

Хозяин эти цифры аккуратно записал в блокнотик и, как бы между прочим:

— Кстати, об авариях. Тут летом со мной случился казус...

Товарищи из райотдела мигом все схватывали, на ходу подметки рвали:

— Оформим чин чинарем! Грузовик достаем, вывезем. Где это произошло? На 71 километре? Скверный поворот. Там не то что «Запорожец», недавно трактор перевернулся! Но уже разработан проект, этот участок будем заново профилировать — смета утверждена. Поэтому не стоит в центральной прессе...

— Конечно, не стоит!

Руку долго жали.

И все-таки Хозяин тоже поехал на 71 километр.

Во дворе хутора по пояс в снегу лежал Красавец. Передние шины спущены, попка задрана. Рожница, сплюснутая от удара, застыла в болезненной гримасе. Пустые глаза мертвы. На лбу, где засохло варенье, — красные сосульки.

Отвернулся Хозяин, шмыгнув носом, утерся:

— Спасибо, Пауль! Спасибо, что выручил! Спасибо, что сберег. Вот деньги: купи ребятам три поллитра. Пусть помянут добрым словом.

Технический паспорт Красавца и мотор купил какой-то народный умелец. Видимо, задумал смастерить себе механизированную тачку.

А кузов «Запорожца», бранные останки, куда девать?

Заседала авторитетная комиссия. Решала.

С одной стороны, было мнение, что раз характер Красавца бесспорно героический, то соорудить Кра-

савцу памятник, прямо у дороги, на месте происшествия.

Но, с другой стороны, всплыли иные мнения. Дескать, морально Красавец был не очень устойчив (припомнили наезд на клумбу в нетрезвом виде, лихачество на Крымском шоссе).

А физически устойчив? Физически совсем неустойчив!

Зачитали заключение иностранного специалиста. Иностранец аж диву давался. Иностранец анализировал технические данные и утверждал, что, по идее, Красавец должен был попасть в аварию при первой же попытке обгона, перевернуться на третьем повороте, потерять колеса на четвертой тысяче своего километража, сгореть на пятой, рассыпаться на мелкие детали — на шестой.

Огорошила всех техническая экспертиза иностранца. Такой категоричности не ожидали. Правда, кто-то вякнул, что, мол, близко к истине: ведь не случайно сняли с производства старый «Запорожец», запустили новую, модернизированную модель — на ошибках учимся!

Но сурово сдвинул брови председатель комиссии.

— У иностранца кишка тонка! Не понимает, жук валютный, русского характера. Подумаешь, технические данные! А как во время войны? Хлеба четыреста грамм, луковица, три патрона в винтовке — и ничего, разбили немца! Победили! И все миролюбивые народы Европы нам до сих пор благодарны. Вот так!

Постановили: возвести на 71 километре бетонный постамент, водрузить туда кузов Красавца и плакат соответствующий. Утвердили единогласно.

Однако, как иногда еще случается, решение приняли, а проведение его в жизнь — не проконтролировали.

Бетон для постамента, точно, достали. Но весной в колхозе коровник рассыпался, бетон туда и утянули.

Район задолжал Вторчермету, и пионеры кузов «Запорожца» на металлолом сволокли. Тем самым район план перевыполнил.

Зато плакат остался. Поезжайте на 71 километр шоссе Рига — Даугавпилс, полюбуйтесь. Высокий плакат, красочный. Железные опоры, алюминиевая доска.

А на ней несмываемыми, светящимися ночью буквами написано:

«СОВЕТСКОЕ — ЗНАЧИТ ОТЛИЧНОЕ!»

Париж, 1976

Юрий Мамлеев

ОТРАЖЕНИЕ

Виктор Заядлов уже почти не был человеком, даже по его собственному мнению. Жил он уже несколько лет оседлым эмигрантом в Нью-Йорке, в маленькой трущобной квартирке. Работу он бросил (да ее и не было), жену сдуло, и больше вокруг него ничего не стало. Кормился он на помойках и на социальное пособие, которого боялся. Неожиданно, после многих лет нищеты получил он небольшое, но терпимое наследство — однако это уже ничего не меняло, и он позабыл о нем.

«Не все ли равно, как жить», — подумал Заядлов в последний раз.

Да, не это было главное. Главное было в том, что начала изменяться его тень. Он заметил это впервые, когда писал письмо далекой бабушке в Москву. Вместо тени от своих пальцев он увидел черные когти — сверхъестественно черные, ибо тень никогда не бывает так черна.

«Началось, началось, — в холодном поту подумал он, — я знал, что этим кончится... Это конец».

Но он дописал письмо, словно ведомый когтями.

Впрочем, письмо было довольно добродушным, оно начиналось так:

«Дорогая бабуся! Привет из Нью-Йорка, из всемирного центра будущего. Ты не умерла?! А я как будто бы умер, но в целом живой.

У меня все хорошо. Часто по ночам люблюсь небоскребами. А как тетя Маня, тетя Катя и тетя Вика?» (На самом деле никаких таких женщин вообще не существовало.)

После того как Заядлов закончил писать, поставив последнее: «Не забывай меня, бабушка», он опять по-

глядел на тень и увидел, что она стала нормальной.

Заядлов странно обрадовался этому.

«А не пойти ли мне погулять»,— решил он от счастья.

И он прямо-таки побежал — вперед на Пятое Аvenues, к рекламам, педерастам и бизнесменам. По дороге он поблевал около большого клуба, который называли почему-то храмом.

И пошел вперед — мимо огромных причудливых тридцатипятиэтажных банков, малюсеньких церквей и теней от небоскребов. Там и сям появлялись нищие и сумасшедшие. Секс Заядлов любил, но сумасшедших — никогда. Их было много в этом городе будущего — но их некуда было девать...

Заядлов подмигнул раза два прохожим, на большее он не решался, хотя помнил, что как-то раз ему ответили:

How are you (Хау а ю)

Нет, он не был одинок! Заядлов вдруг юркнул в заведение, мокрое от пива и от раскрашенных как на Марсе проституток, и запил, наклонившись над единственной рюмкой виски. И тогда второй раз увидел свою тень: однако вместо обычной головы была голова льва.

«Да нет, это кутенка,— успокоил сам себя Заядлов, наклонясь.— Всего лишь кошка — и все».

Но потом вдруг вскочил, дико озираясь на невинных проституток. Тень исчезла, ушла в потолок, в лампу, повиснув над головами дев. И Заядлов выбежал из светоносного этого заведения.

Свернул в малолюдство; какая-то женщина одиноко свистнула: была она как привидение, сошедшее с ума. Заядлов глянул вверх: там были небесного света небоскребы, и в каждом окне было, может быть, по бриллианту.

Он не любил плясать перед небоскребами.

Итак, появилась какая-то новая, почти доисторическая тень, как будто раньше он вообще жил без подлинной тени, оставаясь золотым счастливым человеком.

Спустя три недели тень эта даже стала драться — словно из тени высунулся коготь. И тогда он захотел:

— Боже мой, я все понял,— кричал он в стенку.— Это не сумасшествие, а, напротив, обратный процесс! Я, наконец, становлюсь нормальным!

И он юрко, несмотря на драчливую тень, засеменял к своей новой жене.

Действительно, когда сдуло жену-эмигрантку, он приобрел вторую — из местных, старуху лет семидесяти, якобы почти без средств, но все-таки с небольшими деньгами, которые она не тратила с детства. Потому и накопилось. Собственно, формально женат он не был, только — друг дома и полулюбобвник. Приходил он к ней раз в полгода или, может быть, раз в три месяца — и это считалось большой неразлучной дружбой. Почти мечтой.

Вот перед ней-то Заядлов и любил плясать.

Старуха Мэри терпела и это, скаля не то звериные, не то стальные зубы, и все время спрашивала Заядлова:

How age you (Хау а ю)

Тот отвечал грустным кивком.

Чужое небо Нью-Йорка с его ординарными звездами уже не мучило его...

Следовательно, после появления драчливой тени — он понесся к Мэри: на забытом даже адом метро.

Мэри встретила его своей прежней, жизнерадостно-мертвой улыбкой:

How age you (Хау а ю)

Много, много раз слышал это приветствие Виктор от всех просвещенных людей Запада. И не всегда реагировал правильно на эти слова: ведь он был чужеземец.

На этот раз он просто поцеловал Мэри, и они стали смотреть телевизор. Иногда Мэри опять спрашивала: How age you? или о погоде: Не правда ли, хорошая погода сегодня?

Потом после выступления регбистов и литераторов она сообщила Виктору, что скоро умрет, так как у нее серьезный рак. Заядлов промолчал, не веря, но Мэри добавила, что для нее это большая проблема и что к ней уже давно ходит (она тратит на это немалую сумму денег) приличный психоаналитик: он объясняет ей, что теперь делать и о чем думать.

Виктор улыбался как во сне, по-прежнему не веря, и ушел смущенный,

А через два дня его тень стала разговаривать.

У Виктора пот ушел внутрь лба. А потом он разучился удивляться. Впрочем, слова тени были пророческими: «Не смотри на свое отражение в зеркале... Не смотри... Ты понял это?»

Утешило его только то, что на самом деле говорила уже не его тень — ибо трудно было назвать то, что он видел рядом с собой, его тенью — лица, например, уже не существовало, но грудь выделялась и особенно борода, хотя на самом деле никакой бороды у него в земной жизни не было.

Но все-таки часто — на стене, в углу, где-то в полудуше, среди смелых тараканов — мелькала и его бывшая тень — но опять-таки в ней то оказывался птичий нос, то коровье ухо, то горб демона, то еще что-нибудь почище.

Если появлялся горб, то Заядлов обычно быстро бормотал, но горб, тот, как правило, упорно молчал. Пророчество тени несуществующей бороды (относительно зеркала) Виктор запомнил на всю жизнь.

Собственно, зеркал в его комнате никогда не было (там вообще почти ничего из предметов не существовало), но Виктор стал теперь шараться от зеркал и на улице, и в кафе, и где-нибудь в рекламном бюро.

Но одновременно его стали манить к себе и зеркала. И он, становясь на цыпочки, пытался заглянуть туда. Но в последний момент страх опрокидывал его назад, а ум свирепел: «Гляди, умрешь, если увидишь свое отражение». Так и жил он многие дни, вздрагивая от возможности увидеть...

В конце концов, он снова решил сходить к жене.

Мэри встретила его доктором. Белый костюм сидел в комнате и оказался психоаналитиком.

Виктор ответил самому себе, что цивилизации непонятны друг другу.

Психоаналитик же твердил свое:

— Да, Мэри, согласно диагнозу, вы через недели три умрете. Но у нас еще много впереди: целые три недели. Живите активно. Гоните негативные мысли и не думайте о смерти. Наслаждайтесь! Самое главное: наслаждайтесь! Мастурбация (но в меру), гипноз, хорошая еда — все годится. Наслаждайтесь — чем можете!

Мэри улыбнулась:

— Я согласна. А как же на том свете, если он есть?

— Если он есть, то думайте о нем только в терминах наслаждения.

— О'кей,— ответила Мэри.

— О'кей,— сказал фрейдист.

— А как же деньги? — спросила Мэри.

— Деньги будут и на том свете,— ответил психоаналитик.— В символах. Косвенно. Но реально. Ибо деньги — не только деньги... Это — наше сверх Я.

— Не понимаю о сверх Я, но о деньгах понимаю,— ответила Мэри.— Милый,— обратилась она, впервые за этот раз, к Виктору,— через три недели я умру. Все, оказывается, подсчитано. У меня в банке останется немного денег. Доктор говорит, что это чудо, потому что даже у мертвой у меня будут деньги! Ты знаешь, я счастлива!

Виктор промолчал.

— Ну хорошо, милый,— продолжала Мэри.— Приходи ко мне на ленч через три недели или около. Покушаем. Не знаю точно, сколько у меня времени будет тогда. А сейчас уходи. Я буду наслаждаться...

Заядлов мгновенно исчез, поцеловав высокий лоб Мэри. Больше он свою жену не видел (хотя один знак к нему пришел). Тень Виктора сказала ему (правда, во сне), что его жену, Мэри, похоронили быстро, как-то даже чересчур моментально, за десять почти минут, новейшим передовым способом.

Но Заядлову было не до Мэри, превратившейся в труп. Его парализовал ужас перед своим отражением. Он порой чуть ли не нырял в зеркало, и тогда где-то на краю зеркальной безбрежной поверхности появлялось предостерегающее черное пятно, словно он сам в него превращался и видел свою смерть. Виктор отпрыгивал, как потусторонняя кошка, от любых зеркал, пугая самого себя.

Порой на улице, отпрыгнувши, он долго хохотал, один, скорчившись на тротуаре среди небоскребов и ног механически бегущих людей. Однажды, правда, одна собачка залаяла, увидев его. Он приласкал собачку от всего своего больного ума...

Но один раз он поймал все-таки взглядом свое отражение. Это случилось, когда он пришел как-то к себе в комнату. В ней никогда не было зеркала, слов-

но зеркало равносильно небу. Но на тот раз оно висело — прямо посередине. Кто принес его? Вероятно, уголовники, часто заходившие в его квартиру, чтобы отдохнуть или просто унести от нечего делать последний стул...

И тогда Виктор увидел того, кем был он. Больше всего его поразили глаза — потусторонне-звериные и глядящие на него. Но убило его иное — черный ужас, исходящий от всей странно меняющейся фигуры...

Когда он очнулся — он был в зеркале, двухмерный и полоумный, а «оно», которое он видел в зеркале, гуляло по комнате.

Сергей Юрьенен

ГАРНИЗОН У ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦ

Папа принес из штаба армии две поллитры и черную весть — в Будапеште сбросили нашего Вождя. Гранитный памятник ему, сработанный на века.

— Где там у тебя мой *тревожный*?

Мама вышла и вернулась, бросив ему к забрызганным грязью сапогам еще с войны трофейный баул с обтертыми на учениях боками свиной кожи.

— Когда ты едешь?

— Приказано быть завтра в шесть ноль-ноль.— Папа потрепал Александра по макушке.— Ничего, сынок! Мы наведем порядок в этом мире.

— А это что?

— Это? — Папа приподнял к глазам сетку с бутылками.— Это мы с Загуляевым решили посидеть. Он тоже уходит завтра. Перед стартом, понимаешь? В порядке укрепления морального потенциала. Ты, надеюсь, ничего против не имеешь?

Командир эскадрильи истребителей Загуляев имел двух девочек. Старшая всегда казалась Александру рассудительной, но сейчас, на кухне, она явно делала не дело: взяла бутылку «Московской», подковыряла ножом станиолевую крышечку, сняла осторожно и стала выбулькивать водку прямо в раковину.

Александр схватил ее за руку.

— Ты что, рехнулась?

— Отстань! — оттолкнула его локоть.

— Им же не хватит!

Но девочка опорожнила бутылку, после чего наполнила ее водопроводной водой, надела крышечку и, взяв нож, аккуратно обжала кругом и погрозила Александру кулаком:

— Няябедничаешь — кровью умоешься.

— Очень надо мне на тебя, дура, ябедничать, — обиделся Александр и вернулся в комнату к взрослым.

Там как раз офицеры хлопнули по первому стакану, и командир эскадрильи истребителей, вырвав локоть из цепких пальцев своей жены, тут же, не закусывая, стал разливать по второму. А папа сидел зажмурившись, прижав к усам кулак, и тянул в себя носом, как бы своим же кулаком занюхивая. Открыл глаза и объявил:

— Все, детонатор сработал! Доигрались! Теперь остается только ждать взрыва в Польше. Что ж, дорогой наш Никита Сергеевич... За что боролись, на то и напоролись!

И грохнул кулаком по чужому столу так, что тарелки подпрыгнули.

Загуляев — они сидели за столом плечо в плечо — крепко обнял папу.

— Ты это, Ленька, брось!

— Как то есть брось? — освободился папа.

— Брось, говорю, кручиниться. Давай вот.

Они дали.

Прожевав селедку с луком и хлеб, Загуляев сказал:

— Я, ты знаешь, Леонид, во многом не разделяю... Нет, ты постой! Пахан тоже дров немало наломал, так что дружба дружбой, но Никита где-то прав... Да погоди ты! Я ж с тобой согласен! По большому счету.

— Ты согласен?

— Еще бы! Не имели венгры права Пахана мордой в грязь.

— Не имели, — кивнул папа.

— *Наш* он Пахан — несмотря на все дела. Мы с его именем на устах умирали. Так?

— Было дело.

— И мадьярам, мать их-х-х... вломим мы хотя бы

за память о том, что это его имя хрипели мы, умирая, а, Леонид?

— Хорошо говоришь,— папа взял бутылку.

— Хули, терпеть, что ли, будем?

— Не забывайся, Загуляев,— подала голос его жена.— Дети в пределах слышимости.

А мама — заметил Александр — под столом нашла кончиком туфли подошву папиного сапога, который, как обычно, намек не понял и удивленно посмотрел на маму:

— Ты чего?

Все на маму посмотрели, и она вспыхнула, и, опустив глаза в тарелку, сказала зло и сильно:

— Н-ничего!

— Вломить мы им, конечно, вломим,— заговорил папа, игнорируя сложные чувства визави,— но,— и брови свел,— сейчас не Сорок Пятый. Это тогда мы их могли нейтрализовать по Ла-Манш, а сейчас, брат, исторический момент упущен. А ну как НАТО ввяжется? А там и Эйзенхауэр? Тогда что?

— Известно что,— ответил Загуляев...— Война, брат.

— Вот то-то и оно.

И папа козырьком ладонь ко лбу приставил — закручинился.

— Ты это, Ленька, брось,— приобнял его Загуляев.— *Броня крепка, и танки наши быстры...* или не так?

— Быстрее, чем тогда.

— Ну, а со своей стороны, могу тебя заверить, что... как там? *В каждом пропеллере дышит...* Вернее, в сопле реактивном. По единой? *За спокойствие наших границ!*

Они выпили, и папа протянул руку:

— Подойди-ка.

— Облик не теряй, Леонид,— сказала ему мама.

Папа нетерпеливо пошевелил пальцем:

— Подойди, говорю.

Так наглядно на памяти Александра папа еще не терял свой облик, поэтому приближался он с опаской. Но папа обнял его, поцеловал в лоб, приятно больно уколол усами, а потом отстранил и, плечи сжимая, предъявил Александра командиру эскадрильи:

— Видишь? Во второй класс уже пошел. Не себя... что мы? Нас этому учили — умирать. И если живы

мы остались после мясорубки той, кой-чему, значит, в этом деле научились. Но их вот, незапятнанных,— и он тряхнул Александра так, что зубы лязгнули,— их — жалко. Иди, сынок, играй. И ничего не бойся, понял? Пока мы живы — я и дядя Слава,— ты можешь ничего не бояться.

— Отпусти ребенка, Леонид,— сказала мама.

Папа прижал его к себе, царапая орденовыми планками, и оттолкнул, отворачиваясь, утирая кулаком слезу.

— Кто ж спорит? — согласился Загуляев.— Мне, брат, еще больше жалко: он у тебя один, и то усыновленный, а у меня их кровных две. Если не вернусь, с чем их оставлю в этой жизни?.. О! — хлопнул он себя по лбу.— Я ж газету с таблицей купил!

И рванул из-за стола так, что уронил стул.

Жена его вздохнула.

— Совсем поехал мой летун. Знаете, что он сделал? Когда, значит, еще только первые слухи из Венгрии пошли, он снял все деньги со сберкнижки и — на все, ни рубля не оставил! — накупил лотерейных билетов. «Ва-банк,— говорит,— иду».

Поясняя состояние командира эскадрильи истребителей, она приставила указательный палец к виску и покрутила с насмешливым видом.

— Это ты по-нашему!..— Папа сделал попытку броситься навстречу Загуляеву, который внес свою кожаную куртку.— Люблю!

— Погоди, друг... Что там у нас в стаканах, нали-то ли? Э, да мы, похоже, все добились.

— И слава Богу,— сказала его жена.

— Нет,— сказал Загуляев,— нет, не Богу, а Случаю молись. А ты, Леня, в отчаяние не впадай: в моем доме последняя, она всегда была *предпоследней*... Ангелята? Вы куда попрятались? Тащите папке бутылку! Сейчас вам папка приданое будет выигрывать. Обойм по «Победе», как? Устраивает?

Перемигиваясь в предвкушении шутки, которая должна была насмешить офицеров до колик, ангелята принесли бутылку, на которой красовался черно-зеленый ярлык: «Московская особая». А папа ангелят тем временем раздвинул тарелки, разложил центральную газету с выигрышной таблицей, после чего отвалился вместе со стулом, выдвинул ящик комода и стал

доставать одну за другой запечатанные пачки билетов всесоюзной денежно-вещевой лотереи осени Пятьдесят Шестого года. Накидав перед собою пачек, он затолкнул ящик и вернулся, крепко стукнувшись об пол подошвами и передними ножками стула. Обтер ладонями обритую наголо голову, сияющую в свете лампочки, обвел всех отчаянным взглядом — и распечатал бутылку. Сначала папе набулькал. Себе... До краев.

Они подняли стаканы.

— Фарту тебе, Саша! — пожелал папа.

— Не мне, — поправил Загуляев, — девчонкам моим. Старшей «Победу», младшенькой «Москвич». С таким приданым кто от них откажется?

— А их и без приданого возьмут, — сказала его жена. — Как, Александр? Давай, любую на выбор!

Девочки, прыснув, убежали, Александр стал медленно наливать кровью стыда, а Загуляев посмотрел на папу.

— Что, друг Леня, может, и вправду придется нам породниться? Ну, пошел!

Они выпили залпом, и обращенные вовнутрь глаза летчика сделались недоверчивыми.

— Выдохлась, что ли? Крепости не ощутил.

— Мудрено ли? — сказала жена. — После четвертой поллитры.

— Крепость нормальная, — сказал папа. — Я объясню тебе, в чем дело...

— Ну?

— Азарт.

— Азарт, говоришь? Что ж, отрицать не стану. Такой я! — и он с треском распечатал первую пачку.

Поводив указательным пальцем по цифири столбиков таблицы, поднял глаза и весело сказал:

— Промашка вышла! Ничего, «Победа» в следующей.

— Чья? — спросила младшая.

— Не твоя же, — ответила старшая.

— Ах, не моя... *Сказать?*

— Ладно, твоя. Подавись.

— Папа, не слышал? Сама сказала.

— Ладно вам, ангелята. — Он отбросил вторую пачку, она разлетелась. — Шкуру неубитого медведя делить... Ну-ка, в этой? — и разорвал полоску на третьей.

«Победы» не было и в ней.

С окоченевшей на лице маской одобрения гусарству друга папа Александра курил папиросу, а мама с тревогой поглядывала на жену летчика, с которой пачка за пачкой сползало безразличие. А летчик садил «Беломор» так яростно, словно поддерживал вокруг себя дымовую завесу.

— Все ведь ясно,— сказала его жена.— Все, что с самой Кореи сбережено было. Рубль только один оставил, чтобы счет не закрывать. И что теперь мне делать? Завтра он уйдет, а у меня до конца месяца дотянуть не будет на что.

— Я тебе займу.— Мама обняла ее.— Будем теперь держаться друг дружки.

— Твой-то когда уходит?

Александр внутренне одобрил маму, даже подруге не разгласившую военную тайну.

— А я знаю? Баул его тревожный у порога, а когда ее, тревогу, объявят — мы разве знаем? Мы — люди маленькие. Пепел стряхни, Леонид,— возвысила она голос в сторону папы, но тот не услышал, ибо не только утратил облик, но и оглох. Мама вынула из его пальцев забыто дымящую папироску, которую задавила в его же тарелке, полной окурков. Осязание папа тоже потерял. Но самое постыдное было, что он даже не сознавал всю неуместность омертвевшей на его лице улыбки одобрения летчику, разорившему семью. Рассыпаясь веером, пачки уже нарастили целую гору, но никакой «Победы», которая должна была возникнуть от совпадения номеров на пачке и в газете, еще не возникло. Пальцы летчика медленно затушили окурок. Продув в дыму тоннель, он проявился и сказал:

— Последняя.

Повел пальцем, после чего смял газету, разорвал и отбросил. Девочки заплакали.

Загуляев завел руку за спинку стула, расстегнул свисавшую кобурку, сдавленно сказал:

— Простите, ангелята! — извлек «Макарова».

— Не ломай комедию,— сказала его жена.

— Это не комедия, Зина,— возразил он, сдвигая большим пальцем предохранитель.— Трагедия это.

Папа вздрогнул и очнулся. А очнувшись, осудил:

— Не при детях, Святослав!

Долго и неподвижно смотрел на него летчик, и по-

том его палец щелчком вернул предохранитель в безопасное положение. Он застегнул, а потом вдруг запрокинул шар своей головы и — р-раз! — ударился лбом о край стола, вскричал, вскочил, сощелкнули шпингалеты, распахнул окно и стал швырять на дождь, во мглу, свои билеты. Пригоршнями. Он выбросил их все, а вслед им и комок газеты, схватил бутылку и, работая кадыком, опустошил до дна. Размахнулся — туда же, в окно! От выпитой воды водопроводной его оттащило от подоконника, он схватился за скатерть — и в грохоте и звоне грохнулся об пол так, что лампочка мигнула.

Все вскочили, кроме папы, который все так же осуждающе передергивал головой.

Загуляев приподнялся на локте.

— А если не при детях? Имею право?

— Имеет право всякий, — ответил папа. — Но не мы.

— Не мы?

— Присягу помнишь? До последней капли крови она не нам принадлежит.

— Кому? — потребовал Загуляев.

С какой-то обреченной гордостью, вкладывая в ответ всю силу, папа повторил:

— Не нам. Осмыслил, Слава?

Смысл возник в глазах командира эскадрильи истребителей.

— Ну, и х-хер тогда с ней!

Он отпал, пошумел затылком в осколках, а потом смысл потух, и он закрыл глаза от света лампочки.

— Теперь ты поняла, почему я сервиз свой китайский не выставила? — Жена летчика поднялась. — Что ж, будем укладывать наших защитников...

И стала стаскивать с распростертого тела хромо-вые сапоги.

Папа за убытием собеседника показал пальцем на Александра.

— Взять, к примеру, камикадзе...

— Пойдем! — поднялась мама. — Пора и честь знать.

— Пойдем, — согласился папа.

Но не смог встать со стула.

— Пусть посидит, — сказала жена Загуляева. — Давай сначала этого.

Вместе с мамой они взялись за тело.

— Чугунный...

— Ничего,— ответила мама.— Я их в сорок первом знаешь сколько перетаскала? А раненые еще хуже. Его тащишь, а он ведь так и норовит...— Они взвалили тело на раскладушку.— Агонизирует, а туда же!

— Мужик он и есть мужик,— согласилась жена летчика.— Ну, теперь твоего.

Под дождем они тащили папу через двор. Иногда папа забывал переставлять ноги, и они, в сапогах, рыли грязь.

— А главное,— повторял папа,— ну, все сознаю! Война так война... Не впервой! Верно я говорю?

Следом Александр, укрыв за пазухой, нес его фуражку.

Затемно он разбудил Александра. К нему вернулась способность ходить. И он ушел — поцеловав. Наводить порядок в Венгрии. Когда Александр в восьмом часу утра с ранцем за плечами вышел во двор, земля была вся облеплена лотерейными билетами Загуляева, затоптанными в грязь и мокнущими в лужах.

По длинной Скидельской улице, лязгая гусеницами по булыжнику, урча и воняя, на Запад шли танки. Не видно было, откуда они начинались и где кончались,— сплошной рычащий поток. Колонна шла медленно, так что Александр обгонял один танк за другим, и так, пока не перешел дрожащий мост, где свернул налево, оставив рык брони за спиной, и постепенно мир снова озвучился, и дождь стал слышен — на кленовых листьях вдоль дороги, на старых каменных плитах и на канализационных крышках, на которых были вычеканены латинские буквы старого польского названия этого городка у наших новых западных границ.

Кирилл Косцинский

ИОАНН ГУТЕНБЕРГ И ДРУГИЕ

Если бы в мае 1946 года на углу Невского и Садовой не обрушился бы кусок карниза Публичной библиотеки и не убил бы проходившую мимо женщину, да еще не оказался эта женщина женой достаточно заметного партийного деятеля, я вряд ли имел бы воз-

можность написать этот рассказ, который, собственно, и не рассказ, но описание совершенно конкретной и в известном смысле трагической истории.

Так что договоримся сразу словами одного алкаша, оказавшегося однажды моим соседом по автобусу: «Это не факт, а случай из действительной жизни».

А может быть, этот увесистый кусок штукатурки, который, впрочем, я никогда не видел, так как в это время все еще служил в оккупационных войсках и, так сказать, «оказался на месте преступления» только через год,— может быть, этот кусок карниза лишь ускорил развитие событий, подтвердив лишний раз известное марксистское положение о роли личности (и, конечно, случайности) в нашей весьма грустной истории.

Узнал я об эпизоде с карнизом «опосредствованно», проработав несколько месяцев в ленинградской Публичной библиотеке, на разборке так называемых «трофейных фондов». И тут мы опять вступаем в область случайного.

Хотя книги всегда занимали значительное, если не решающее место в моей жизни, перспектива стать библиотечным работником никогда не привлекала меня. За свою жизнь — даже если мы ограничимся тем временем, когда произошли описываемые события, то есть к моменту, когда мне едва перевалило за тридцать,— я переменял множество профессий. Однако большую часть сознательной жизни я прослужил в армии, и вот, демобилизовавшись, после ряда неудачных попыток найти работу, которая меня бы устроила, я капитулировал и по направлению военкомата оказался в кабинете заместителя директора Публички по хозяйственным вопросам.

Тут вот и возникла первая случайность в этой цепи случайностей. В бумажке, принесенной мною из военкомата, значилось, что подполковник запаса такой-то направляется для переговоров на предмет занятия должности заместителя пожарной охраны. Я решительно ничего не знал об этой сложной профессии, кроме известной всем истины: пожары, когда они возникают, надо тушить. Однако, опираясь на свой фронтовой опыт, где, правда, мне время от времени приходилось УСТРАИВАТЬ пожары, но никак не тушить их, я надеялся, что как-нибудь справлюсь с пожаром,

если он возникнет, а еще больше — что он не возникнет вообще.

Итак, в тот момент, когда я вошел к заместителю директора, оказалось, что в его кабинете сидит и другой заместитель — уже по научной части. В ходе возникшего разговора как-то выяснилось, что я знаю языки — английский, немецкий, чешский и — в меньшей степени — французский и итальянский (с последними двумя я сильно приврал, но, признаться, не очень стыжусь этого). Научный директор заявил, что ни о каких пожарах не может быть и речи, что он задыхается от отсутствия людей, знающих языки, и что он забирает меня на разборку трофейных фондов.

Как человек военный, я отлично понимал значение слова «трофеи»: «трофейная техника», «трофейные знамена», вообще — «боевые трофеи». Правда, последний год войны внес некоторые изменения в семантику этого слова. После того как наши войска пересекли государственную границу, Сталин издал приказ, разрешающий отправку посылок на родину, — солдатам поменьше, офицерам — побольше. В посылках отправлялись «трофеи»: костюмы и примусы, отрезы тканей и будильники, стекла для керосиновых ламп, швейные иглы, белье, кухонная посуда, словом, все то, что привлекало внимание солдата или офицера, оказавшегося в населенном пункте вражеского, а часто и дружественного государства.

Были и другие трофеи. В качестве начальника штаба полка я периодически получал из штаба дивизии приблизительно такие директивы: «В развитие распоряжения Начальника тыла 3-го Украинского фронта №... от... и по распоряжению заместителя командира Эстонского корпуса по тылу вам предлагается в период с января по март 1945 г. представить через дивизионный обменный пункт следующее количество трофеев...» И далее шло перечисление: «Золота и изделий из него с драгоценными камнями или без них...; произведений живописи и скульптуры...; ковров ручной работы...; мужской и женской верхней одежды, не бывшей в употреблении...; обуви мужской и женской...» и т. д. и т. п. О книгах в этих распоряжениях не было и слова.

И вот почти через два года после окончания войны

мне предстояло ознакомиться и с этой разновидностью трофеев.

Это было само по себе интересно. До сих пор помню я подозрительные взгляды политработников и уполномоченных пресловутого СМЕРШа, когда они замечали у меня в руках какую-либо иностранную книжку. До сих пор сердце у меня обливается кровью, когда я вспоминаю, как в Чопе — первой советской станции — пограничники, как правило не осматривавшие багаж возвращавшихся в страну солдат и офицеров, увидев на столике купе английский роман, спросили, нет ли у меня и других книг. По глупости, по непростительной наивности, я ответил утвердительно, и меня — точнее, все мои вещи — подвергли тщательному обыску, отобрав все до единой книжки «не на русском языке». Самой страшной потерей была «Британская энциклопедия» в двенадцати, кажется, томах, изящнейшее издание на тончайшей бумаге в зеленых сафьяновых переплетах. Осенью сорок четвертого года я подобрал ее из-под солдатских сапог в совершенно разгромленном и частично сгоревшем дворце Палавичини в Румынии. Может быть, я встречу сейчас с этой «моей» энциклопедией?

Через десять минут на верхнем этаже административного здания Публички я познакомился с сотрудницей отдела комплектования, руководившей в то время этой сложной и ответственной работой. Назовем ее М. Это была милая, уже довольно пожилая дама — во всяком случае, с моей тогдашней точки зрения, — в совершенстве владевшая доброй полдюжиной европейских языков. У нее не было специального библиотечного образования, и была она то ли из последних «бестужевок», то ли из первых выпускниц ЛИФЛИ. Она и объяснила мне круг моих обязанностей и, частично, прав.

Трофейные книжные фонды из спасенных советскими войсками немецких библиотек хранились в ряде пустующих зданий: в бывшей великокняжеской усыпальнице в Петропавловской крепости, в бывшей армянской церкви на Невском, в Александро-Невской лавре и где-то еще. Оттуда книги периодически привозились в главное здание библиотеки, где они предварительно сортировались по языкам, по тематике, по времени и месту издания.

— Правда,— добавила М. с быстро скользнувшей улыбкой,— все послереволюционные издания, т. е. вышедшие после 1917 года, сразу поступают в «спецхран» и разбираются уже там.

После первой, «грубой», сортировки книги поступали в отдел комплектования, где их сверяли с генеральным каталогом, и, если данная книга отсутствовала в Публичке, она поступала в фонд. Если же она оказывалась «дублем», то ее вновь возвращали в одно из тех хранилищ, откуда привезли, и тогда только время и счастливый случай могли помочь ей попасть в какую-либо иную библиотеку.

— Да, и еще,— добавила М.— Вы будете работать по безлюдному фонду и...

— Как, как? — спросил я.

— Ну, у нас...— На лице ее отразилось смущение.— У нас нет штатных должностей, а на разборку этого фонда отпущены средства. Это и называется безлюдным фондом.

Признаться, я не понял (как не понимаю и сейчас), почему деньги, выделяемые для оплаты работы, производимой людьми, называются «безлюдными». Я понял лишь, что мне будут платить 5 рублей в час (50 копеек в современном масштабе), т. е. около тысячи в месяц, что было хотя и весьма небольшим, но постоянным заработком. Правда, в роли пожарного я получал бы на 100 или 150 рублей больше, но зато мне пришлось бы иметь дело не с книгами, а с пожарными шлангами и огнетушителями. Правда и то, что «безлюдный фонд» не предусматривал оплаты больничных листов, отпусков, ни даже выдачи продовольственных карточек.

Это было то совершенно бесправное с юридической точки зрения положение, в котором и поныне находятся так называемые «внештатные преподаватели» высших учебных заведений. Студентов много, ШТАТНЫХ преподавателей не хватает, и вот за счет какого-то «безлюдного фонда» в университетах и институтах трудится огромное количество «внештатных». Они получают от 70 копеек до рубля в час и при нагрузке в 20 часов в неделю (что очень много!) зарабатывают от 60 до 90 рублей в месяц.

М. привела меня в зал на пятом этаже дирекции,

заполненный стеллажами, столами и заваленный огромным количеством книг.

Нет, здесь не было и не могло быть отобранной у меня «Британской энциклопедии»: я быстро разобрался в этом. Все книги, находившиеся в этом зале или поступавшие в него позднее, принадлежали (или когда-то принадлежали) Бременской, Любекской и Прусской Королевской (Берлинской) библиотекам (объективности ради отмечу, что теперь, работая в австрийских и немецких библиотеках, я неоднократно встречал книги со штампами советских библиотек).

Разборкой трофейных книг занималось в то время еще четыре человека: две весьма пожилых дамы, некий бойкий молодой человек, работающий в Публичке и поныне, и прелюбопытнейший, хотя и опустившийся, сильно выпивающий П. П.

Чего только я не повидал за эти несколько месяцев: папские буллы на пергаменте или телячьей коже со свисающими с них высохшими до хрупкости восковыми печатями, первые оттиски гравюр Рембрандта и знаменитой иконографии Ван Дейка, прижизненные издания Эразма Роттердамского, «Словарь вагабундов» с предисловием Мартина Лютера, автографы Шиллера и Гете, Сэмюэла Джонсона и Свифта. Правда, подобные раритеты встречались не так уж и часто — далеко не каждую неделю. В основном же это был поток «массовой» литературы начиная с XVI века: философские трактаты и жизнеописания царственных особ, переводы греческих и латинских авторов, галантные романы и описания исторических сражений, мемуары куртизанок, отчеты мореплавателей о вновь открытых землях или островах. Иногда проскакивали и «послереволюционные» издания. И будь то «фронтальные очерки» нацистского журналиста или биография Леонардо да Винчи, подобная книга немедленно же, как готовая вот-вот взорваться бомба, отправлялась в «спецхран».

— Леонардо... — разглядывая огромный, великолепно изданный том, как-то очень многозначительно произнес П. П. И, оглянувшись по сторонам, добавил негромко: — В начале тридцатых годов одного эрмитажного Леонардо продали на аукционе.

— Как так? — поразился я.

— Ха!.. Если бы только Леонардо. А сколько Рем-

брандтов?.. Ван Дейков?.. Брюгеля Старшего, Тициана, Тинторетто...

— Не может быть! — возмутились во мне все мои патриотические чувства.

С П. П. у нас сложились отличные отношения. Несколько раз, получив наши «безлюдные деньги», мы ныряли в знаменитую тогда забегаловку «На углу Невского и Шампанского» и, взяв по стаканчику, пускались в доверительные беседы. Он не боялся открывенничать со мной.

Из очень хорошей семьи, П. П. кончал Александровский лицей, но в шестнадцатом году ушел вольноопределяющимся на фронт. Февраль он встретил уже прапорщиком, у Деникина получил поручика и тут — неисповедимы пути Господни! — переметнулся к красным.

Ни пользы, ни выгоды это ему не принесло. После конца войны он долго бедствовал, в середине 20-х годов устроился, наконец, реставратором в Эрмитаж и проработал там до начала тридцатых, когда его схватили как «социально-опасный элемент». Дальше были и Соловки, и Беломорканал, и БАМ, но он чудом выжил, даже смог реабилитироваться и вернуться в Ленинград. Впрочем, реабилитация не спасла его в сорок девятом году от «повторного потока» и до смерти Вождя Народов он пробыл в ссылке в Енисейске, перебиваясь тем, что учил местных митрофанушек английскому и французскому языкам.

Последний раз встретил я П. П. года полтора назад, уже совершенно дряхлого, но все еще большого любителя «заложить за галстук», которого, впрочем, он никогда не носил. Однако еще тогда, во время нашей совместной работы, рассказал он мне о том, как в конце 20-х — начале 30-х годов распродажно и на вынос распродавались на международных аукционах картины из Эрмитажа, бесценные севрские, датские и веджвудовские сервизы из царских и великокняжеских дворцов и как оптом, практически за бесценок, была продана уникальная филателистическая коллекция Николая Второго.

Сообщения эти с трудом вмещались в моем уже накренившемся, но все еще весьма большевизированном мозгу. Однако, работая в Публичной библиотеке, проверить достоверность сообщений П. П. было про-

ще простого: стоило лишь сравнить каталоги Эрмитажа разных лет: дореволюционные, двадцатых годов, современные. Надо сказать, что эта несложная работа сильно поколебала мою уверенность в том, что «искусство принадлежит народу».

Вскоре этой уверенности был нанесен еще один и на этот раз сокрушительный удар.

В нашем зале время от времени появлялся чистенький, всегда очень вымытый и отутюженный старичок. Впрочем, «старичком» он казался мне тогда — было ему, вероятно, пятьдесят или несколько больше, — но произвел он на меня впечатление не столько своими сединами, сколько удивительной в те времена опрятностью и накрахмаленностью. Это был Люблинский — заведующий отделом редкой книги, который назывался еще то «Гутенберговским кабинетом», то «кабинетом доктора Фауста».

Появляясь в зале, Люблинский быстрым шагом проходил между стеллажами, зорко оглядывая корешки книг. Иногда он вдруг задерживался перед какой-то полкой и точным движением вынимал одну из книг. Это была снайперская стрельба без единого промаха: всякий раз в его руках оказывалась какая-то редкость; то «Гептамерон» Маргариты Наваррской, то конволют Даниэля Гейнзиуса, редчайшая пергаментная Альдина или «Декамерон» Боккаччо, изданный Бальдафером.

Однажды М. попросила меня помочь Люблинскому в качестве «грубой рабочей силы». Я спустился в первый этаж главного здания, нажал кнопку звонка всегда закрытой двери и через плечо Люблинского впервые увидел это хранилище, стилизованное в духе средневековых монастырских библиотек.

— Извините, что я вас беспокою, — сразу начал Люблинский. — Сегодня нет рабочих, а мне необходимо поднять снизу кое-какие книги. Только... — Он бросил взгляд на мой армейский китель. — Сейчас я достану халат.

Через ряд зал и хранилищ, по каким-то сырым и грязноватым лестницам мы спустились в подвал и оказались в темном, уже совершенно сыром помещении, в котором на деревянных помостах слева и справа были грудами свалены бесчисленные тома «инфолио», «ин кварто», «ин октаво» в почерневших кожа-

ных переплетах. Шли мы по жидким деревянным мосткам, под ними хлюпала вода, в воздухе стоял запах тления и смерти. Я ломал себе голову, пытаюсь понять, почему эти редкие и редчайшие книги — у меня уже был наметан глаз — хранятся в столь неподходящем месте.

Люблинский, видимо, заранее наметил, что и где надо взять, мы почти не останавливались и совершили три или четыре рейса с полными охапками отсыревших, иной раз тронутых плесенью книг. Мы шли подвалами в очередной рейс, когда Люблинский, шедший впереди, вдруг сделал странный, почти акробатический прыжок назад и, упав на колени, принялся рассматривать тяжелую дубовую доску, заполнявшую разрыв между сосновыми мостками. Мы оба наступали на эту доску уже несколько раз, в ней не было ничего примечательного, но Люблинский вдруг опустил свои белоснежные накрахмаленные манжеты в эту черную, вонючую воду, поднял доску, и я услышал сдавленный стон, почти рыдание.

— Что случилось? — спросил я.

Люблинский повернулся ко мне, держа перед собой доску, вода стекала с нее, манжеты были почти черные, но его лицо — я увидел это даже в полумраке этого склепа — покрылось смертельной бледностью.

— Боже мой... — услышал я. — Мазарини... Боже мой... Какое безумие!

Как сомнамбула он двинулся вперед, прямо на меня, я едва успел посторониться, и направился к выходу. Держа пять или шесть книг, которые он успел мне вручить, я поплелся за ним. Мы поднялись наверх, по лестницам, по коридорам, по хранилищам, встречные провожали Люблинского удивленными, испуганными взглядами, а я, следуя за ним, видел только его сгорбившуюся спину и черные капли воды на полу, которые вдруг напомнили мне капли крови, оставленные раненым. В кабинете он положил свою ношу на стол осторожно, как драгоценность, как больного ребенка, и только тут я рассмотрел, что доска была огромной и очень древней книгой.

— Извините, — сказал он, не поднимая головы. — Большое спасибо...

Закрывая за собой дверь, я увидел, как он чут-



ким движением минера, ожидающего неожиданного взрыва, поднимает верхнюю доску переплета.

...Этот день был очередным выплатным днем, и, получив наши «безлюдные деньги», мы с П. П. нырнули в «Шампанское». Я рассказал ему о сегодняшнем событии.

— Что-о?.. Ма-за-ри-ни? — произнес он, и глаза его засверкали.— Этого следовало ожидать... В этой стране может произойти все, что угодно! Вы знаете, что такое «Мазарини»? «Библия Мазарини»?

Я признался, что впервые слышу это название.

— Это так называемая «сорокадвухстрочная Библия» Гутенберга, то есть та книга, изданием которой началась история книгопечатания. Сохранилось их семь или восемь экземпляров, и каждый из них стоит миллионы золотом. Но вы представляете, как эта Библия попала в подвалы?

И вот тут-то я услышал историю, в центре которой был тот самый карниз, с которого и начался этот рассказ.

Весной 45-го года в Ленинград пригнали два или три эшелона книг, вывезенных немцами из зоны интенсивных англо-американских бомбардировок и попавших в руки советских войск. Книги были упакованы в добротные ящики, которые временно развезли по пустующим церквям. Шла война, разбирать книги было некому, ящики горами стояли на своих местах, время от времени заливаемые дождями или тающим снегом: о ремонте крыш или окон в этих зданиях, поврежденных в годы блокады и войны, и уж вовсе не было речи. Правда, никем не охраняемые, церкви эти привлекали внимание окрестных мальчишек. Они проникали внутрь — подальше от взглядов взрослых — и устраивали там то игры, то попойки, а то и пожары.

Но в эшелонах оказалось еще несколько вагонов, заполненных не деревянными, но цинковыми, герметически запаянными ящиками. В них хранились особенно ценные книги, инкунабулы, манускрипты. Эти ящики поместили в подвалах Публички: вода была им не страшна.

Но вот война кончилась. Ленинград чуть-чуть, самую малость, вздохнул, и тут отцы города решили проявить о нем отеческую заботу. Тогда и возникло явление, которое вошло в историю строительного ис-

куства под названием «косметического ремонта». Название было точным: как молодящаяся старуха прикрывает слоем пудры и румян свои морщины, слоем штукатурки и краски подновляли снаружи ветхие, иной раз готовые развалиться дома.

В число таких «объектов» попала и Публичка. Фасад подновили, подправили лепные украшения и карнизы, но никому и в голову не пришло заняться крышей, изрешеченной осколками бомб и снарядов. Дождевая вода в силу своего естества проникала в эти дыры и медленно, неторопливо делала свое дело. Заливала она не только чердаки и верхние помещения библиотеки, но и карнизы, один из которых вскоре и обвалился — как раз в тот злополучный момент, когда под ним проходила супруга партийного босса.

Подобные случаи происходили в Ленинграде в те годы довольно часто, но ими трудно было удивить людей, переживших блокаду с ее голодом, артобстрелами и бомбежками. Пожимали плечами: «Ну, не повезло человеку!» ...Но тут вдруг создали специальную комиссию, которая сразу же и установила, что виной всему дырявая крыша.

Заместителю директора накрутили хвост, сняли с него, как и полагается, стружку, пообещали стереть в яичный порошок и приказали: кровь из носа, но чтобы была новая крыша!

Как известно, кровь из носа добыть куда как проще, чем кровельное железо на снабженческой базе. Если железо и было, то разве для исторического Смольного да для домов, занимаемых самым высоким начальством. И вот тут-то, обходя однажды свои владения, ведущий хозяйственник библиотеки увидел в подвале цинковые ящики и, подобно Архимеду, воскликнул: «Эврика! Этого цинка хватит на всю крышу!»

Правда, сразу же возникла новая проблема: что делать с книгами, хранящимися в этих ящиках? Простейшим решением было бы соорудить в подвалах стеллажи и временно (опять же «временно») разместить книги на них. Но где взять доски для стеллажей?

Советского хозяйственника всегда выручает сочетание русского размаха с американской деловитостью. Выручили они и на сей раз: в дело пошли деревянные ящики, в которых находились «простые», «ни-

чем не примечательные» книги. Сработал великий закон советской экономики, известный под названием «Тришкин кафтан».

Вот, собственно, и вся история. Остается лишь добавить, что в 1850 году библиотекарь Императорской Публичной библиотеки, будущий ее директор и академик, Афанасий Федорович Бычков по высочайшему повелению купил на парижском аукционе Библию Мазарини, заплатив за нее 40 тысяч франков. Тех, весомых, золотых франков. В 1932 году эта Библия была продана на аукционе в Стокгольме за 40 тысяч долларов, т. е., если учитывать падение стоимости и доллара и франка, приблизительно за одну десятую своей первоначальной цены.

Может быть, это и был тот самый экземпляр, который Люблинский обнаружил в подвале? Он был непоправимо испорчен.

Теоретически можно себе представить, что на каком-то аукционе вновь появится «Библия Мазарини». Ее возможную стоимость нельзя даже вообразить.

Сколько стоит храм Василия Блаженного? Покрова на Нередице? Во что идет сегодня народная душа?..

Олег Кустарев

КРИСТИНА

В тридцатые годы тяжелый кризис поразил Европу. Безработица гуляла по городам, как чума. Многие люди впали в отчаяние. Пражский инженер С. принадлежал к их числу. Его семья — сам инженер, его жена Кристина и новорожденная девочка — ютилась в крошечной квартире, каких было много в старинной Праге. Они плохо питались: топить было нечем. Положение казалось безнадежным. Но тут С. получил любопытную информацию с совершенно неожиданной стороны. У него был друг, доктор К., человек довольно неуживчивого характера, который примкнул к чешским коммунистам и стал поглядывать в сторону СССР. Надо сказать, что в те годы многие отчаявшиеся в буржуазной цивилизации люди возлагали на СССР большие надежды. Целый ряд интереснейших европейских интеллигентов, не имевших на

Западе возможности применить себя, бросали пожитки и отпирывались в Москву искать социальной справедливости и твердого заработка, ну и, конечно, показать себя строителями счастливого общества. Врач К. решил последовать за ними. Он-то и рассказал инженеру о прекрасных перспективах в новой стране и стал уговаривать его поехать вместе. Сначала С. немного испугался, но, подумав, решил, что терять ему нечего. И вот, в январе 1938 года, семья С. собралась и переехала в СССР.

Начало было удачным. В Ленинграде, где они сами захотели жить, им было немедленно предоставлено жилье. Правда, это была всего лишь комната, а не отдельная квартира, на что С. рассчитывал, но зато комната очень большая и в прекрасном месте, на Шпалерной улице, где многие коренные жители были бы рады жить, если бы это было возможно. И через две недели после переселения С. уже имел работу в крупном проектном институте, где его неплохие знания были нужны позарез. То, чего он около двух лет добивался в Праге, оказалось возможным получить безо всяких усилий. Появились друзья; ребенок, которому было тогда всего три месяца, питался хорошо и развивался нормально, можно было жить в свое удовольствие. Летом, по совету новых друзей, С. снял дачу во Всеволодской. Кристина была без ума от ленинградских пригородов и находила их даже более красивыми, чем пражские. Все может быть: места в самом деле были прекрасные. В этом смысле им, конечно, повезло. А в начале ноября произошло следующее. Исчез их приятель К. Он как сквозь землю провалился. Обнаружилось это так. С. довольно часто ездил в командировку в Москву и, поскольку с гостиницами было в те времена плохо, имел обыкновение останавливаться на квартире у К. Надо сказать, что К. продвинулся сразу же очень далеко. Ведь он был состоявшим в партии коммунистом, да к тому же значительно лучше знал русский язык. Кроме того, у него нашелся влиятельный покровитель, с которым он подружился еще в Чехословакии на каких-то международных коммунистических собраниях. Это был поляк, поселившийся в Москве еще в 1915 году. С его помощью К. получил довольно значительное место в министерстве здравоохранения и даже отдельную

квартиру. Приехав в очередной раз в Москву и по обыкновению отправившись вечером к другу, С. не застал его дома. Это было странно, потому что С. всегда предупреждал К. о своем предстоящем приезде письмом, и К. ждал его. Если бы ему срочно надо было куда-то отлучиться, он по уговору должен был оставить записку, извещавшую об этом, и ключ у соседей. С. позвонил к соседям, но те быстро сказали, что никто ничего не просил передать и где К.— они не знают. С. пытался задавать дополнительные вопросы, но ответа на них не получил и по поведению хозяев понял, что они не особенно хотят с ним разговаривать. Это опять показалось ему странным и даже несколько его обидело, но делать было нечего. С. вернулся и пошел искать ночлег в другом месте, решив завтра заглянуть опять. Придя назавтра, он увидел что-то такое, что неприятно поразило его и напугало. Дверь в квартиру К. была распахнута, и незнакомые люди вносили в нее какую-то мебель, кажется, это был диван. С. кинулся к ним и стал в страшной спешке спрашивать, что происходит, кто эти люди, почему они вносят свои вещи в чужую квартиру и где ее настоящий хозяин. Но человек в кирзовых сапогах и френче объяснил ему, что с нынешнего дня он и есть хозяин этой квартиры, что он получил на нее ордер законным образом в Моссовете, вот этот ордер, что он ничего не знает о том, кто жил в этой квартире раньше, и куда он уехал, он тоже не знает. С. очень волновался, и его иностранный акцент резко усилился. Новый хозяин квартиры спросил у него даже, не иностранец ли он. И добавил, что, по слухам, прежний жилец тоже был иностранцем. Так вы его знали, спросил С. Нет, не знал, твердо отвечал человек во френче. С. ушел ни с чем. Он хотел было обратиться на службу К., хотя и не знал точно, в каком заоулке министерства тот имеет служебное место. Поэтому он свою идею забросил, сел в поезд и уехал обратно в Ленинград, решив, что наведет справки в следующий раз, благо очередная командировка виделась уже в недалеком будущем. Кристине он решил ничего не говорить о случившемся, пока не выяснит, в чем тут дело и какая за этим скрывается тайна. Он не хотел ее испугать. Он был уверен, что она испугается, потому что и сам испугался. Ему трудно было себе

представить, чтобы старый друг, с которым дружеские отношения даже укрепились после переезда в СССР, так вот просто куда-то уехал, ничего об этом не сообщив. Уж не умер ли он, или погиб в автомобильной катастрофе? С. несколько дней ходил как в воду опущенный. Ему казалось, что Кристина что-то такое подозревает. Волнение С. действительно передалось жене. Она и в самом деле не могла понять, что происходит с мужем, почему он так нервничает и задумывается. С ним, казалось ей, что-то было неладно. Кристина беспокоилась все больше, а через несколько дней муж исчез. Он не вернулся с работы. Обычно он возвращался поздно, так как дела требовали вечернего труда, и Кристина не заметила, как промелькнул вечер. Она спохватилась около полуночи, и сразу же ее охватил ужас. Как быть, где искать пропавшего мужа? Вся беда была в том, что у Кристины не было в квартире телефона. Бежать на улицу в телефон-автомат она не решалась, так как в постельке у нее спал крохотный ребенок. Можно было позвать кого-то из соседей посидеть возле него, но ведь была глубокая ночь и соседи, конечно, спали, да и вообще они ложились рано, так как очень далеко ездили на службу. Однако около двух часов ночи Кристина все же не выдержала и, предварительно убедившись, что ребенок мирно спит, накинула платок и помчалась вниз по лестнице. Добежав до уличного телефона, она сразу же набрала номер Иннокентия Константиновича Свидаевского, сослуживца мужа и их нового друга-приятеля, но телефон не отвечал. Свидаевский был холостой человек, не очень уже молодой и очень культурный, так что представить себе, чтобы он не ночевал дома, было совершенно невозможно. Он также не мог отказаться подойти к телефону только потому, что тревожный звонок раздался среди глубокой ночи. Не такой он был человек, Кристина это знала точно. Поэтому немое молчание его телефона еще больше напугало ее. Что тут происходит, думала она, куда они все пропали, и мой муж, и Иннокентий Константинович? Где они могут быть? Она сразу же решила, что если их обоих нет дома, то они непременно должны быть где-то вместе. Но где? Никто на этот вопрос ответить сейчас не мог. Мысль позвонить в полицию несколько раз проносилась в ее голове, но Кристина,

сама не зная почему, тут же отметала ее прочь. Какое-то странное, тяжелейшее чувство подсказывало ей, что этого делать не следует. Она этого и не сделала. Вместо этого она медленно, совершенно забыв, что дома оставлен без присмотра спящий ребенок, пошла вдоль по Шпалерной улице, кутаясь в платок, потому что было уже начало ноября и начинались морозы. Она пыталась что-нибудь придумать, но не знала что. Ей быстро стало очевидно, что позвонить она больше никому не может, потому что у друзей, которых было не так уж много, не было телефонов — тогда в этом городе вообще с телефонами было безобразно плохо. В таком случае ей ничего не оставалось, кроме как пойти домой, дождаться утра, а уж утром начинать настоящие поиски. Вдруг ей показалось, что пока она тут бродит по Шпалерной улице, муж вернулся. Стрелой взлетела она по лестнице, ворвалась к себе в комнату, но там ничего не изменилось. Слабо горела настольная электрическая лампочка, тихо спал за занавеской ребенок, комната была по-прежнему пуста. Кристина не спала всю ночь, а утром пораньше разбудила ребенка, наскоро накормила его, одела и выбежала на улицу. Сперва она побежала к знакомому, проживавшему ближе всех; его звали Савельев, и он жил на Мытненской, куда еще можно было добраться даже пешком. Поднявшись на четвертый этаж, она долго звонила, пока наконец ей не открыл старик, бывший соседом Савельева. Он впустил ее в квартиру и хмуро смотрел, как она стучит в комнату, которую занимал Савельев с женой. Наконец он сказал, что она стучит напрасно, ведь уже скоро, наверное, девять часов, и все ушли на работу. Что же вы сразу не сказали, рассердилась Кристина, но старик только усмехнулся в ответ, что дамочка и сама могла бы догадаться, не выходной же. Кристине стало досадно за свою нерасчетливость. Ведь сама она не работала и как-то упустила из виду, что все остальные работают и в обычный день застать кого-нибудь дома почти невозможно. У нее опустились руки. Куда теперь идти, она не знала. Днем бегать по адресам бессмысленно. Кристина вернулась домой, еще раз надеясь застать там неожиданно вернувшегося мужа, но его так и не было. Повозившись немного с ребенком, она стала быстро метаться по ком-

нате, поминутно глядя на часы. Время текло медленно, ничего не происходило, нужно было что-то предпринимать, муж не шел у нее из головы. Часа через два она стала мерзнуть, потому что забыла протопить печку. Надо было нагреть комнату, иначе можно было в начале ноября месяца в Ленинграде совсем замерзнуть, замерзнуть насмерть, лечь и не проснуться, погибнуть, умереть навсегда. Так холодно в Ленинграде уже осенью, а что же творится зимой? Вьюги, метели, сугробы во дворе по колено и морозы, от которых трескаются губы и больно горят кончики пальцев. Плохо с дровами. Но рано осенью дрова еще были в изобилии, их только что привезли. Кристина стремительно побежала за дровами, быстро загрузила печку, но долго не могла ее растопить, потому что в спешке и волнении, конечно же, уложила дрова кое-как, а их надо уметь укладывать, иначе не разгорятся. Муж это делал лучше. Но где же он? Куда он пропал? Он определенно пропал, но ведь не может же быть, чтобы он пропал, не могут люди пропадать просто так, если что-то случилось, должна позвонить полиция. Или кто-то должен позвонить со службы. Кристина сидела на стуле, опершись локтями на стол, смотрела на белую стену с литографией Праги напротив себя и, нахмутив брови, думала и ждала, когда ей позвонят либо с работы, либо из полиции. Пару раз она припоминала, что в ее квартире нет телефона, но тут же забывала об этом. Наконец она заметила за собой, что, пожалуй, и не ждет возвращения мужа. Что-то неясное говорило ей, что он уже не вернется и ждать бессмысленно. И самой звонить куда-либо бессмысленно и смертельно страшно. Все, что ей предстоит сделать, это дожидаться конца рабочего дня, бежать по очереди к знакомым и, понизив голос, еле слышно спрашивать, не знают ли они, где может находиться теперь ее муж. Вопрос обязательно должен задаваться еле слышно, как можно тише. Уже сейчас она сидела у себя в комнате и разговаривала с собой, еле шевеля губами. Зачем мы приехали сюда, спрашивала она еле слышно и удивлялась, почему раньше это не приходило ей в голову. Нет, она решила твердо, что не будет звонить ни в полицию, ни на службу ни под каким видом. Как только она вспоминала об этой возможности, ужас охватывал ее с голо-

вы до ног и ей опять становилось смертельно холодно, хотя комната уже давно протопилась и на самом деле было жарко. Ребенок заплакал от жары. Кристина взяла его на руки и стала утешать, как могла. Она делала это вяло и поверхностно, ребенок плакал все громче, но вдруг затих сам, как видно устав от бессмысленных причитаний, и во все оставшееся время не проронил больше ни звука. А время еще оставалось, до конца рабочего дня было далеко.

Часы шли очень медленно. Кристина смотрела на них пристально и очень долго, но потом оказывалось, что прошли две минуты, в крайнем случае, десять; немного. В конце концов, однако, время добралось до пяти. Пора, решила Кристина, медленно, не спеша оделась, затем одела ребенка и выбежала на морозную улицу. Она села в трамвай и поехала прежде всего к человеку, который был ей известен как Васильев. Васильев с женой и двумя детьми имел комнату за Охтенским мостом, в только что построенных домах, на высоком этаже, без лифта. Хотя и держа в руках ребенка, Кристина буквально взлетела по лестнице. Она только начинала объезд знакомых, и перед визитом ее вдруг охватила новая острая надежда, как бывает со всяким человеком, приступающим к работе, грандиозность и безнадежность которой еще не ясна в первую радостную минуту осуществления. На отчаянный звонок ей открыла жена Васильева. Увидев Кристину с ребенком, она удивилась. Кристина вбежала в комнату, положила ребенка на диван и села к столу. Тихим голосом она сообщила, что пропал муж и она совершенно не знает, где его искать. Жена Васильева молчала, с тревогой глядя на приятельницу. Кристина ждала какого-нибудь ответа на свое сообщение, но жене Васильева нечего было сказать: ей ничего не было известно. Нет, Васильев ничего не говорил, а впрочем, кажется, вчера он видел С. на работе, а был ли С. на работе сегодня, она сказать не может. Самого Васильева теперь нет, он уехал к сестре и вернется поздно вечером. У сестры есть телефон, туда можно позвонить. Забрав ребенка, они вместе вышли на улицу и позвонили. Васильев ничего не знал. Да, сегодня на работе С. не был, Васильеву он был нужен, но он не мог его найти. Он не подумал ничего плохого. Мало ли что бывает, ну, заболел человек,

Но раз его и дома не было, тогда другое дело. Надо чего-то предпринять. Тут поблизости живет один сослуживец, которого Кристина не знает, так Васильев сбегает к нему. Кристина повесила трубку. Что ты будешь делать дальше, спросила Васильева. Я, пожалуй, съезжу к Кедрову, решила Кристина. Я поеду с тобой, сказала Васильева. Возьмем такси. Так удачно вышло, что такси как раз вывернуло из-за угла, они сели в него и поехали на Лиговку. У Кедрова была комната на первом этаже огромного здания неподалеку от вокзала. К счастью, он оказался дома. Вид у Кедрова был очень неприятный. Казалось, он чем-то расстроен. Выслушав сообщение Кристины, он сел на стул возле окна и стал почему-то глядеть в окно. Но это продолжалось недолго. Он быстро поднялся снова, подошел близко к Кристине и отрицательно покачал головой, потом добавил словами, что ничего не знает. Вчера он С. не видел с обеда, а сегодня был так занят, что просто не заметил. Он предложил пока не волноваться, а пойти домой и ждать. Но ведь он не ночевал дома, вскричала Кристина. Бывает, вроде бы усмехнулся товарищ мужа, но усмешка быстро сошла с его лица, когда он увидел, что Кристина даже не смотрит на него, а уж стремглав выбегает на улицу. Она вернулась в такси, и они поехали по новому адресу. Обе женщины слишком волновались и выбрали знакомого, который жил дальше всех, где-то в конце Международного проспекта. На Обводном жена Васильева неожиданно вспомнила, что ей срочно надо быть дома. Они остановили машину и стали думать, как ей лучше вернуться на Охту. Время шло, шофер начал нервничать, а потом и громко ругаться. Решили, что жена Васильева сядет тут же поблизости на трамвай и отправится домой. Тут ничего нельзя было сделать, предстояло важное свидание, от которого зависело много, очень много, жена Васильева вся напряглась, думая об этом, в жизни бывают такие минуты, когда решается все, почти все, ты понимаешь меня, кричала она довольно громко. Ноздри ее дрожали, глаза остановились. Кристина все прекрасно понимала. Две женщины были очень близки. Они были настоящие друзья, после переезда в эту страну у Кристины не было никого ближе. Кристина была в курсе дела, и ей ничего не надо было особенно объяс-

нять. Они просто не могли расстаться, и поэтому стояли на тротуаре Обводного, рядом с нанятым автомобилем, и рыдали, глядя друг на друга, причем Кристина только повторяла, что она все понимает, а другая женщина быстрым шепотом выговаривала, что она не может, не правда ли, милая, я не могу, это понятно. Шофер стал торопить их вторично. Тогда они попрощались и договорились, что теперь Кристина поедет на Международный, куда-то к Средней Рогатке, а жена Васильева пока поедет домой, но ночью непременно приедет к Кристине и будет у нее ночевать. На Международном Кристина отпустила такси, потому что вспомнила, что у нее больше нет на оплату дорогого транспорта. Знакомый, к которому она приехала, оказался уже три дня больным, не ходил на работу и ничего не мог сообщить. Он буквально вынудил Кристину остаться у него и выпить хотя бы горячего чая, хотя она отказывалась, бормоча фамилии других знакомых, которых ей нужно было сегодня обойти. Но знакомый очень правильно сказал, что нужно отдохнуть и подкрепиться. К тому же ребенок. Нельзя так долго таскать его по холодному городу. Пришла жена знакомого и отняла у Кристины ребенка. Они сели пить чай, но Кристина поминутно подымалась с места и с ней трудно было разговаривать. Ее расспрашивали, но она ничего не могла отвечать. Она только время от времени говорила, что муж вчера не вернулся и что она совершенно не может понять, что происходит. Знакомый несколько раз начинал предполагать, не мог ли С., например, ...но ему самому было очевидно, что не мог, и знакомый так ни разу и не высказал вслух свои нелепые предположения. Под конец он только пожимал плечами, трогая подбородок, и вопросительно глядел на жену. Жена была перепугана насмерть. Как будто пропал ее собственный муж. Даже трудно было себе представить, что человека так может испугать исчезновение чужого человека. Тем более что С. пропадал к этому моменту всего один день, и все могло еще обернуться каким-нибудь смешным и безопасным недоразумением. Всякое бывает. Но у жены этого знакомого был такой обреченный вид, какой бывает только у людей, на которых сию минуту свалилось страшное горе. А ведь горе свалилось не на нее, а всего лишь на зна-

кому, к тому же не очень-то и близкую знакомую, так, мужья работали вместе, а больше, пожалуй, и ничего. Кристина была занята собой и поначалу не замечала этой странности. Но странность была велика и постепенно привлекла ее внимание. Она стала глядеть на жену знакомого в упор, и ей стало казаться, что та что-то знает, но не хочет почему-то говорить. Что вы знаете, спросила Кристина и несколько раз повторила этот вопрос, подвигаясь к жене знакомого все ближе и ближе. Она стала брать ее за руки, заглядывать ей в глаза, но та ничего не могла ответить. Наконец, Кристина воскликнула: вы что-то знаете, почему вы не хотите мне сказать. Та отчаянно мотала головой, быстро выкрикивала нет-нет-нет, помилуйте, нет-нет-нет, нет, и зажмурилась, а потом открывала глаза, и в упор смотрела на Кристину, как бы желая доказать, что не боится ее взгляда, но тут же отводила глаза, потому что боялась, страх одолел ее, и скрыть это было никак невозможно. Что вы, голубушка, что я могу знать, откуда, почему вы так думаете и т. п. Тогда Кристина начала ее умолять, чтобы та сжалилась и сказала правду. Какую правду, умоляла в свою очередь другая. Всю правду, любую, рыдая, говорила Кристина. Я ничего не знаю, если бы я что-нибудь знала, что-нибудь понимала, едва сдерживая рыдания, отвечала другая женщина. Но Кристина настаивала, голос ее срывался и хрипел, глаза горели темным блеском, она сжимала руку знакомой, так что у обеих побелели пальцы, в комнате раздавались редкие рыдания, наконец они обнялись друг друга и другая женщина сказала, что позавчера, только позавчера загадочно пропал ее брат, родной брат Федор, совсем молодой человек, ваш муж был с ним знаком, он знал, какой это был прекрасный молодой человек, подававший большие надежды, и никто не знает, где он теперь. Тут Кристина вдруг вспомнила, что накануне не могла дозвониться до Иннокентия Константиновича Свидерского. Пропал ваш брат, вскричала она, вы ведь знали Свидерского, он тоже пропал. Пропал Свидерский, поразился знакомый, вы так уверены в этом? Уверена, уверена, отвечала Кристина, я звонила ему, его ночью не было дома. Ах вот как, сказал знакомый, и Кристина увидела, как на глазах опускает его лицо и начинают дрожать руки.

Что происходит, сердито закричала она, что здесь происходит? Пропал мой муж, пропал ваш брат, пропал Иннокентий Константинович, ведь это же очень много народу пропало, люди пропадают, что все это значит, я ничего не понимаю, как это возможно? Воцарилось молчание. И тут заплакал ребенок, про которого в эту напряженную минуту все забыли. Кристина мгновенно оборвала разговор, бросилась к ребенку, наспех завернула его и побежала к двери. Жена знакомого схватила ее за руку и не пускала, умоляя не уходить, а остаться. Уже темно, не ходите туда, останьтесь, вы можете ночевать у нас, завтра — она несколько раз повторила «завтра», но не знала, что сказать дальше. Кристина вырывалась, говоря, что она должна искать мужа, что она еще не всех обошла, нужно торопиться, а то наступит ночь, транспорт перестанет ходить, а у нее кончились деньги, и она не может больше нанять такси. Знакомый, стоявший несколько времени без движения, кинулся к ней, протягивая деньги. Возьмите ради Бога, сказал он, вам нельзя с ребенком ездить на трамваях так поздно в таком холодном городе, возьмите. Кристина взяла. Жена знакомого тем временем впала в другое состояние. Тихо плача, она отошла в угол и, казалось, потеряла всякий интерес к Кристине. В совершенном безмолвии Кристина покинула эту квартиру и вышла на улицу, не зная сразу, куда ей теперь идти. Она пошла немного вдоль по Международному, сообразила, что уходит от центра, перешла на другую сторону и там стала искать такси. Долго его не было, а она все шла и шла. Наконец, рядом с ней к тротуару приблизилась машина, из нее вышли двое, и Кристина узнала в одном из них своего мужа, а в другом Свищерского. Она окликнула. Мужчины остановились и посмотрели на нее. Ей только показалось, это были не они. Один из них, впрочем, имел что-то общее с С., у него была такая же шляпа и он так же сутулился, но как она могла принять другого мужчину за Свищерского, было непостижимо. Все же она пошла к ним, желая увидеть поближе и удостовериться. Но нет, по мере ее приближения сходство все больше пропадало. Кристина остановилась в двух шагах от случайных встречных, и хотя ей уже было абсолютно ясно, что это не те, кого на ищет, она продолжала вглядываться в них

со всей возможной силой. Она, несомненно, хотела превратить их в тех, кто был ей нужен, но для таких вещей требуется куда больше сил, к тому же Кристина успела за прошедшие сутки очень устать, и даже ее собственные силы были на исходе. Один из случайных встречных вежливо поклонился и спросил, не плохо ли ей и не нужно ли ей помочь. Она отвечала, что нет. Прохожие смотрели на нее серьезными глазами и не знали, что делать. Не знала и она. Тогда другой мужчина еще раз спросил, не нужно ли ей чего-нибудь. Я обозналась, отвечала она, я приняла вас за двух других людей. Прохожие улыбнулись облегченно и хотели вежливо уйти, но она повторила, что приняла их за кого-то другого, и они опять нерешительно остановились. Кристина повторила эту фразу еще дважды, и один из случайных прохожих еще раз вежливо спросил, не надо ли чем помочь, а потом, оглядев внимательно странную фигуру женщины с ребенком, добавил, что ей надо бы идти домой, поздно и холодно, ребенку надо домой. Кристина сказала, что да, надо идти. Тут она увидела, что машина, из которой вышли неизвестные люди, показавшиеся ей почему-то хорошо знакомыми, все еще стоит рядом с тротуаром и что это такси. Она сказала, что возьмет это такси, собеседники обрадовались, раскланялись и ушли. Кристина немедленно села в машину и велела шоферу ехать на Загородный проспект. Она вспомнила, что там живет двоюродная сестра Свицерского. Несколько раз они вместе со Свицерским бывали у нее в гостях. Это была деятельная и осведомленная женщина, и поэтому, подумала Кристина, она должна что-то знать, может что-то знать и, конечно, скажет. Впрочем, что значит: конечно, скажет. Ведь другие наверняка что-то знают, но не говорят. Эта мысль не приходила Кристине в голову раньше, но как только она подумала так, ей стало плохо. Она даже разжала руки, которыми все время до этого, как в судороге, держала ребенка, и у нее заболели глаза. Я не спала всю ночь, подумала Кристина, почему же они не говорят мне. Теперь она была совершенно уверена, что тут есть какая-то тайна. Собственно, трудно было считать ее тайной: ведь всем что-то там такое было прекрасно известно. Это остается тайной только для нее. Все скрывают от нее что-то. О, местные

жители не хотят выдавать свою страшную тайну иностранке. Я же иностранка, сказала она вслух. Шофер, услышав эти слова, повернул к ней голову и посмотрел с любопытством. Она рассказала ему все. Шофер выслушал, не проронив ни слова. Она ждала, не решаясь задать ему какие-нибудь вопросы сама. Но она ждала напрасно. Шоферу сказать было нечего, и поэтому он молчал. Так они ехали еще минут пять и, наконец, остановились напротив указанного Кристиной дома. Кристина расплатилась и вышла. Двоюродная сестра Свидерского Фаня открыла ей дверь. Она была в халате, как видно, собиралась лечь спать, хотя было еще не так поздно, но, кажется, обрадовалась Кристине. Они прошли в комнату. Кристина вскрикнула. В кресле сидел Свидерский. Но это был не он. Кристина остановилась как вкопанная и все смотрела и смотрела. Наконец, ей опять показался Свидерский, но и на этот раз видение быстро прошло. Фаня представила мужчину. Это был не Свидерский. Кристину усадили в другое кресло, забыв забрать у нее ребенка, и она так и сидела, с ним на руках. Сначала веселая Фаня, разглядев хорошенько Кристину, забеспокоилась. Она спросила, что случилось. Как, разве вы не знаете, отвечала Кристина. Фаня пожалала плечами. Где Иннокентий Константинович, спросила Кристина. Наверное, дома, насторожившись, отвечала Фаня. Его нет, крикнула Кристина так громко, что мужчина в кресле дернул головой и оглянулся на стенку. Я сейчас позвоню, сказала Фаня и вышла в коридор. Через две минуты она вернулась и сообщила, что телефон не отвечает. Но в ее голове пока еще не было особого беспокойства. В конце концов, что такого в том, что человека нет дома. Он может находиться где-то в другом месте. Но тут Кристина сообщила о своем ночном звонке, и Фаня стала более серьезной. Да, сказала Кристина, я забыла вам сказать, что мой муж пропал. Как пропал, сказал мужчина в кресле. Как так пропал, спросила Фаня. Кристина рассказала. Боже мой, побледнев, сказала Фаня и закрыла руками лицо. Потом она повторила несколько раз: Иннокентий, Иннокентий. Что все это значит, спросила Кристина, вы должны объяснить мне, куда они оба могли пропасть, что могло с ними случиться. Вы еще спрашиваете, с удивлением сказал Фанин приятель,

Кристине показалось, что наконец-то сейчас что-то прояснится. Продолжайте, продолжайте, обратилась она к мужчине, ведь вы что-то хотите сказать. Но он уже пошел на попятный, разводя руками и глуповато ухмыляясь, он начал говорить что-то такое про несчастные случаи. Фаня вскинулась и сказала ему, чтобы он замолчал. Все это глупости, какие там несчастные случаи, успокойтесь, голубушка, ничего особенного не произошло, то есть она хотела сказать, что все это выглядит очень неприятно и, пожалуй, самое время немного поволноваться, но она уверена, абсолютно убеждена, что все раскроется каким-нибудь неожиданным образом и все мы потом будем над этим смеяться. Она даже тут же начала смеяться, но долго не выдержала и снова побежала в коридор звонить Иннокентию. На этот раз она звонила долго, минут пять, и пришла растерянная. Не могу понять ничего, бессильно сказала она. Нечего тут и понимать, сказал ей приятель. Фаня топнула ногой, надежды Кристины рассеялись. Все вышло наоборот. По расчетам, Фаня должна была сказать ей что-то важное, но как раз она ничего не говорила и даже совершенно недвусмысленно перебивала своего приятеля, который как раз хотел сказать. Кристина заснула. Никто этого не заметил, потому что она спала с открытыми глазами и всего несколько секунд. Она увидела перед собой Шпалерную улицу, совершенно пустую, и только из дальнего конца по ней шел человек, ее пропавший муж. Его лицо приближалось, его глаза были совсем напротив, он открыл рот что-то сказать, и Кристина увидела его зубы, два ряда зубов. Кристина проснулась. Свет в комнате был для нее очень ярок. Она закрыла глаза и уже не во сне увидела ту же картину, заканчивавшуюся двумя рядами зубов. Нет, она не могла здесь находиться. Ей нужно было идти дальше. Она встала и попрощалась. Фаня не держала ее. Да, да, идите домой и ждите там, мы должны ждать, он вернется, они вернутся, нам всем следует спокойно сидеть дома и ждать. Чего ждать, сказал Фанин приятель, и Кристине показалось, что в этом коротком выражении много тяжелой тоски. Он сейчас умрет, подумала она и обернулась. В кресле сидел ее муж, и он действительно был мертв. Кристина вскрикнула и упала без чувств. Она пришла в себя только после

того, как еще раз увидела все ту картину. Кресло было пусто, мертвого человека в нем не было. Кристина поняла, что он ушел и что она должна идти за ним. Она поднялась с дивана, удивляясь, как она здесь оказалась, и взяла на руки ребенка, который непонятно почему лежал где-то в другом месте, тихо попрощалась и медленно вышла на улицу. Было уже темно, в этом городе ближе к зиме темнело так рано. Было резко холодно, и в воздухе мелькало что-то темное. Кристина догадалась, что это снег, это был ранний снег; он шел еле-еле, хлопья падали, как замерзшие и умершие маленькие существа, плавно и отдельно. Земля же была черна, как в разгар лета. Это было плохо, потому что покрытая снегом земля выглядит на самом-то деле теплее. Черный вымерзший город страшен как могила, как неживая природа, в нем с трудом живет. Кристина повернула на Гороховую улицу. Ей теперь нужно было пойти еще по одному адресу, или по двум адресам, она не помнила точно. Где-то на Гороховой жил человек, приходивший к ним однажды. Кто он был, она не знала. Он приходил вместе с мужем, и они рассматривали какие-то чертежи, это был кто-то из какой-то фирмы, или из какого-то института, что-то такое в этом роде, муж ездил потом несколько раз к нему, муж всегда предупреждал, куда едет, и оставлял адрес, она помнила этот адрес, помнила все время, и только сейчас у нее немного перепуталось два или три адреса, к тому же название одной из улиц, улица, кажется, какого-то Елизарова, абсолютно ей ничего не говорило. А впрочем, может быть, Елизаров был не улица, а человек, который жил на какой-то другой улице. Кажется, среди их знакомых был какой-то Елизаров, или не было, сейчас уже трудно было вспомнить. Ей показалось, что она узнала дом, в котором должен был жить тот знакомый, который с чертежами, да-да, его фамилия была Елизаров, к Елизарову было нужно непременно зайти. Кристина вошла под арку. Пройдя длинный узкий туннель, она оказалась во дворе, который ее напугал. По другую сторону двора была еще одна арка, у одной стены валялись какие-то ящики, у стены напротив были сложены дрова, несколько низких дверей едва виднелись при плохом освещении. Кристина оглядела двор и выбрала одну из дверей. Лестница

была узкая, ступеньки неодинаковой высоты и неровные, впрочем, они еле различались в холодной темноте черного хода. Кристина стала подниматься по лестнице, оглядывая двери. Наконец, она остановилась перед одной, в которую ей нужно было позвонить. Не найдя в потемках звонка, она несколько раз ударила ладонью по мягкой обивке. По ту сторону послышались шаги. Дверь отворилась, и на Кристину дохнуло теплым паром жилого помещения, кухней и запахом ношенной одежды. На пороге стояла женщина с широким, плоским лицом, повязанная платком и в длинной мешанской юбке. В одной руке она держала кастрюлю, которую, как видно, куда-то несла, но так и не донесла, остановленная стуком в дверь. Она смотрела на Кристину и хмуро и безразлично. Кристина молчала. Ей вдруг стало понятно, что это, конечно же, та квартира, которая ей нужна, но пришла она сюда напрасно, потому что это не та квартира, которую она искала. Женщина в дверях тоже молчала. Так они постояли минуты две. Так же хмуро и равнодушно женщина в платке закрыла дверь, и Кристина опять осталась одна на темной холодной лестнице. Она вяло спустилась вниз и вышла во двор. Во дворе она постояла немного, вспоминая, через какую из двух арок ей выбирать обратный путь на Гороховую, и, ничего не решив, пошла наугад. Она попала в какой-то другой двор, очень похожий на первый, но с поворотом. Она повернула туда, за угол двора, и пошла по каким-то узким переходам, кажется, еще через несколько дворов и пришла во двор, из которого уже никуда нельзя было выйти. Она вошла в дверь в стене. Она попала в проходную парадную и, выйдя в противоположную дверь, оказалась на улице. Это снова была Гороховая и почти в том же месте. Пройдя некоторое расстояние по тротуару, Кристина еще раз зашла в какой-то двор. Что-то говорило ей, что на этот раз двор тот самый. Туннель и двор были совершенно такие же, как и в прошлый раз, но странное чувство подсказывало Кристине, что это совсем не та арка, не тот двор и не те дрова возле высоких черных стен. Что-то было неправильно. Единственная дверь во дворе оказалась в подвал. Лестница вела вниз. Кристина сошла несколько ступенек и остановилась, потому что раздалась шаги, и она поняла,

что кто-то идет ей навстречу. Кристина прижалась к стене, давая встречному пройти. Он прошел, едва задев Кристину плащом, и вышел наверх. Кристина хотела пойти дальше вниз, но вдруг остановилась и, услышав, как хлопнула наверху дверь, быстро взбежала по ступенькам. Дверь не открывалась. Она надела плечом, потом ударила несколько раз ногой — все было напрасно. Но ей обязательно нужно было догнать ушедшего человека. Не зная, что делать, она тем не менее не решилась кричать. Она снова пошла вниз. Лестница повернула и привела ее в узкий коридор, едва освещенный дальним светом. В самом конце коридора она увидела темную фигуру в плаще и узнала плащ, который только что коснулся ее на лестнице. Кристина пошла вдоль коридора, касаясь попеременно то одной, то другой стенки. Коридор кончился узкой дверью. Кристина вышла на улицу. Это снова была Гороховая. Кристина оглянулась по сторонам и снова увидела того человека. Он шел по Гороховой, в сторону Фонтанки, и Кристина решила, что ей надо идти за ним. Человек, это был мужчина в коричневом плаще, кого-то ей напоминал, но она не могла решить кого. Несколько лиц мелькнуло у нее в памяти, разные лица и люди, но это был, несомненно, один и тот же человек, очень хорошо знакомый Кристине, человек, которого она, может быть, видела раньше каждый день. Но кто это был, она не могла вспомнить. Мужчина шел не быстро и не медленно, не останавливаясь и не оборачиваясь, воротник его плаща был высоко поднят, и лица не видно. Кристина шла по Гороховой точно за ним, смертельно боясь отстать, но также боясь и поравняться с этой смутной фигурой. Она слышала его легкие шаги и не слышала своих собственных, потому что ставила ноги по земле одновременно с ним. Так она прошла Фонтанку, потом Садовую, Екатерининский канал и сразу за ним Казанскую. На мосту через Мойку она посмотрела в сторону и быстро посчитала, что переходит уже третью реку. Сколько воды в этом городе, сказала Кристина, покачивая головой, и продолжала идти. Плащ с поднятым воротником по-прежнему двигался впереди. Так они перешли обе Морские улицы и повернули направо. Обогнув Александровский сад, человек в плаще так же равнодушно двинулся в сторону Дворцового моста.

Они приближались к мосту. Когда впереди идущий мужчина уже всходил на этот мост, Кристина вспомнила и поняла, кто это был. Она громко позвала, но человек, не оглянувшись, прошел дальше и пропал из виду. Кристина ринулась за ним, глядя широко открытыми глазами впереди себя, но мост был пуст, там не было ни души. Она прошла вдоль перил до середины и остановилась, не зная, что делать дальше. Взгляд ее упал вниз. Внизу протекала огромная черная река. Кристина слегка оттолкнулась ногами и медленно перекинулась вниз. Ребенок, кажется, застонал, но у Кристины уже шумело в ушах, и она ничего больше не слышала. Раздался всплеск, и холодный тяжелый поток потащил тело вниз к Николаевскому мосту и еще дальше, мимо заставленных спящими безлюдными судами берегов к заливу...

Эдуард Лимонов

ПАДЕНИЕ МИШЕЛЯ БЕРТЬЕ

В войну он был начальником отдела разведки при де Голле, в начале пятидесятых вышел в отставку, и так как всегда имел наклонности к литературе, то решил развить именно эту сторону своей натуры. И вот уже около сорока лет «шэр колонэль» существует в качестве писателя, критика и журналиста.

Я шел к нему в буржуазный дом в седьмом аррондисманте, дабы преподнести ему новую книгу. Раз в год он приглашал меня и уделял мне час-полтора из запасов своего, уменьшающего куда быстрее, чем мое, времени. И грамм сто из запасов своего лучшего виски. В самые первые годы моей жизни в Париже мы встречались чаще. Очевидно, я был ему более интересен, или же он еще не ценил свое время на вес золота, ныне же я шел на традиционную ежегодную, или, точнее сказать, ежекнижную встречу.

Я вынул листок записной книжки (я имею привычку брать с собой лишь нужный мне лист, не таская всей книжки) и, следуя ему, набрал код. На щитке загорелась зеленая точка, и я, с трудом отведя массивную дверь всем своим весом, вошел внутрь. Собственно, подумал я, он мог бы со мною и не встре-

чаться. Даже я видел уже в мире достаточно персонажей, и повторение многих из них начинает меня раздражать. Но кажется, я ему всегда нравился. Вначале заинтересовал его моей первой книгой, затем второй, и так как он, очевидно, находил во мне все еще неизвестные ему черты...

В холле его дома было тепло и чисто и хорошо пахло парфюмом, может быть, это были специальные духи для холла, как существует, например, туалетная вода для автомобилей и туалетов классных отелей? Или же это запах жидкости для чистки ковровой дорожки, ею устлана лестница? Я вошел в лифт и осмотрел себя в зеркале. Пригладил волосы рукой. Прикрыл дверь и нажал на кнопку шестого этажа. Его книги (я прочел одну и перелистал еще одну) оставили меня равнодушным. Я понял, что он, несмотря на войну, никогда по-настоящему не разозлился. Он был ОК, писатель, но таких писателей в наше время много. Он принадлежал к племени здравомыслящих добрых дядь, их сочинения повествуют о торжестве вялого добра над таким же вялым и неэнергичным злом. Мне было непонятно, как он смог сохраниться таким хорошим в грязи войны. Я, даже в грязи мирного времени, пересекши три страны, сделался твердо и уверенно нехорошим, война бы, я думаю, сделала бы меня монстром. Его сочинения в точности соответствовали его внешнему облику дядюшки-профессора. Седовласый, пухленький, розовый лик с несколькими подбородками, одетый в хорошие шерстяные костюмы, всегда с отлично подобраным галстуком, склонный к добропорядочному консерватизму в одежде, Мишель Бертье предстал мне из автобиографической книги о своем детстве добропорядочным семилетним мальчиком. Другом еврейских и польских мальчиков того времени. В коротких штанишках, однако уже тогда не расист, он защищал слабых, возвышал свой детский голосок, протестуя против насмешек и издевательств над плохо говорящим по-французски сыном польского беженца.

На лестничной площадке шестого я привычно свернул налево. Подняв руку к звонку, я подумал, а почему я общаюсь с ним ежегодно, в чем причина? Я надеюсь, что он опять напишет хвалебную статью

о моей книге? Перевалив за 65 лет, Мишель Бертье, как это принято во Франции, автоматически сделался известным писателем. Французский писатель получает блага и известность за выслугу лет, подобно моему папе в Советской Армии (там проблема решена бесстыдно, чем больше лет прослужил офицер, тем большее жалованье он получает)... Статья известного Мишеля Бертье о моей книге мне не помешает. Однако я уже перешел из разряда дебютантов в профессионалы, и мне не приходится ждать каждую статью с замиранием сердца, я уверен в себе, и желающие написать о моей книге всегда находятся. Зачем же я иду к нему? А, вот, я понял... У меня вспышка интереса к нему. Лишь год назад я узнал, что Мишель Бертье был офицером разведки. Это обстоятельство его биографии возвысило его в моих глазах необыкновенно. За пухлым улыбчивым мсье-писателем я видел теперь всегда спектр молодого человека в униформе, и ради этого молодого офицера я простил Бертье его упитанные миддл-классовые книги.

Я позвонил. Возник и стал, усиливаясь, приближаться шум шагов. Не мужских, но женских. Жена Бертье, норвежка, сухая, высокая женщина, шла открыть дверь. Многочисленные замки защелкали, отворяясь.

«Бонжур, мадам!»

«Бонжур, мсье Лимонов, коман сова, проходите! Мишеля еще нет, но он скоро будет».

Завешенная картинами и картинками прихожая. Особый запах музея, приятный, запах давно высохших красок, старых рам и благородного, скрипучего, но ухоженного паркета. Я позавидовал запаху. Я тоже чистое животное, но когда пещера небольшая и в ней обитают двое, и вторая половина (красивая и своенравная) много курит, то запах есть. И запах еды присутствует, и сырости, и... Я имею то, что я имею... Если книгам его и жене-норвежке я не завидовал, то запах квартиры Бертье нравился мне больше, чем запах моей.

Церемония снятия бушлата, затем передвижения по коридору (несколько белых дверей прикрыты) в гостиную. В гостиной еще картины, но уже основные богатства: несколько хороших сюрреалистов,

пара латиноамериканских известных художников (их я ценю меньше) и даже одна большая работа человека, которого я знал в свое время в Москве, не бесталанная, но все же находящаяся скорее в пределах этнографии, чем искусства. Ни один стул не сдвинут со времени моего прошлого визита. Сейчас она мне покажет, куда мне сесть, и предложит выпить. Покажет на диван, на ближнюю секцию его, а выпить я возьму «Шивас-Ригал». Точно, именно на ближнюю секцию дивана указала ее подсохшая рука в благородных кольцах. Садитесь.

Из хулиганства я сел не на диван, но в «его» кресло. Она с удивлением взглянула на меня, но прошла к бару. Отворила створку. «Шивас-Ригал»?

Интересно, каким методом она пользуется для запоминания... Записывает? Я уверен, что семья Бертье общается еще с, по меньшей мере, несколькими сотнями индивидуумов. Дух противоречия шепнул над ухом: попробуй взять водку! «Водка стрэйт, если можно...»

Она чуть вздрогнула спиной, но налила мне водки. Я терпеть не могу водку, и, отхлебнув полглотка, я мысленно выругал свой собственный дух противоречия, неуместно разыгравшийся сегодня.

«Как вы переживаете холода?» — спросила она, усаживаясь в другое кресло и закуривая. «Насколько я помню, вы живете в мансарде в третьем? Надеюсь, у вас не очень холодно?»

Вот такими трюками, подумал я, Бонапарт завоевывал сердца солдат. Шивас-Ригал, место жительства. «Я удивляюсь вашей замечательной памяти, мадам. Я бываю у вас раз в год».

«О, ничего удивительного, — заулыбалась она. — Я запомнила мансарду под крышей, потому что Мишель однажды, проводив вас, сказал: «Вот приехал молодой человек в Париж, живет в мансарде под крышей. А мне, Ингрид, никогда не привелось приехать в Париж, потому что я в нем родился. Должно быть, великолепно приехать в Париж молодым, поселиться под крышей...» У Мишеля было очень грустное лицо».

«У меня холодно, — сказал я. — Четыре окна на улицу плюс два выходят во внутренний вертикальный двор. Постоянная циркуляция воздуха. Как ни топи, все выветривается. Однако я не жалуюсь. Для меня

важнее свет, а света на моем чердаке сколько угодно».

«У вас опять что-нибудь выходит?»

«Да,— пошуршав, я извлек из конверта книгу.— Вот, я подписал вам и мсье».

«Мишель будет очень рад».

«Выходит в январе»,— пробормотал я.

Из глубины квартиры вдруг замяукала сирена.

«Опять! — Она встала.— Что-то не в порядке с алармом. Уже который раз сегодня. Извините». Она вышла, прикрыв очень чистую и белую дверь. Я давно уже знал, что чистые и белые двери переживают владельцев так же, как и грязные, а сменив сотни крыш над головой, убедился в том, что «стройте свой дом у подножья Везувия» — самая разумная заповедь, однако у них можно было сидеть в пиджаке и рубашке, без четырех свитеров, и я бы выбрал их квартиру, если бы мне предложили выбрать. Разумеется, за ту же цену. Романтизм мансарды был мне ни к чему, в моей жизни романтизма было уже много, сплошной романтизм, я бы пожил для разнообразия в теплой квартире.

Мяуканье прекратилось.

«Без аларма, увы, не обойтись»,— сказала она, входя и усаживаясь в кресло.— В доме коллекция картин. К нам уже пытались забраться несколько лет тому назад. Но с алармом приходится все время помнить о нем.— Она вздохнула.— У нас очень сложной системы аларм, с разными программами...»

«Ко мне влезли в октябре»,— сказал я.— С крыши, разбили стекло в окне. Среди бела дня. Правда, ничего ценного не нашли, взяли только золотые запонки. Однако противно. Чувствуешь себя жертвой». Я не поведал ей пикантных деталей ограбления. Например, то, что чемодан, содержащий коллекцию наручников, цепей и искусственных членов из розовой резины, был раскрыт вором или ворами и все эти прелести валялись в центре комнаты. Вор или вору не прихватили ни единого «Эс энд Эм» предмета. Очевидно, у них были нормальные сексвкуссы.

«Кошмар! — воскликнула мадам Бертье.— Полиция не обеспечивает секюрити граждан».

«Секюрити — это миф»,— сказал я.— Обеспечить безопасность квартир никакая полиция не в силах. Тотальная секюрити вообще невозможна...»

«Ну, разумеется! — воскликнула норвежская женщина и уселась поудобнее. Лицо ее сделалось оживленным. Очевидно, вопрос секюрити ее живо интересовал.— Но мы не говорим о тотальной секюрити, речь идет хотя бы о том, чтобы убрать преступников с улиц и от дверей наших квартир».

«Лучше ничего не иметь, дабы ничего не терять,— изрек я мудро. И тотчас сообразил, что говорить подобные вещи в наполненной ценностями квартире глупо.— Что касается личной безопасности, то даже президентов убивают. Простому же человеку уберечься от настоящего врага невозможно. Всякий может убрать всякого. Представьте себе, вы возвращаетесь вечером и у ворот вашего дома сталкиваетесь с человеком... Он преспокойно вынимает револьвер и без эмоций и лишних телодвижений стреляет в вас. Садится в машину и уезжает. Первый полицейский, исключая счастливый случай, появится не раньше чем через десять минут. За это время автомобиль пересечет треть Парижа...»

«Ну, это вы насмотрелись «поляр»*, мсье Лимоннов,— сказала она, слабо улыбнувшись, как бы веря и не веря мне,— не преувеличивайте».

«Я не хожу в синема и по ТиВи смотрю только новости, мадам. Я лишь хочу сказать, что от решительного врага в современном супер-городе уберечься невозможно. Наше счастье еще, что современная цивилизация разжижила волю всех, преступников тоже, и как следствие этого — враг обыкновенно крикливый хрипун, коего хватает лишь на скандал, ругательства или вдруг, в крайнем случае, на короткую вспышку драки. Дальше дело обыкновенно не идет. Но не дай бог ни вам, ни мне приобрести ВРАГА. В Соединенных Штатах у меня были знакомые, похвалявшиеся, что способны убрать мешающего мне типа за пять тысяч долларов».

«Сказки, распространяемые преступным миром для устрашения граждан...»

«Вовсе не сказки,— обиделся я.— Моего друга Юру Брохина убили выстрелом в затылок в его апартаментах. В Нью-Йорке, в 1982 году». И я позволил себе уколоть ее. «Вы, люди миддл-класса, изолирова-

* Полицейских фильмов.

ны от криминального мира, тесно соседствующего, кстати сказать, с миром простых людей, вашими деньгами и предрассудками. Живете вы в гетто для обеспеченных граждан, общаетесь исключительно с себе подобными. Потому мир кажется вам чистым и светлым. Подобным дорогим магазинам или залам музеев. Но пройдитесь, скажем, по Пигалю, и вы можете заметить край какой-то другой жизни, сотни и тысячи людей, работающих в бизнесе продажи секса. Вы увидите, разумеется, лишь легальную его часть. Но даже она впечатляет. В кафе сидят азиаты, югославы и арабы в тесных пиджачках и с тяжелыми глазами. Часами ничего не делают и беседуют... Вы когда-нибудь задумывались о чем? Что они фабрикуют*.

«Признаюсь, я была на Пигале всего два раза в жизни и оба в «вуатюр»**. Я успела увидеть множество бедно одетых мужчин. Все они как бы чего-то ждали и вглядывались в перспективу бульвара».

«Около года, мадам, у меня была любовная связь с женой бандита. Да-да, настоящего бандита. За время этого странного романа я успел узнать, насколько криминализован Париж... Вы даже себе не представляете...»

В коридоре зазвонил телефон. Она извинилась и вышла. Произнесла там несколько невнятных фраз и возвратилась в комнату.

«Это Мишель. Он извиняется. Он все еще в ателье. Он ждал, когда схлынет трафик». Она уселась в кресло.

Я знал, что рабочее ателье Мишеля Бертье находится в десяти минутах ходьбы от квартиры. Он сам сообщил мне когда-то, что с удовольствием совершает алле-ретур в ателье и обратно пешком. Так что какой трафик, почему нужно брать автомобиль? Чтоб полчаса добираться в нем до квартиры?

Она, очевидно, поняла по моему лицу, что я нуждаюсь в объяснении. К тому же я ждал обыкновенно по-английски точного ее мужа уже 25 минут. «С тех пор как Мишеля ограбили, он предпочитает пользоваться автомобилем».

* Замышляют.

** В автомобиле.

«Ограбили?»

Судя по ее глазам, она жалела, что проговори-лась. Возможно, он не велел ей никому говорить. «Да, Черный парень встретил его у выхода из метро, последовал за ним, вынул нож и потребовал бумажник... Мишель, вы же знаете, он бывший военный, экс-офицер разведки де Голля, и вдруг какой-то сопляк угрожает ему ножом, Мишель рассердился и отказался отдать бумажник... Черный ударил его по лицу... Разбил ему очки, нос... при падении Мишель ударился головой и бедром. Потерял сознание...»

«Да,— пробормотал я.— Да...»

«Физический ущерб — меньшее из зол,— сказала она грустно. Он лежал в постели несколько дней и оправился. Морально же он, кажется, до сих пор не отошел от этого «фэ дивер»*... Вы понимаете... как вам сказать, морально с ним произошла трагедия. То есть собственная беззащитность его потрясла. И для бывшего офицера, прошедшего через войну, это должно быть особенно обидно. Куда обиднее, скажем, чем для профессора литературы... Хотите еще водки?»

Я взял Шивас-Ригал. Она, может быть не сознавая, что делает, налила себе то же самое. Села: «И еще, если бы хотя бы он не был черным... Вы знаете, Мишель только что вместе с несколькими коллегами выступил в печати против апартеида, они начали компанию, и Мишель как бы душа всей этой компании в прессе. Ясно, что нельзя переносить преступность одного индивидуума на всю расу, но ему было бы легче, если бы грабитель оказался белым...»

«Много было денег в бумажнике?» — спросил я, сознавая, что вопрос глупый. Но иногда следует задать глупый вопрос, дабы избавить умного человека от проблемы. Я захотел дать ей возможность прекратить исповедь.

«Восемьсот франков, кредитные карты... Но денег не жаль, и о краже карт я тотчас заявила, так что грабитель не сумеет ими воспользоваться. Но меня заботит Мишель... вы знаете, в нем как бы что-то сломалось. Он стал очень молчаливым... Иной раз я застаю его сидящим, глядя в одну точку, как бы отклю-

* Так называется отдел происшествий во франц. газетах.

чившимся от реальности. Лучше бы это случилось со мной... На меня бы это не произвело такого впечатления. Я пережила бы подобную историю куда легче. Я ведь крепкая женщина севера...» — Она грустно улыбнулась.

Вновь зазвонил телефон, и мадам Бертье, вздохнув, вышла. Прикрыла за собой дверь. Я оглядел гостиную. Желтый приятный теплый свет. Несколько ковров. Вдалеке, в квадрате коридора видна окниженная сплошь стена библиотеки. Уютное гнездо, храм литературы и искусства. Лишь в окна, приглядевшись, можно увидеть темный, волнующийся, рычащий, свистящий и завывающий Париж, внешний мир... После войны полковник погрузился на сорок лет в спячку, в теплый, интеллигентский, сходный с детским сон. Он всерьез поверил, что мир светел, организован и безопасен... Но пришел большой черный парень со стройными ногами в джинсах, в кожаной куртке с прорванной подкладкой (почему эта деталь пришла мне в голову?), подкараулил пухлого седовласого буржуа, отличную мишень, у метро и ударом в лицо разбудил Мишеля Бертье. Очнувшись на ночной улице, отирая кровь с лица, полковник, слабые ноги подгибались, встал, держась за ствол дерева. И побрел домой. Старость, конец жизни, унижение быть сбитым с ног, лишенным очков, беспомощным... Я ли это, в свое время посылавший парашютистов в тыл врага, на задания, заведовавший судьбами людей, я ли это бреду, сощутив глаза, с трудом узнавая улицы?.. — подумал Мишель Бертье...

Войдя, она развела руками. «Мишель извиняется. Очень и очень просит его извинить, но он вынужден отменить свидание. Трафик так и не схлынул... И я в свою очередь извиняюсь перед вами, но, принимая во внимание его состояние...»

«Я понимаю,— сказал я.— В другой раз». Я оставил книгу, надел бушлат, прошел мимо белых дверей прихожей в лифт и вышел в Париж. Впустив меня в себя, Париж привычно сомкнулся вокруг. У метро, покосившись на мой, только что остриженный машинкой череп, мама-девушка подтянула маленькую «фиеет» ближе к себе. В вагоне место рядом со мной долго оставалось пустым, несмотря на то, что все другие были заняты. Позже его занял черный парень. Судя

по реакции публики, у меня пока были проблемы, противоположные проблемам Мишеля Бертье.

Статьи о моей книге он не написал. Однажды вечером я шел по рю Франсуа Мирон и увидел сгорбленного, беловолосого старика. Держа шляпу в руке, погруженный в свои мысли, старик, выйдя из дверей Пен-клуба, спустился по ступеням, пересек улицу и, пройдя к комиссариату полиции, стал открывать дверь запаркованного недалеко от полицейских авто и мотоавтомобиля. Мишель Бертье меня не видел.

Юрий Гальперин

ПРОСТО РАССКАЗ

Однажды утром Докушев подобрал на льду кошку, бродившую неприкаянно по замерзшим листьям и лужам. Ночью она кричала под окнами казармы. После подъема он выбежал на крыльцо первым. Если бы он не подобрал, ее убили бы невыспавшиеся солдаты.

Всю неделю без остановки лил дождь. А потом ветер с океана разогнал облака, и тогда вдруг ударил мороз, неожиданно сухой и крепкий. За одну ночь раскисшую землю сковало звонким панцирем. Утро было прозрачное, ясное небо над лесом сияло синевой. Голодная кошка бродила перед крыльцом, осторожно поджимая обмороженные лапы, и хрипло мяукала. Когда он взял ее на руки, она смолкла.

После завтрака Докушев с дружкой своим, Володей Медведем, накормили ее сырой рыбой, выкраденной из столовой. Она осталась в казарме, а мы ушли на работу. Вечером он ее нашел в своей койке. Кошка спала на сером одеяле. Она отогрелась, привела себя в порядок и оказалась удивительно пушистой.

Я тоже поделился с ней ужином, принес вареное сало. Но она оказалась сыта — днем наловила в каптерке мышей. Эта охота расположила старшину роты: признав полезность твари, он позволил ей поселиться в казарме на вечные времена.

После отбоя, когда, раздевшись и поеживаясь от холода, Докушев впрыгнул наверх и забрался в свою постель на втором ярусе, расправил бушлат, укрыл им ноги, натянул шерстяное одеяло до носа, выгнул-

ся, свернулся клубком, снова выпрямил ноги и, поворочавшись так, закрыл глаза, готовый к привычной пустоте осенней бессонницы, кошка пришла к нему. Она улеглась возле головы на подушку и тепло заурчала. Под ее мурлыканье он уснул быстро и хорошо. И до утра спал спокойно впервые за много дней.

У кошки не было имени. Солдаты называли ее по-разному, но она не откликалась ни на одну из дюжины кличек и бежала только на голос Докушева, когда он звал ее: «Кис-кис-кис...» Отношения с ребятами у него сложились нормальные, лучших нельзя было и желать, но то, что кошка выбрала хозяином именно Докушева, странным образом укрепило его авторитет. Она спала на его подушке и сидела только на его плече.

Теперь с работы он возвращался в казарму, как домой. Может быть, потому что его там ждали. Сбрасывая рабочую одежду на ходу, Докушев бежал в спальное помещение и всегда находил ее на своем одеяле. Говорят, кошка — символ непостоянства. Она приоткрывала узкий глаз, подставляла шею, мурлыкала и от удовольствия покусывала палец.

За то время, что она прожила рядом с ним, Докушев завязал с пьянством, прекратил ходить в самоволки, прилежно работал, почти не нарушал дисциплину, спокойно спал и не писал писем. За три года его военной службы это был месяц благоденствия. Но в ноябре все кончилось.

Бригада бетонщиков решила отметить праздник. Бетонщики были рослые северяне, белокурые, чуть слишком спокойные парни из-под Архангельска и Вятки, они хорошо работали, отличались исполнительностью и почти полным отсутствием чувства юмора. В роте их прозвали «вологодский конвой».

Закуску они приготовили заранее и спрятали в тумбочку. Выставили дозорного у двери в коридор и уселись на койки внизу, недалеко от меня. Водку разливал Блондин, розовощекий уголовник, отсидевший срок за поножовщину. Разделив, он отставил порожнюю бутылку. И дальше все произошло очень быстро.

Блондин выпил водку, звякнул кружкой о табуретку и заглянул в тумбочку, где лежала колбаса. Из тумбочки выпрыгнула кошка. Она облизывалась. Блондин схватил кошку и швырнул в проход. Кошка

ударилась об угол стальной койки головой, упала, задергала лапами. Через десять минут она умерла. Утром ее кто-то повесил на колесе трактора.

Кошка была замечательная: маленькая, абсолютно черная. Глаза блестящие, как пуговицы. Она была дикая и любила кусать за пальцы.

Это случилось шестого. Следующий день был нерабочий, и после митинга многие получили увольнительные. Ребята звали Докушева в город, но он не поехал. Докушев остался в казарме, и Фридман два раза обыграл его в шахматы, а Медведь три раза поборол, когда мы все возились на койках. Остаток дня Докушев просидел в углу, он не завтракал и не обедал. Я поспал полчаса, ходил в столовую, а потом со всеми строем в кино. Докушев все сидел один. Я позвал его в библиотеку, и он пошел со мной. Но читать ему не хотелось: все вдруг стало неинтересно.

Он попросил у старшины стальную лопату. За баракон, на опушке соснового леса в мерзлом снегу выкопал глубокую яму, до земли не дорылся, но это было не важно, зимой землю лопатой все равно не возьмешь. Потом отнес туда кошку, на холоде она совсем заоченела и не сгибалась. Он забросал яму снегом, навалил сверху несколько ледяных глыб и только тогда вернулся в казарму.

Вечером ему сделалось совсем тошно. Он признался, что уже третий месяц не получает вестей из дома. К праздникам каждый из нас рассчитывал на письмо. Почта пришла, но для Докушева ничего не было. Весь вечер он торчал у телевизора, смотрел спортивную передачу: соревнования гребцов. Ему почти удалось уйти от навязчивых мыслей, но после отбоя он долго не мог уснуть. И ночью проснулся с головной болью... Что такое пустота?

Разбираться с Блондином было бессмысленно. Мстить — то же, что мстить наступившей на тебя корове. Докушев очень старался отвлечься и не вспоминать. Он честно старался, и ему это почти удавалось, но временами — очень редко, все реже и реже — накатывала вдруг досада, а за ней неудержимая злоба, от которой становилось жарко, и тогда хотелось растегнуть воротник. Если Блондину в такие моменты случалось быть рядом, он начинал тревожно озирать

ся и, замечая Докушева, отходил в сторону. Ему тоже было не по себе.

После Нового года наши бригады поставили на монтаж перекрытий огромного ангара, и однажды Докушев с Блондином оказались рядом под бетонными сводами высоко над землей. Монтажные пояса, предохранявшие от падения, сильно мешали: в них неловко поворачиваться. Чтобы сподручнее было укладывать балки в предназначенные пазы, мы их обычно отстегивали. От сосредоточенных усилий оба сопели, пот заливал глаза, им было не до того, чтобы пялиться друг на друга. Но когда, закрепив очередную плиту, Докушев перешел на новую позицию и глянул вниз, голова в затертой ушанке, из-под которой, словно перья, торчали белые растопыренные лохмы, оказалась совсем близко, почти под ним, и он понял, что может легким пинком, простым толчком ноги сбросить Блондина с выступа, если тот приблизится еще хотя бы на шаг. От мысли такой перехватило дыхание. Докушев ни о чем не размышлял, ни к чему не готовился и ни на что не решался, а просто вдруг понял, что сейчас совершит это. Блондин поднял брови и вздрогнул. Он сразу догадался. Маленькие глаза его округлились, как у кошки. Докушев не отвел взгляда, и, смешавшись, Блондин сделал шаг. Но шагнул он не вперед, а попятился. И, оступившись, запрокинулся вдруг и, сорвавшись с перекрытий, полетел вниз, переворачиваясь в воздухе.

Звук от удара был глухой и мягкий.

Преодолевая головокружение, я сел на заледенелую балку напротив Докушева, свесив ноги, и, держа одной рукой за стальную проволоку, смотрел, как из разных углов бежали в середину ангара люди. Блондин лежал на бетонном полу, бесформенный, как мешок со стекловатой.

Ночью он умер в госпитале.

Его родители — бедные колхозники. Перевезти сына на деревенское кладбище им было не по карману. Отец и мать приехали на похороны в Заполярье. Дорогу оплатила воинская часть.

Докушев на похоронах не присутствовал — напросился в наряд. Он не пошел ни в госпиталь, ни на кладбище и не интересовался местом, где закопали Блондина.

Работы на ангаре приостановились. А через месяц нас перекинули на другой объект: на голой вершине безымянной сопки мы должны были в короткий срок смонтировать стальную ажурную башню под антенну. Там, на оглушающей верхотуре, продуваемой зимними ветрами со всех направлений, никому (за редким исключением) не приходило в голову отстегивать монтажные пояса, — даже в меховых рукавицах пальцы замерзали так, что трудно было удержать ключ. Вокруг, сколько видел глаз, выгибались заснеженные спины сопки. Короткие штрихи низкорослого леса только усиливали белизну. И чтобы не потерять себя в этом белом безмолвии, чтобы избежать его ледяного проникновения в душу, Докушеву приходилось постоянно сосредоточивать внимание на простых, обыденных, сиюминутных вещах.

Новые заботы вытеснили из сердца недобрую память, и он забыл свою досаду. Жизнь наладилась. Ему снова стали приходить письма из дома. Но он отвечал на них редко, не то что прежде. Он забыл Блондина и кошку тоже забыл. Такие вещи его больше не трогали. Докушев выбросил их из головы, чтобы не возвращаться к этому. Долгие годы он пребывал в уверенности, что все прошло, все в прошлом — исчезло и растворилось без следа, без остатка. Но Докушев был молод и не знал еще, что после каждой потери остается пустота. Можно, конечно, забыть, отвлечься, но пустота остается, даже если и не помнишь о ней. Она как бы поселяется под сердцем и таится там, чтобы когда-нибудь напомнить о себе в самый неподходящий момент.

Ирина Ратушинская

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ

Хорошее было время — почки, лужи, октябрюта на улице, строим — быстрее, быстрее, кто там отстал — ты, Николаев? смотри у меня! И подсыхал Бибиковский бульвар, и ласково шелестели на нем цветные бумажки — в спринт играли жаждающие: эх, не надо, не надо пять тысяч — одну, хотя бы одну, и я войду в дом как мужчина — Надежда, скажу я... Но не цвет-

ся проклятая бумажка, а может, и нет в ней ничего? жизнь, милая, ну за что ты меня так не любишь?

Хорошее было время, и место тоже ничего себе, но и временем и местом был недоволен непризнанный поэт Никифоров, который шел себе по бульвару в сторону Бесарабки, и чем дальше, тем грустнее ему становилось: ох, нехорошо кончался бульвар на том конце!

Нет, подумал Никифоров, не пойду. Нету сил.

А куда пойти, он не знал, потому что идти домой друг его, встреченный час назад, очень и очень не советовал, а к другу тоже было нельзя, и уж тем более нельзя к Майечке... гиблое место, думал поэт Никифоров.

Разумнее всего было бы пойти на вокзал и сейчас же уехать, но без чего угодно может прожить человек — без жены, без квартиры, без работы даже, и тем более без любви и ласки, и без хлеба можно прожить, и без масла — не спорьте, это уже проверено — безо всего этого, говорю я, можно обойтись. Кроме одного. Нельзя прожить без документов.

А документы поэт Никифоров держал в тумбочке, в том самом доме, куда очень и очень... Раз нельзя на вокзал, рассудил Никифоров, то можно в метро. И он кинул в щелку нагретый пятак и с неприятным чувством прошел между стойками — все ему казалось, что лязгнут сейчас автоматы и грянет свисток.

Он вышел на Брест-Литовский проспект, и снова накинулась на него весна, затормошила и насмеялась над ним в лице птицы грача, ослепила и в довершение всего визгнула на него тормозами. Ну и ладно, подумал Никифоров. И поскольку был он хоть и непризнанный, а все-таки поэт, то тут же и свалил дурака.

Вместо того чтобы хоть как-нибудь действовать — логично, продуманно, а главное — быстро, — он остановился посреди проспекта и уставился на деревья каштаны. Те не спеша выгоняли листочки, и не было в этих листочках самодовольной эмблемы, ничего такого они еще не значили, а висели себе лохмато и трогательно, как необрезанные щенячьи уши.

Никифорову почему-то стало обидно. Ну их всех, подумал он, вот стану здесь на газончике — и во что-нибудь такое превращусь, и тоже уши развешу.

А там глядишь — и времена переменятся, кинутся тогда черновики восстанавливать — а я тут как тут! Он оглянулся, не смотрит ли кто, разулся и стал укореняться. Пошло хорошо.

— И как же я, дурак, раньше до этого не додумался? — блаженно соображал Никифоров, выкидывая первый лист. Вскоре он познакомился с соседями. Ближайший, Яков Семенович, стоял тут с 52-го года и числился ветераном. Он помнил и оттепели, и засухи, хорошо изучил в свое время, куда щепки летят, и раз навсегда научился не поддаваться предательским апрельским обманам. Никифоров узнал от него много интересного и в свою очередь поделился последними новостями. Яков Семенович, впрочем, был в курсе.

Другим симпатичным соседом был Володечка, мальчик из интеллигентной семьи, совершенно, как оказалось, не подготовленный к простым житейским ситуациям. Он бредил Скрябиным, любил Анненского и хотел когда-нибудь стать историком. В сравнении с ним Никифоров чувствовал себя усталым и мудрым, и ощущение это оказалось приятным, хотя и грустным, конечно. С остальными Никифоров тоже быстро сошелся и стал постепенно втягиваться в общий неспешный ритм.

Но однажды ночью проснулся от предчувствия и разбудил Якова Семеновича. Они молча дождались рассвета, серого и теплого, с мелким дождичком, и все вроде бы шло как обычно — прошуршали дворники, сгустился поток на шоссе, и вот-вот начаться бы часу пик — там и день, и, может быть, стало бы полегче, но тут напротив них остановилось несколько машин.

Оттуда вышли и что-то вынесли, что — Никифоров не разглядел. С этим они подошли к ближайшему от угла дереву, и еще до того, как раздался выматывающий душу механический вой, Никифоров понял: будут пилить. Он увидел, как свалился тихий Андреич, но уже знал, что сам он еще успеет уйти, если сейчас, если сию секунду... и с отчаянием рванул корни.

«Я же просто гуляю,— думал он, заслоня Володечку,— ничего, что я босиком — вот такой я чудак... Бег трусцой вокруг дома... как Лев Николаевич... а на газоне я случайно, готов штраф заплатить... Володечка! Ты запомнил адрес? Ты не перепутаешь? Май-

ечка добрая, ты ее не стесняйся, так ей все и скажи... да быстрее же, дурачок, вон беги за автобусом!»

И, проводив его глазами, Никифоров выждал минуту, а потом ступил на асфальт и устремился следом. Но тут же почувствовал руку на своем плече,

ДОСАДА

Алексею Петровичу Иришину с утра было не по себе. Дела шли вроде бы нормально, и даже нашлись наконец накладные из треста, которые куда-то запропастились еще в пятницу. И все же Алексея Петровича не оставляло смутное беспокойство. Временами ему казалось, что на самом деле на работу он не явился, а вместо этого отоспался как следует, не спеша позавтракал и теперь все еще сидит на теплой кухне, попивая какао «Золотой ярлык».

Ощущение это все нарастало, приобретая силу реальности. Наконец Алексей Петрович не выдержал и набрал номер.

На том конце кто-то поднял трубку.

— Алло, это квартира товарища Иришина? — спросил Алексей Петрович.

— Да, — ответил неприятный, но очень знакомый мужской голос.

— Алексея Петровича попросите, пожалуйста, — сказал Алексей Петрович.

— Я вас слушаю, — ответил неприятный голос.

При этих словах Иришин испытал даже что-то вроде облегчения. Он покосился на дверь и немного понизил голос.

— Здравствуйте, Алексей Петрович. Это вас Алексей Петрович Иришин беспокоит.

— Здравствуйте, Алексей Петрович, — сухо откликнулся голос.

— Я бы не решился беспокоить вас так рано, Алексей Петрович, если бы не...

— Ничего, я уже встал, — перебил голос.

В этот момент Иришин вдруг почувствовал, что совершенно не представляет, о чем бы еще поговорить. Повесить же трубку было как-то неловко.

— Вы откуда говорите? — спросил неприятный голос, когда пауза неприлично затянулась.



— Из «Рембыттехники», — поспешно ответил Алексей Петрович, испытывая почему-то желание добавить, — сэр,

— Ну и как там? Нашли накладные? — поинтересовался голос.

— Да-да, буквально сию минуту нашли, — заторопился Алексей Петрович, шевеля пальцами от напряжения.

— Прекрасно. Вот и займитесь ими сразу же, — распорядился голос. — Да, кстати, Варя просит напомнить, чтобы вы по дороге купили две пачки пельменей.

— Конечно, конечно, я помню.

— До свидания, — неласково сказал голос.

— До свидания, Алек... — начал было Иришин, но услышал короткие гудки и замолчал. Потом пожал плечами, без стука положил трубку на рычаг и придвинул поближе к себе большую коричневую папку с надломанным углом.

Над этой папкой Алексей Петрович просидел с небольшими перерывами до конца рабочего дня. И только надевая пальто, чтобы идти домой, вспомнил об утреннем разговоре и с досадой подумал, что это уже все-таки слишком — четвертый день подряд обедать одними пельменями.

КРУШЕНИЕ МИФА

Овсянников написал диссертацию. Называлась она «Математические методы исследования некоторых мнимо загадочных сторон Бермудского треугольника». Используя мощный аппарат теории групп и материалы Международного геофизического года, Овсянникову удалось получить несколько поразительных результатов. Выяснилось, что сумма углов Бермудского треугольника равна 180° , а медианы пересекаются практически в одной точке.

В ученых кругах поползли слухи. Овсянникову присылали приглашения на конференции, симпозиумы и телепередачу для студентов-заочников. Шеф Овсянникова вел с Дальневосточным пароходством переговоры о внедрении. Неприятным диссонансом прозвучало выступление профессора Захотенского,

вице-президента Международной ассоциации бермудистов-подводников. Почтенный старец не подвергал сомнению математические выкладки, но, опираясь на результаты замеров, проводившихся в 1910 году в Авачинской губе, считал результаты Овсянникова несколько завышенными.

Назревал серьезный научный кризис. Провести решающий эксперимент было поручено находившемуся в тех краях гидрографическому судну «Флуоресценция», на котором имелся 16-дюймовый башенный транспорт. В день выхода к гипотетической точке от «Флуоресценции» не было радиограмм. Не было их на другой день. На третьи сутки Овсянников уже начал волноваться, что придется переделывать введение, но тут связь возобновилась.

Успех эксперимента был полным. В точке пересечения медиан был установлен опознавательный буй. Сумма углов треугольника даже превзошла теоретически предсказанную. Защита прошла с блеском.

Впрочем, о том, что медиан оказалось четыре, Овсянников на ней не упомянул. Впереди была еще докторская.

СКАЗКА О ТРЕХ ГОЛОВАХ

Жил-был один дракон, большой лентяй.

У нормальных драконов, как известно, от семи до двенадцати голов, этот же отрастил только три, да и то с трудом. Все же эти трое исправно соображали на троих, каждый раз ворую из автомата стаканы.

В один прекрасный четверг сел дракон обедать. Как положено: три тарелки с первым, три — со вторым и три вишневых компота. Первая и Третья головы заулыбались и стали облизываться, а Вторая подумала: — Это ж сколько посуды мыть! — и затуманилась.

Помолчала-помолчала, а потом как брякнет:

— Надо, ребята, всю посуду обобществить. Вали все как есть в одну миску!

— И компот?! — ужаснулась Третья голова.

— И компот! — рывкнула Вторая, хотя про компот-то она и не подумала. Но делать нечего — не пропадать же почину.

Обобществили: стали есть. Тут-то Вторая голова

себя и показала: хруп-хруп, и все подмела. Тем двум головам только косточки остались. Но Вторая голова быстренько им доказала, что в косточках как раз — все витамины. И обе головы как-то автоматически сказали Второй «спасибо», когда дракон вставал из-за стола. Хитрая голова сначала удивилась, но потом сделала свои выводы.

На следующий день она и говорит:

— Надо, ребята, организовать у нас ячейку. Нас тут как раз трое — и до сих пор еще не охвачены.

— А зачем нас охватывать? — робко спросила Первая голова.

— Надо, — внушительно ответила ей Вторая (потому что она уже поняла, что отвечать следует внушительно).

— Ну раз надо, то конечно, — согласилась Первая. — А что мы будем делать?

— А вот что положено, то и будем делать, — отвечала Вторая. — Да вы не смущайтесь — мы с вами таких дел наворотим!

— А я не умею дела воротить, — заикнулась было Первая.

— Не умешь — научим, не хочешь...

— Хочу, хочу! — поспешно сказала Первая голова, которой уж очень страшно показалось узнать, что будет, если вдруг она не захочет.

— Вот и ладненько, — бодро сказала Вторая, уже заметно войдя во вкус. — И ты, конечно, тоже с нами? — подмигнула она Третьей голове.

— Да нет, я как-то... — промямлила Третья голова, не реагируя на подмигивание. Теперь уже обе головы на нее набросились:

— Ты что же, такая-сякая, от коллектива отрываешься?

— Ну, я подумаю... — слабо отбивалась Третья, явно сдавая позиции.

— Ну, подумай, подумай! Умнее других, значит, быть хочешь. Крепко подумай! — сказала Вторая голова каким-то новым тоном и тем положила конец беседе.

Всю ночь Третья голова вздыхала, всхлипывала и размазывала слезы ушами. А наутро сказала, что она хоть и не все понимает, но все же в общем согласна и против коллектива не пойдет.

Организовали ячейку.

Стали потихоньку дела воротить, хотя Третья голова по-прежнему не все понимала. Другие драконы, даром что с двенадцатью головами, стали в пояс кланяться. А кто пробовал по старой привычке огнем дышать, того съедали: раз — и нету.

И так оно все шло и шло, пока Третья голова наконец не стала кое-что понимать. Тут Вторая голова забеспокоилась.

— Что-то больно грамотная стала у нас Третья,— сказала она Первой голове,— к тому же уклон у нее какой-то правый... Не навязала бы она нам ненужную дискуссию!

Короче, подумали они, пошушукались — и съели Третью голову.

И все бы дальше пошло неплохо, да только Первая голова стала после этого как-то дергаться и кричать по ночам. А это было очень неудобно, тем более что при создавшемся положении у нее была половина голосов.

Пришлось Второй голове дожидаться ночи и ее съесть. А удивленным знакомым она говорила, что Первая голова находится на излечении с полным обеспечением по состоянию здоровья.

Ну, а дальше все пошло уже совсем хорошо. И те, которые с семьей головами, по-прежнему кланялись в пояс, а те, которые с двенадцатью,— и вовсе куда-то запропали.

А потом наш дракон, теперь уже одноголовый, поленился на конечной станции метро. И ему защемило голову дверью и увезло в неизвестном направлении.

И это так и должно было быть, потому что какая же это сказка без счастливого конца?

СЛУЧАЙ С АКСЮТИНЫМ

И вдруг Аксютин заметил дым. Вернее, это был еще запах дыма, но он безошибочно привел Аксютина в незнакомое парадное, а там уже потянуло гуще, и сомнений не осталось.

Заметались в памяти плакаты: «Не давайте детям...», «Не оставляйте включенными...», и даже какой-то Козьма — пожарный выплыл из глубин прочи-

танной литературы. И, пока Аксютин бежал, задыхаясь, по лестнице, оказалось, что теоретически он вполне подготовлен к тому, что должно сейчас произойти. Невесть откуда он помнил, что дышать надо через мокрый платок, дети имеют обыкновение прятаться от огня под кроватью, уходить надо по карнизу, а последней рухнет крыша.

На работу Аксютин опоздал и получил выговор.

СНОВИДЕНИЕ

Алексей Иванович Аксютин проснулся в семь часов утра, но тут же понял, что еще спит. Им овладело хорошо знакомое чувство приятства и нереальности происходящего. «Ну-ка,— подумал Аксютин,— сейчас пойдет снег, и не вниз, а вверх».

Он глянул за окно. Там неслось и взвивалось, и у Аксютиня сразу закружилась голова. И, уже не боясь проснуться, зная, что все будет хорошо, он вышел на улицу и задумался: пойти или полететь? Потом все же решил пойти: так хрустело под итальянскими ботинками, и такие они оставляли следы, и так не хватало этих твердых следов на мягкой неге квартала!

Троллейбус ждал на остановке. Аксютин неспешно вошел, улыбнувшись в пространство. Ему захотелось нарисовать человечка, и недрогнувшей рукой он вывел на замерзлом стекле полузабытую последовательность: ручки-ножки-огуречик... Пассажиры смотрели на него с завистью и уважением. Подходя к месту работы, Аксютин увидел начальника отдела. Тот горбился и спешил. Алексея Ивановича охватила сладостная жуть. Легко и раскованно он слепил снежок и попал. Несколько минут они, заливаясь смехом, подымали на воздух сугробы, а потом закурили и в дружеской беседе взошли по лестнице, устланной ковром — но не в честь заезжей комиссии, ну конечно же нет!

И счастливый сон этот длился целый день, и в тот день все было дано Аксютину, чего он смел желать, и желанья его были как песня.

Он вернулся домой с работы, волнуясь, открыл дверь, сел и стал ждать. Он знал, что сейчас войдет Варя и закроет ему ладонью глаза, и он поцелует ее

ладонь, как когда-то — Боже мой, сколько лет назад! «Опять ноги не вытер, убирай за вами», — сказала Варя из коридора. И потрясенный Аксютин вдруг ощутил, что все кончено, и навсегда, и это был не сон.

Ему захотелось плакать, и он отвернулся к окну. За окном таяло.

ПОСЕЩЕНИЕ

И наконец пришельцы посетили Землю. Нас, конечно, уже не было, и цивилизация к тому времени тоже кончилась. Осталось несколько стен и заборов.

Пришельцы были паучки добросовестные и так и записали: аборигены умели возводить стены и заборы. Самый молодой и талантливый пришелец вскоре сделал открытие: на всех уцелевших строениях был изображен один и тот же символ — сначала две палочки крест-накрест, потом две палочки уголком, затем три палочки зигзагом и сверху точка.

На этом основании молодой и талантливый утверждал, что аборигенты владели искусством письма. Но его аргументы показались остальным неубедительными. Если это буквы, сказали они, то для любого языка их слишком мало, а для двоичного кода слишком много. Так таинственный символ и не был разгадан и все время занимал умы пришельцев. Некоторые перенесли изображение на стены своих кают, чтобы все время иметь перед глазами, но и это не помогло.

Тогда изображения стали появляться в кают-компани, метотсеке и даже в туалетах.

Капитан корабля сначала пробовал с этим бороться, но однажды ночью, смущаясь перед самим собой, вышел наружу с обломком кирпича и нацарапал символ на обшивке корабля. Ему было странно, но он ничего не мог с собой поделать.

Вскоре пришельцы вернулись домой. И там увлечение символом вспыхнуло как эпидемия. Символ этот был всюду, потом был только он один, а потом уже не было ничего. Остались только стены и заборы.

Так простое русское слово уничтожило цивилизацию захватчиков.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Космонавт Гаврюшин наконец возвращался на Землю. Не было его так долго, что к этому все как-то привыкли и перестали замечать его фамилию в газетах и репортажах. И сам он привык уже к своей станции до такой степени, что даже греховные сны ему не снились.

Он притерпелся к бедному своему зудящему телу, к ощущению нечистоты и опухлости, и не бодрил себя больше песнями, и не забавлялся идиотским плаванием вещей по кабине.

Теперь же всему этому оставалось чуть больше суток — ну потом, конечно, посадка — но это быстро — и упадет космонавт Гаврюшин на колени, и поцелует родную землю, а потом уже не всегда будет хорошо. Откуда, собственно, Гаврюшину пришла мысль именно землю целовать — он и сам не знал. Кажется, читал что-то такое или песню слышал. Но землю эту представлял себе до былиночки — всю в теплых морщинках, и пахнуть она будет такой кисленькой травкой — никак не вспомнить название, но в детстве Гаврюшин знал.

И когда свинтили люк и вынули ослабевшего Гаврюшина, он, не ступив еще ни разу, уже смотрел — где его земля, которую обнять.

Земля действительно была, но непохожая, киргизская какая-то, с ковылями, и, наверное, на вкус соленая. Гаврюшин тем не менее повалился, но упасть не успел — подхватили его бережные мускулистые руки.

Потом он шел церемониальным шагом — рука к виску — по красному ковру и отвечал как положено, а потом были громадные паркеты — и Гаврюшин шел по Гаврюшину, перевернутому и сплюснутому, и каменные мозаики были, и ступени — но целовать это было бы как-то странно.

Потом Гаврюшин жил в лучшем доме в лучшем районе, зелени вокруг было море — даже удивительно, и как-то ранним утром, когда Гаврюшин вышел пробежаться, ему почудился запах той кисленькой травки, и он нерешительно подошел к газону. Но на газон нельзя было пускать собак, и это почему-то смутило Гаврюшина, хотя он был без собаки и никто его

не видел. Ну не мог он здесь пасть на колени — и все тут, хотя знал, что другого случая скорее всего не будет.

И действительно не было.

НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Конечно, Санечку все очень любили. Откуда он появился в компании, никто не знал — вероятнее всего, его привели Можаяевы. Во всяком случае, несколько раз он приходил вместе с ними, а потом и сам по себе — остроносый, скованный и бестолково одетый,

Его закрепощенность никому не мешала, потому что не распространялась на других, напротив — каждый себя при Санечке чувствовал остроумным и легким в общении.

— А-а,— кричали все,— Санечка пришел! Как дела, Санечка?

И хотя сам Санечка никогда ничего толкового не отвечал, сразу же выдвигалось несколько версий — как Санечкины дела. Наиболее интригующую тут же хором развивали и обыгрывали, и с этого начиналась беседа — из тех свободных и удачных бесед, что не гаснут уже до конца вечера, но длятся сами по себе, не требуя дальнейших забот.

Санечка сразу как-то тушевался, садился на любимое свое место — западный диванный валик — и так, жмурясь и раскачиваясь, просиживал, пока не начинали прощаться. Мало-помалу все привыкли к абсолютной Санечкиной бесполезности и к его манере невпопад реагировать на вопросы, а потом и полюбили эту манеру: чего-то уже без Санечки не хватало, и неразвернуто радовались его появлению.

Однажды, впрочем, Санечка традицию нарушил. Было это у тех же Можаяевых — собрались смотреть африканские слайды. Быстренько обшутили возможную фальсификацию, оттуда перекинулись на пришельцев и на личность Джонатана Свифта, и вдруг погас свет. Конечно, заметались, смастерили жучка, но оказалось, что света нет во всем доме и надо, следовательно, ждать. Тут-то Санечка помялся-помялся — и превратился в керосиновую лампу, и так стоял и горел.

Разумеется, отмочи такой номер Рубен или хозяин дома — все бы зашлись от эффекта, и славная эта история затмила бы собой прошлогоднюю, когда Евсеич, рисуясь ручной работы запонками, выбросил подряд восемь шестерок. Но все зависит от того, как подать — и поэтому Санечкино превращение никакого урагана не вызвало, было оно как-то сказано, и некоторые вообще не осознали, откуда эта лампа взялась. Отрегулировали огонь и продолжали разговор, а там и свет зажегся.

Все же событие это запомнили, и с тех пор, если что-то позарез было надо, просили Санечку. Санечка никогда не отказывал и был попеременно то кассетным магнитофоном, то мороженицей, а когда Татьяна готовила кандидатскую, все праздники провел в обличье пишущей машинки.

Теперь он уже реже дорывался до своего любимого валика.

— Санечка,— кричали ему, когда он, сутулясь, разматывал кашне на пороге,— где же ты пропадешь? Уже двадцать минут, как вторая серия! изобрази, благодетель!

И Санечка безропотно превращался в цветной телевизор, не требуя подключения в сеть. Он слегка похудал и в бесполезные свои минуты мерз и хохлился в уголке, появилось в нем что-то птичье, а впрочем, это не бросалось в глаза.

Тем временем подошла весна — время нервное, безвитаминозное, и работы на всех навалилось черт-те сколько. Собирались теперь рано — очень все уставали. Шутки и истории были не то чтобы истощены, но не били ключом, и не предвиделось этого биения до самого сентября — когда снова все съедутся, горластые и загорелые, и тогда уж понавезут и порасскажут. Тем не менее, когда вышел Лешкин сборник, все созвонились, побросали дела и явились в полном составе, галдя еще с лестницы.

Санечка тоже пришел, хотя и опоздал к надписыванию экземпляров. Его приход не был замечен в общем шуме и грохоте, потому что Рубен как раз читал пародийную поэму, навзрыд подражая Лешкиным иттонациям. В этот вечер засиделись, как никогда, а в половине второго неожиданно стали писать пулю — и задымили уже до утра. К утру темпераментный Ки-

рюша, расчерчивая новый лист, сломал карандаш, и паста тоже кончилась, и ни у кого ничего пишущего при себе не нашлось. Тут-то и вспомнили про Санечку, и он, не говоря ни слова, превратился в пластмассовую точилку в виде горохового футбольного мячика с отверстием сбоку.

Второй раз о Санечке вспомнили, когда уже расходились. Он по-прежнему лежал на липком стекле, а вокруг были карандашные стружки и следы от станков.

— Санечка,— сказали ему,— ау, сынуля! Петушок пропал!

Но не шевельнулся пластмассовый мячик, и не оказалось в углу застенчивого Санечки, только маятник столовых часов грянул что-то очередное. Тогда забеспокоились, стали Санечку уговаривать.

— Ну очнись, старик! Ты что, обиделся? — мягко ворковал Евсеич, и серебряный голос Анюты зывал к нему: — Санечка, лапа моя, что ты дуришь? — но без результата. Наконец* решили, что Санечка всех разыграл — подложил точилку, а сам незаметно удрал, пообещали ему задать за такие штучки и ушли, почти успокоенные. Надо бы, конечно, было ему позвонить, но ни телефона его, ни адреса, как оказалось, никто не помнил.

Больше Санечка не пришел, и в следующий раз все это неприятно ощутили, но потом постепенно стали забывать эту дурацкую историю. Тем более что точилка тоже куда-то задевалась.

ПРОИСШЕСТВИЕ

В троллейбусе № 317, следующем по 9-му маршруту, было нехорошо. Время было утреннее, нервное, и свободных сидячих мест не было. Не хватало также стоячих. Кроме того, несколько пассажиров были в очках и шляпах, а некоторым и вовсе следовало ездить в такси. Особенно неприятно было на остановках. Входящие хотели войти, выходящие — выйти, а водитель хотел закрыть дверь и уже несколько раз объявлял, что «будем стоять». Вскоре в троллейбусе не осталось ни одного человека, которого даже в пылу ссоры можно было бы назвать интеллигентом.

В это время в салон неожиданно влетел тихий ангел.

Он был совсем маленький, с пухлыми складочками и аккуратными белыми крылышками. Вел он себя действительно очень тихо, прошуршал над головами и уселся вверху на поручень, никому не мешая.

Тем не менее его все сразу заметили и ощутили неловкость. Неласковая речь сразу умолкла, и наступившая тишина привела пассажиров в еще большее смущение. Они деликатно переминались с ноги на ногу, стараясь не встречаться друг с другом взглядами. Никто не знал, как себя повести. И даже голос водителя, называвшего следующую остановку, прозвучал как-то неубедительно.

На остановке в троллейбус вошла немолодая женщина с красной повязкой на рукаве. Она стала проверять талоны, начиная с задней площадки, пока не дошла до тихого ангела, а когда дошла, то усомнилась, пользуются ли ангелы правом безбилетного проезда. Вопрос был спорный, однако ангел спорить не стал и скромно вылетел, стараясь никого не задеть крыльями. Двери за ним беззвучно закрылись. Стало еще тише, чем прежде.

И все посмотрели друг на друга.

Саша Соколов

ТРЕВОЖНАЯ КУКОЛКА

Ирине Ратушинской

..Все по плану
Шло, не так ли, Господи? Под холодным небом
Бредил всеми землями, путая быль и небыль.

Нам бы знать — за что нас так, Боже?

Ирина Ратушинская

Какая промашка! Вместо того, чтоб родиться и вырасти в несравненном Буэнос-Айресе, где вместо: Кóмо эста устé? — все спрашивают друг у друга: Кóмо ёстан лес айрес? — и отвечают: Гра̀сиас, гра̀сиас, му́й буэнос,— и где веломальчик газеты Ой демонстративно читает ее без всякого словаря и вдо-

бавок едет без рук, а кондуктор — обыкновенный трамвайный кондуктор — по памяти декламирует пассажирам пассажи Октавио Паза, — то есть вместо того, чтоб явиться там, среди этих начитанных и утонченных и стать гражданином по имени Хорхе Боргес; а впрочем, нет, погодите, — в Упсале — в неопишуемой Упсале — или где-нибудь возле — в краю готической хмурой мудрости — и сльвя профессором Ларсом Бакстрёмом, — быть им: во имя прелестной Авроры из славной семьи Бореалис самозабвенно творить во рожду, именуемую свенск поэси; или вот: не взыска ни Рима, ниже Афин, — в несказанном Иерусалиме: о лучезарное детство на улице Долороса, среди вериг и преданий, — о Господи, да что там в Иерусалиме, оставим его в покое до будущего года, ведь можно явиться и под — в неказистом, пропахшем фалафелями Вифлееме, а нет — в преисполненной былого величия и мулов Афулое, а нет — в развеселом Содоме — и жизнь напролет как ни в чем не бывало болтая с приятелями эклезиастовым языком, сделаться мастером гильдии Амоса Оза, словом, вместо чего бы то ни было из перечисленного или чего-нибудь в том же возвышенном и нездешнем духе — являешься и живешь чёрт-те где — лепечешь, бормочешь, плетешь чепуху, борзопишешь и даже влюбляешься, даже бредишь на самом обыкновенном русском — и вдруг, не успев оглянуться, оказываешься неизвестно кем, кем угодно, вернее, не кем иным, как собой. Вопиюще! Осознав происшедшее, ощущаешь себя как бы жертвой случайной связи — связи эгоистических обстоятельств, времен. Ты словно облеплен весь паутиной, запутался в неких липких сплетениях, в некоей пряже. Проклятые Парки. Смотрите, как я спеленут, оуклен. Немедленно распустите. Мне оскорбительно. Где же ваше хваленое благородство. И муха ли я? Вы слышите? Видимо, нет. Во всяком случае — ноль внимания. Неслыханно. В общем, типичное удовольствие ниже среднего. Так вы шутили когда-то в юности. То есть не вы, а они, иные. А тебе, осознавшему происшедшее во всей его неприглядности, было не до веселья. Наоборот, обретаясь в силках присущего априори наречия, ты впал в хроническое угрюмство. И если порой улыбался, то лишь из вежливости; да и то сардонически. Впрочем, жизнь обставила. Ища по-

бороть депрессию, ты по афишке с постскриптумом: Слабонервных просят не беспокоиться,— трудоустроился в морг. Начав с помощника санитаря, выбился в препараты. В обязанности твои входило бритье клиентов и ассистирование на вскрытиях. Объявить, что вскрытие неэстетично,— значит слукавить, жеманно спрятаться под вуалью литоты. На взгляд абстрактного гуманиста оно от разнузданного глумления над покойным отлично только ведением протокола. И тем не менее этой, по выражению циников, операции по поводу смерти подвергаются все, скончавшиеся в больнице. Порядок свят: исключения по протекции. Бесправие несчастных напоминало о собственном. Вы были невольники двух несогласных стихий. Ты — невольник присущего языка; клиентура — летального безъязычия. Жить и пошло, и вредно, жаловался ты прекрасным дамам по соловьиным садам. Однако и смерть — не выход. Ибо и смерть не обеспечивает нам свободы воли. И поверял им строки, сочившиеся профессиональной печалью. И в зале — по скользкой эмали — кружился полночный скелет — из бледно-оранжевой дали — струился задумчивый свет. Терзания надломленного таланта отзывались в дамах сплошной экзальтацией. Тронут сочувствием, ты шептал им положенное и обретал желаемое. О, сколько бальзама давали в те юные ночи за звонкий русский сезам. А как ярились сирени по берегам зари. А как розовели в лучах ее уши неумолимых, как судьбы, котов, стерегущих возле акварнумов своих ювелирных рыб. И все-таки ты полагал себя обделенным. Хотелось таких берегов, где в обиходе иные сезамы. Их либе дих, сага по, те амор, твердили тебе героини грез. Но грезы порой оборачивались кошмарами. Чу! Позвольте, но где же выбор? говоришь ты кому-то в маске и в чем-то вроде инквизиторской мантии. Говоришь горячечно, нутряно, точно как Достоевский на исповеди у Фрейда. Выбора не дано, отвечает он холодно и высоколобо. Но ведь без выбора нет свободы, а без свободы — счастья, не так ли? Возможно, только откуда ты взял, что имеешь на счастье право? Право? мне говорили, что никакого права не нужно, что ежели мотылек рождается для полета, то личность — для счастья. Ты не личность, роняет он, ты — личинка. Да как вы смеее — что за бестакт-

ность — этсетера. Между тем его маска спадает. Волевое лицо узурпатора. Скорбные седые глаза василиска. Неулыбчивый рот палача. Трепещущий и раздвоенный, словно у игуаны, язык. Даже расстроенный. Расчетверенный. Не счесть. Помилуйте, кто вы? Я — неизреченное Слово. Я Слово, бывшее в начале начал. Я — немецкое да и зеркально затранскрибированное английское я. Я — ай. Я — я. Я — Он, Который утверждает: Я Есмь. Я Есмь, подтверждают поборники всесопряжения. Я — враг твой. Я — бич. Я — неволя, недоля и дольняя незабудка. Я — любит-не-любит. Я — стерпится-слюбится, слубится — воспарится. И воспарив над юдолью, начнешь препарировать бытие, вычленять из него парную, кровотокающую суть. Не корми ею птиц небесных: те сыты печенью Огнекрада. Но капля по капле, кусок за куском претворяй ее в прозу живую. Терпи и трудись. Я же дам тебе и стило, и крылья. Ибо Я — язык твой. В силу закона о сообщающихся сосудах, субстанциях и состояниях от такого-то и такого-то сон и явь незаметно перетекали друг в друга, смешиваясь, будто в доме Облонских, когда к тем запросто, без звонка и без запонок, эдаким фармазоном, заезжал покуражиться замечательный русский мечтатель Обломов. Пил, топал, свистел, бранился и требовал, чтобы долой барокко, а да здравствует-де рококо. Пример, достойный всемерного подражанья. Однако к Облонским ты не был вхож, и пойти по стопам кумира было, собственно, не к кому. И вот, похерив амбициозные планы, ты поступал по сказанному языком твоим — терпел и трудился. Дело происходило в пределах от а до я и от там до сям. Лицедействуя на подмостках большого света, ты не затмил гигантов этого балагана единственно потому, что подвизался на скромных ролях. Зато ты сделался чародей мгновения, виртуоз эпизода. Никакой Оливье не сумел бы столь ловко подать пальто, споткнуться и опрокинуть поднос. Эпизодов случалось с избытком. В платяя твоего артистического гардероба можно было бы приодеть всю голь карнавальную Копакабаны. На досугах ты открывал многоуважаемый шкаф и бережно перебирал висевшие в нем наряды. Так сентиментальный мемуарист листает грессбухи собственных сочинений. С какою-то грустью. Помимо препаратурского халата тут наблюдались: сюртук контор-

ского клерка, униформы циркового уборщика и театрального бранд-майора, безрукавка истопника и фрак трубочиста, костюм жокея и фартук рыночного торговца, китель егеря и траченная собаками телогрейка их дрессировщика, шинель рядового и смирительная рубаха. Последней ты дорожил как реликвией. Парадоксально: этот неброский наряд символизировал твою постепенную эмансипацию от общественно-политических предрассудков. Ибо именно в ней ты ступил на путь, ведущий в граждане мира и председатели шара. В ней в то хмурое по-толстовски утро тебя увозили из мерзкой солдатской казармы — в самое вольное изо всех учреждений отчизны. Карету, украшенную красным крестом, подали к краю плаца, где муштровали гвардию. И ведомый сквозь строй ее почетного караула, ты кричал верноподданым, вселяя в них бодрость и гордость за своего короля: Долой рококо и барокко, да здравствует сюрреализм! И в той же рубахе семьсот двадцать девять уколов спустя предстал ты пред высочайшей комиссией. Ну-с, теперь-то вы сознаете, батенька, что вы никакой не Дали? сказали тебе военные эскулапы. Так точно, теперь я — дивная куколка, выросшая из простой полночной личинки. Какая прелестная метаморфоза. Смотрите, я совершенно окуклен. Прямо роденовский Онорé. Благодарю вас. Я благоустроен. Я больше ни в чем не нуждаюсь. И где-то внутри, в средоточье, где прежде щемило, мне сейчас бесконечно; точнее — бесконечно уютно. Но в целом — я весь тревога. Уведомлен ли о случившемся сам Сальвадор? Необходимо телеграфировать. Цито! Мол, честь имею. Преобразился. И подпись: Тревожная Куколка. Позаботьтесь, уж будьте любезны. Только боюсь, маэстро не вытерпит этой утраты. Ау, мы были с ним так двуедины. Рыдает. Смирительная рубаха на глазах темнеет от слез. И именно в ней в знак протеста против конквистадорской политики позднесредневековой Испании и лично Америго Веспуччи маршировал ты своим нелюбимым городом вскоре по выписке. Ты унес ту рубаху келейно. Ты похитил ее из дурдома словно герой-лазутчик — знамя из неприятельской штаб-квартиры. То было знамя морального большинства, ведущего необъявленную войну с Художником. Совершив сей подвиг, ты в значительной мере ослабил гидру. Однако

был по крайней мере еще один повод для ликованья. В соответствующем документе значилось вожделенное: Никуда не годен. Основание: Бред ничтожества на фоне вялотекущей мегаломании. И — ликовал. И являлся в своей рубахе среди недобитых гениев от изящных искусств, меж эстетов, дерзавших гласить крамолу на съезжившихся площадях и в томных салонах. И в зале — по скользкой эмали — из бледно-оранжевой дали. О рубаха! Это именно в ней ты прожег свою юность, будто бы сигаретой — дыру. Ах, навывлет. Какая неаккуратность. Ну разве неясно, что с подобного рода вещами следует обращаться бережно. Ведь — реликвия. Вспомни, это именно в ней ты кипел отличиться в лучших своих эпизодах, служа вышибалой, менялой шила на мыло, натурщиком, вечным студентом и прочим ловким Гаврилой. В ней, терпя и трудясь, ты вырос в типичного представителя своего экстра-класса — класса лишних в своем отечестве. В ней влился в ряды достославного ордена Отставной Козы барабанщиков. Ордена мятущихся и бунтующих, неприкаянных и непридельных, правдоискателей и юродивых ради идеи-фикс, где магистром сеньор Кихот. Барабанщик милостью Божьей, барабанщик до мозга костей, ты был откровенным врагом всего, что не нравилось. И не беда, что в силу оукленности собственно барабанить было тебе не с руки. Что нүжды. Зато ты стал выдающимся теоретиком барабана, отважным его идеологом. И сражаясь за правое дело Священной Козы, барабанил не палочками по ее барабанной шкуре, но сердцем — в ребра, но кровью — в висок, но ею же — в барабанные перепонки свои, но воплем — в чужие. Вот почему, умирая, ты сможешь сказать: Руку на сердце, я был неплохим барабанщиком перед Богом. Похороните же с почестями. Только попусту в изъян не вводите — саван не шейте. Обрядите в рубаху — и баста. На память о том периоде, когда я жил-был, боролся и барабанил. И если угодно — мыслил. Ты мыслил как куколка. Как индивидуум. Как поколение. Как класс. Потому что тебя было много. Гораздо больше, нежели платьев в фиглярском твоём шкапу. И больше, чем тех эпизодов. Однажды ты оглянулся и понял то самое, что за век до того осознал великий американский мечтатель Уолт Уитмен, а именно: ты многолик и массов. Тебя

было столь много, что хватило бы на батальную кино-массовку. Да что массовка. Достало бы на хорошую гекатомбу. И осознал, что едва ли не каждый из твоего бесчисленного числа окуклен тебе подобно — обряжен в ту же холстину. И ужаснулся ты за злосчастный народ свой, рожденный в смирительной косоворотке. И язык его стал тебе горек. Ведь казавшееся в бреду молодого ничтожества мантией Великого Инквизитора было на деле таким же — как у тебя и у каждого — красным смирительным. И исполнилось предреченное им в страшных видениях ранних лет. Опечалившись за него, разделил с ним заботы и возлюбил его. Он растворился в твоей крови и стал пылью на крыльях твоих. Потому что в те дни ты раскуклился и воспарил. Но не волшебной набоковской бабочкой, а угрюмым и серым ночным мотылем, окрыленным непреходящей тревогой. Правда, лучше парить угрюмо и серо, нежели не парить никак. Поступая указанным образом, ты осознавал себя малой, но вольной молью родного наречия и хлопотал воспарять все выше. Однако же в целом язык — как и прежде — влачился вниз, во прахе немилый юдоли, или лежал, как бесправный больничный труп — жертва летального безъязычия. И тупые, бескрылые препараторы в алых косоворотках все глумились над ним, явля. О несчастный, бессильный, окукленный и оглуленный русский язык, говорил ты себе, перефразируя Ивана Тургенева. И молился. Господи, сохрани и помилуй присущее нам наречие, ибо иным не владеем. Сохрани и помилуй нас, тревожных его мотыльков, слабо реющих по свету и мельтешащих среди других языков и народов. От Упсалы до Буэнос-Айреса. Нас, угрюмых и серых, носящих на крыльях своих прах его летописей и азбук, пепел апокрифов, копоть светильников и свечей. Нас и тех, которые ищут выхода из смирительных обстоятельств, чтобы воспарить вслед за нами. И тех, что не ищут. И тех, что не воспарят. Воззри на нас и на них. Поговори с нами высоким Твоим эсперанто. Дай знак. Укрепи. Наставь. Подтверди, что Аз Есмь и что это уже не сон, а явь. А сон — разбуди и откройся. Лишь мне, малому мотылю. Мне, моли, Мне, праху и пеплу. Шепни на ухо. Прошелести опавшим листом — листом ли рукописи — бамбуковой рощей; за что?

ВАСИЛЬКОВОЕ ПОЛЕ

Каждый вечер Юлий Нисон, русский эмигрант, в прошлом кинокритик, а ныне швейцар в отеле «Плаза», проводил за стойкой бара в ожидании чуда. От остального мира его отделяли две банки «Бадвайзера» и блюдо с орехами и прочей дребеденью. Мысль о неизбежности чуда пришла Юлию в голову после ряда необъяснимых явлений, произошедших с ним в последнее время. Заключались они в том, что, когда Юлий приближался к телефону в чужом доме или проходил мимо уличных автоматов, они начинали звонить. В то же время его собственный телефон не звонил никогда, что, впрочем, не относилось к разряду чудес, а объяснялось отсутствием у Юлия каких бы то ни было знакомых.

Юлий поселился в Бостоне недавно. Вся предыдущая его жизнь протекала в Старопименовском переулке, в обшарпанной московской квартире, которую, то ли по недомыслию властей, то ли по счастливой превратности судьбы, забыли превратить в коммуналку. У Юлия собирались толпы не преуспевшей, но интеллектуальной элиты, и среди них он обрел белокурую жену, знакомую с произведениями Кьеркегора; друга-художника, рисовавшего, как Мондриан, одну любовницу, погруженную в оккультизм, и другую — йога. В кругу этих людей, много пивших, сплетничавших и поругивавших власти, безболезненно пролетели первые сорок лет его жизни.

И вдруг все пошло прахом. Первым уехал в Израиль художник Васька Крутов. Но, разочарованный в не имеющей к нему отношения исторической родине столь же внезапно, сколь и ослепленный ею, перебрался в Париж, рассорился с соотечественниками, покуролесил в Германии, не приобрел там ни славы, ни богатства и, по слухам, пришвартовался в Нью-Йорке. Затем сгинула любовница-оккультистка и осела в качестве бухгалтера в Калифорнии. Один за другим исчезали друзья и, разбрасываемые некоей центробежной силой, оказывались и немислимо далеких уголках свободного мира. А Юлий Нисон сидел в своем переулке, взвешивал «за» и «против», пока его мать,



не умерла от инфаркта, а жена Виктория (кажется, именно так звали белокурую Лорелею) с пятилетней дочерью Нинкой отдали свою судьбу в руки инженера Канторовича, который и увез их в город Милуоки. Наконец, Москва обезлюдела, и только тогда Юлий решился...

И вот он в Бостоне, в пурпурной ливрее, в отеле «Плаза». Строго говоря, Бостон нельзя назвать Аравийской пустыней: русских эмигрантов там, что зеркальных карпов, выпущенных в благодатный пруд. Но Юлий не считал возможным искать знакомства с соотечественниками. В его сознании русские бostonцы делились на две категории: вельможных и вульгарных. Первых он, естественно, презирал, вторых — стыдился. Он причислял себя к поверженной в прах элите. В качестве киноcritика он больше не существовал, в качестве швейцара представляться не хотел, а фигурировать в качестве человека ему просто не приходило в голову... Впрочем, в штате Висконсин жила его бывшая семья, и неделю назад Юлий получил от Нинки, уже американской школьницы, первое письмо. Начиналось оно так: «Hi, daddy! Guess, what mommy gave me for my birthday?» Юлий выбросил письмо в мусорный бак, и весь день у него было ощущение, будто его, как рыбу, разделяет тупой и неумелый нож. Вечером он перевернул бак вверх дном, нашел письмо, уже заляпанное какой-то дрянью, проплакал, сочиняя ответ, в котором таились изощренные оскорбления бывшей супруге, понес письмо на почту, по дороге разорвал в клочья и истратил недельный заработок на неслыханной красоты пушистую лягушку, которую и послал дочке Нине вместо ответа.

Поселился Юлий Нисон в конуре с изысканным названием «Studio — apartment». Она представляла собой пространство, замкнутое шестью стенами. В двух лишних углах размещались элементы ванной комнаты и кухни.

Эта шестиугольная форма дала Юлию основание именовать свое жилище Гексаэдр. И был он там не один. Бог послал ему дворнягу Ифигению. Однажды бездомная Ифигения, или, в просторечье, Фига, болталась около «Плазы», когда Юлий выходил после дежурства. Лил дождь. Зонта у него, разумеется, не было, автомобиля — тоже.

— Если я сейчас не возьму такси, то буду презирать себя до конца жизни,— пробормотал Юлий и остановил машину. Откуда-то сбоку глядели на него круглые темно-желтые глаза.

— Ты небось в такси никогда не каталась,— сказал собаке Юлий,— давай-ка прокачу, какая тебе разница, в какой части Бостона не иметь дома?

Юлий свистнул, и собака, вздымая брызги, ринулась в машину и прижалась мокрым боком к его ноге... Дворягина судьба решилась: в Гексаэдр они вошли вместе.

Если кто-нибудь в этом мире боготворил Юлия Нисона, если кто-нибудь видел в нем ВЫСШЕЕ существо — так это Фига, лохматая сосиска, взберошенный комок нежности и любви. Она достигла апогея своего счастья и утвердилась на вершине, иначе говоря, на матрасе Юлия Нисона, блаженствуя и ликуя, в то время как ее божество, лежа рядом, с переполненной пепельницей на животе, часами глядело в потолок, выискивая в рисунке трещин каббалистические знаки.

«Какого сюрприза ты ждешь от жизни? Любви, понимания, привязанности?.. Все перепуталось в твоей голове на старости лет. Помнишь, на днях показывали шоу «Family Feud». Участники игры должны были отвечать на миллион идиотских вопросов, и, если их ответы совпадали с загорающимися на табло, они получали очки, приближающие их к выигрышу 10 тысяч долларов.— Какие чувства ОШИБОЧНО принимают за любовь? — спросил рефери. Команды наперебой выкрикивали ответы. Правильными ответами, то есть ошибочными чувствами, оказались: 1) дружба, 2) сексуальное влечение, 3) понимание, 4) привязанность.

Всю жизнь, значит, ты блуждал в невежестве и потемках, принимая за любовь какую-то ерунду. С другой стороны, за что или вопреки чему тебя должны любить? Тебя — перепуганного, косноязычного эмигранта. Итак, забудь. А что ты думаешь о карьере? Блестящей карьере в стране чужих неограниченных возможностей. Известно, что все дороги здесь открыты... Гоу, как говорится, эхэд! Что является пределом твоих мечтаний? Стать менеджером в «Плазе», преподавать наш великий и могучий язык в Монтер-

рее или, собрав мозги в кулак, окончить курсы программистов, вооружиться коболом и влиться в армию строителей технического прогресса? Перспективы — одна другой краше.

О чем годами, долгими ночами вы толковали с друзьями за бутылкой «Столичной»? «Мы будем свободны! Читай любые книги, смотри любые фильмы, болтайся по свету... вольность и покой будут тебе заменой счастья!» Ну-с, по порядку. И что ты прочел за это время, кроме двух романов Джона Ле Карре? Может быть, ты, наконец, углубился в фундаментальные труды русских философов? Доступных теперь Бердяева, Леонтьева, Шестова? Ни черта подобного. Ты с трудом осилил одно произведение господина Зиновьева, и его мысли, ползущие, как фарш из мясорубки, в строгом соответствии с законами логики, навели на тебя непроходимую скуку. А что является сегодня Монбланом западной киноиндустрии? «Обыкновенные люди» и «Крамер против Крамера». Запусти их в Москве, и цензоры, несомненно, утонули бы в слезах и присудили создателям и сталинские и ленинские премии. Ведь наградил же растроганный Голливуд Москву, которая слезам не верит.

...Вы собирались свободно выражать свои мысли. И какие же мысли ты имеешь выразить? Что в этом мире осталось невыраженным?

Было бы недурно написать бестселлер. Тут тебе и слава, и богатство. О чем? О страданиях и одиночестве эмигрантского интеллектуала, или, вернее, интеллектуального эмигранта. О страшной его судьбе в замызганных недрах отелей и ресторанов, тех самых, в которые ты был рожден входить под ликующий грохот «Увертюры 1812 года». И тут ты припозднился, дружок. Обошел тебя на повороте приткий Лимоннов... Остались путешествия. Сафари в Африке, фиеста в Испании (из произведений забытого всеми Хемингуэя). О, этого сколько угодно. Любая девчонка из любого бюро путешествий пошлет тебя на Азоры, Багамы, Гавайи... В обществе голубоволосых вдов в розовых шортах, с сорока пятью безупречными жемчужными зубами. Имей там фан и енжойстам лайф! Не забывай и о круизах... Вотходишь ты по трапу на белый нарядный корабль. Тебя встречает лысый капитан, застенчивый доктор, барышня, культработ-

ник и черный остряк-бармен. Они провожают тебя в каюту, а справа и слева и поселяются очаровательные, одинокие, состоятельные дамы. Сперва, не разобравшись, ты флиртуешь с дамой справа, но по законам жанра именно дама слева особенно глубоко проникла в лабиринты твоей души. В конце недельного путешествия все становится на свои места, и, после веселой путаницы между коктейлем и прощальным обедом, ты с левой дамой, обнявшись, сходишь по трапу в новую и счастливую жизнь. Вам машут и провожают лукавыми улыбками лысый капитан, застенчивый доктор, но и так далее. О, сладостные грезы, навеваемые телекомпанией ABC!

...И вообще, почему я здесь? Почему не в Мельбурне, не в Осло, не в деревне Пленишник Вологодской области? Какое отношение имеют ко мне стриженные газоны, баптистская церковь, агентство по продаже недвижимости?»

Юлий слезал с матраса и подходил к окну. За пределами Гексаэдра вставало солнце. Под окнами растилась воплощение сталинской мечты — слияние города и деревни. Вдоль домов еще дремали автомобили. Некоторые выглядели нарядно, у других были вмяты бока, оторваны крылья и выбиты зубы. Затем появлялись владельцы — точная копия своих машин. Кто подтянутый, в деловом костюме, а кто взлохмаченный, в джинсах и кедах. С ошеломляющей быстротой улица опустевала. Ни Юлий, ни Фига не вливались в скоростной поток американской жизни. Они отправлялись гулять, и, пока Фига утверждала на тротуаре свою индивидуальность, Юлий покупал местную газетенку и пытался проникнуть в тайны локальной жизни.

...Мистер Покриц баллотируется на должность констебля. Резиденты государственного дома для престарелых возражают против строительства рядом с их бассейном государственного дома для малоимущих... Мисс Кирпатрик, 89 лет, выезжая задним ходом из гаража, задавила свою сестру, мисс Кирпатрик, 92 лет. Ей предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве... А это что? Знакомое имя — Джо Гримпсон. Хозяин бара «Ржавый гвоздь», того самого, в который захаживал Юлий, сетовал на исчезновение Джо Гримпсона. Этот Джо, опустившийся ста-

рый ирландец, нигде не работал, забывал получать чеки социального страхования и, по-видимому, не имел ни одной близкой души на свете. Ночевал он в подвале заброшенного дома, днем болтался неизвестно где, но вечерами исправно просиживал в «Ржавом гвозде». Выпивку ему отпускали в кредит, и он время от времени даже расплачивался за нее. Бог знает, из каких средств. И вот уже месяц, как старина Джо не показывался в баре. А на днях пришли ломать дом и нашли горстку его барахла... «Славный был парень, безвредный и веселый, и знал кучу забавных историй. Где он сейчас? Боюсь, не стал ли он частью бетонных конструкций Мистик Бридж?» — так заканчивалась заметка об исчезнувшем Джо Гримпсоне.

Юлий-то мог рассказать о Джо Гримпсоне гораздо больше. Как-то он поставил старику двойное виски, и Джо поведал ему историю своей жизни... Он вырос в католической семье бостонского адвоката... Во время второй мировой войны воевал и встретил победу в Париже, окончил Принстон, получил диплом архитектора и отправился возводить нечто грандиозное в Пуэрто-Рико. Там он встретил датчанку Сейму, художницу, эссеистку и собирательницу испанского фольклора. После двух посещений кино и трех коктейлей Джо сделал ей предложение, и они поженились. Через год появился сын Питер, а потом дочь Сюзанна.

— Поверьте, это были необыкновенные, совершенно особенные дети,— говорил Джо, не спуская с Юлия бледно-голубых глаз.— Питер — словно соткан из музыки и света. Су — изящная, как косуля... Мы могли быть так счастливы!.. Но Сейма... Я не встречал более властного и ревнивого существа. Однажды я купил детям птицу, золотистого попугая невероятной красоты. Весь вечер мы возились с ним: устраивали жилье и кормушку, бегали за семечками, придумывали ему имя. Дети были так счастливы и возбуждены, что их невозможно было загнать в постель. Утром они проснулись чуть свет и помчались к клетке. Боже! Я никогда не слышал таких рыданий и не видел такого отчаяния. Попугай валялся со свернутой шеей... И это сделала Сейма. «Они забыли поцеловать меня и пожелать спокойной ночи»,— объяснила она. Вы не до-

верите, но дети ее простили. Она имела над ними какую-то странную власть. А я после этого не мог к ней прикоснуться. Я перебрался спать в кабинет, и мы встречались только за обедом. «Передай, пожалуйста, соль, не хочешь ли еще кусочек мяса?» — вот и все, о чем мы могли говорить. Однажды приехала к нам из Бостона моя сестра. В первый вечер после обеда мы стояли с ней на террасе, любуясь заходом солнца. Вошла Сейма, неся чашки, печенье, сливки... в общем, полный поднос. Она увидела, что мы с сестрой стоим обнявшись, грохнула посуду об пол и ушла к себе. Сестра ночевать у нас не осталась, поехала в отель, а наутро улетела домой. Больше я ее не видел, она умерла через два месяца от рака груди. Ей не было еще и тридцати... Она знала, что смертельно больна, и приехала попрощаться.

Мне остался в наследство дом, коллекция картин, в общем, все родительское состояние. И я решил возвращаться в Бостон. Сейма тоже твердила, что ей осточертели пальмы, да и дети радовались предстоящим переменам. Казалось, все наладится. И правда, первые месяцы мы выглядели нормальной семьей. А потом началось сначала — ревность, злоба, откровенная ненависть. Как-то она заявила, что не может куска проглотить в моем присутствии, боится, что я отравлю ее. Господи! Какой я был идиот! После девяти лет жизни с ней я думал, что у нее просто скверный характер, а бедняжка, оказывается, была тяжело больна. Сейчас это называется вялотекущей шизофренией. Но тогда я жалел только себя, каждый день уходил из дома, чтобы не видеть ее, и до глубокой ночи просиживал в барах... И вот однажды меня в баре, кстати, в этом же «Ржавом гвозде», разыскала полиция. У Сеймы случился приступ буйного помешательства. Она плеснула на Питера кипяток из кастрюли, искромсала картины. Оба были в госпитале. А Сюзанну взяли на ночь соседи. От шока она начала заикаться... Питер, слава Богу, легко отделался. Через месяц я привез Сейму из госпиталя. Ее до отвала напичкали лекарствами, она стала кроткая, боялась машин, не выходила из дома. Я с головой погрузился в работу и приходил домой только ночевать. Дети росли сами по себе... В семнадцать лет Питер кончил школу и укатил в Калифорнию. Обещал вернуться

через год, но я никогда его больше не видел. Первое время приходили от него открытки к Рождеству: всегда без обратного адреса. Он писал, что играет на гитаре в какой-то рок-группе. Но вот уже лет десять, как следы его утеряны... А Сюзанна и школы не кончила. В один прекрасный день исчезла из дома, прихватив Сеймины бриллианты. Кто-то видел ее в Нью-Йорке, в Гринвич Вилладже... Но это было очень давно.

По-моему, Сейма не замечала отсутствия детей. Бродила по дому в разодранном халате, иногда из ее комнаты доносились пение и голоса. Однажды она пожаловалась, что кто-то вмонтировал ей в затылок приемник и она не знает, как его отключить. Я позвал психиатра, но она заперлась в спальне и не пустила его... Так мы и жили. А однажды зимой... Лет семь тому назад я вернулся из бара за полночь... и нашел ее мертвой в кухне на полу. Газ был открыт. Так и неизвестно, отравилась ли она нарочно или это был несчастный случай...

Джо Гримпсон допил свое виски.— Простите, милый юноша, что заморочил вам голову. Не каждый согласится выслушать такую длинную историю...

Он улыбнулся, приподнял замусоленную шляпу и вышел из бара.

...Прочтя газетную заметку, Юлий помчался в «Ржавый гвоздь», чтобы предложить свои услуги добровольца в поисках несчастного Джо. Однако бармен, пожилой грек с прагматической душой, охладил его пыл.

— Я уже навел справки. Безнадежное это дело. Полиция отказывается начать розыски без официального запроса родственников. А где их взять? Не было и нет у старика никаких родственников.

— Неправда, есть! У Джо есть дети! Он сам мне говорил!

Бармен только рукой махнул: — Слушал бы ты, парень, больше. Старина Джо был мастер на всякие выдумки. Он и не такое мог наплести. Его подпоить, так и кино никакого не надо. И дипломатом в Боливии он служил, и главарем мафии на Корсике, и иностранным агентом... Враки все это. Так что ты волнуйся не поднимай, а помолись лучше за его душу, сынок.

...В два часа дня Юлий заступал на дежурство. Как это ни странно, но часы работы в «Плазе» бывали наименее мучительными в его жизни. Стоило Юлию Нисону натянуть пурпурную ливрею, как Некто великодушный всеильный делал его душе инъекцию новокаина, лицо его автоматически освещалось приветливой улыбкой, рука легко принимала чаевые, и он научился любезно и без труда произносить самые популярные в этом полушарии слова: «How are you today?» Чемоданы и кофры, которые он таскал от лифта в такси и обратно, бывали не слишком тяжелы, постояльцы «Плазы» тоже, как правило, не вызывали возражений. Элегантно одетые, благоуханные, с несколько утрированным выражением равенства и братства на холеных лицах. От всего их облика веяло суровой школой теннисных кортов и гольфовых полей. Юлий, как личность, естественно, не существовал для них, а принадлежал к роскошному антуражу гостиничного холла. Юлий Нисон также не подозревал о существовании у постояльцев «Плазы» души, человеческих слабостей и жизненных трагедий. Пока на его пути не встретился Айзек Гринблат. А познакомились они так. Мистер Гринблат, приехавший в Бостон на совещание, забыл в холле портфель с документами, и Юлий отнес его к нему в номер. Мистер Гринблат растрогался и совершил нетипичный для себя поступок, а именно: дал Юлию на чай десять долларов. В свою очередь, Юлий тоже совершил нетипичный поступок, а именно: отказался их принять. Вознаграждение показалось ему чрезмерным. Айзек Гринблат был поражен и уловил на Юлином лице признаки мыслей, не свойственные швейцару. Он задал Юлию несколько не слишком банальных вопросов. И вдруг Юлия провало:

— Я эмигрант, и я здесь совершенно один. Наверно, вам трудно представить себе, что это значит? — Юлий почувствовал, как в его горле нарастает ком.

— Отчего же, у меня богатое воображение, — возразил Айзек Гринблат, — к тому же имеется кое-какой личный опыт... — Личный опыт мистера Гринבלата заключался в том, что семья его погибла в Дахау, а он хоть и спасся, но пережил все, что полагается пережить еврею, выходцу из Германии, скрывавшемуся от немцев. Не будь Юлий так сосредоточен на себе,

он бы заметил, что история Европы конца тридцатых — начала сороковых годов отпечаталась на бесстрастном лице мистера Гринблата сетью глубоких морщин. Пережитый шок лишил Айзека возможности иметь женщин, и последние сорок лет он прожил один в Нью-Йорке в окружении многотомных томов своих любимых немецких мыслителей, работал в банке и собирался подать в отставку в ближайшее время. Он давно перестал испытывать к людям сострадание и был немало удивлен, почувствовав к этому рохле (так он окрестил про себя Юлия Нисона) какую-то странную смесь жалости и нежности. Во всяком случае, уезжая, он оставил Юлию визитную карточку с нью-йоркским адресом и телефоном...

И вот однажды, когда жизнь в очередной раз показалась Юлию невыносимой и лишенной какого бы то ни было смысла, он решил прокатиться в Нью-Йорк. Он позвонил мистеру Гринблату и попросил разрешения остановиться у него на два дня. И Айзек так обрадовался и с таким жаром пригласил его, что у Юлия впервые закралось сомнение в исключительности своего одиночества. Он насыпал Фиге кучу собачьих деликатесов, разрешил делать в Гексаэдре все, что ей вздумается, и укатил на выходной.

Был конец августа. Сексуальная кухня 42-й улицы обдала его жаром, запахом пыли, прачечных и попкорна. Сухой ветер метнул ему под ноги обрывки газет и бумажные стаканы. Посреди тротуара слепой негр выводил на саксофоне нечто бесконечно печальное, у его ног дремала пыльная собака-поводырь. Вокруг играли яблочко, продавали бусы и страусовые перья, мимо Юлия промчался на велосипеде равнин с привязанной к багажнику хупой, двое грациозных, как гепарды, негров выписывали, обнявшись, восьмерки на роликах, из всех щелей его манили, зазывали, обольщали. Вот мимо проковылял горбатый старик с нацепленным на шею плакатом: «Аборты — это убийство!» Около какого-то подъезда прямо на асфальте сидела старуха и вязала шарф, зажав между ухом и плечом телефонную трубку. Шнур был протянут в окно первого этажа, на подоконнике притаилась кошка и норовила лапой подцепить шнур. Старуха отрывалась от беседы и вязанья и осыпала кошку проклятьями...

Юлию показалось, что он бывал здесь в прошлой и позапрошлой жизни, что все это он уже видел, знал и любил. Он почувствовал поразительную легкость, которую второпях охарактеризовал как счастье.

Дом мистера Гринблата Юлий нашел без труда. Айзек жил на 85-й улице, в двух шагах от Центрального парка. Очевидно, что он готовился к Юлиному приезду, потому что на столе розовела лососина и ветчина, благоухал целый парад сыров от «Эйбара» и торт из кафе «Эклер». Юлий, разумеется, не подозревал, что этот жест является актом величайшего расположения, во-первых, потому, что понятия не имел о существовании «Эйбара» и его репутации, а во-вторых, не знал, что мистер Гринблат в высшей степени осторожен с деньгами и питается обычно из соседнего супермаркета. Но это не все. Для Юлия была приготовлена целая программа развлечений, включающих посещение Метрополитен-музея, Метрополитен-опера, Фрик, Коллекшин, Гугенхайма и Музея Современного Искусства. Иначе говоря, мистер Гринблат собирался показать Юлию Нисону СВОЙ Нью-Йорк. Желая сделать новому приятелю сюрприз, Айзек ни словом не обмолвился о своих планах до конца завтрака. Не обмолвился он и после, потому что, не успев допить чай с шоколадным тортом, Юлий попросил телефонную книгу.

— Я хочу разыскать своего друга, художника из Москвы. Мне говорили, что он где-то в Нью-Йорке.

Мистер Гринблат достал справочник, и через минуту Васька Крутов был найден в Сохо. Стараясь не вслушиваться в ликующие вопли на незнакомом языке, которые Юлий исторгал в телефонную трубку, Айзек вышел в соседнюю комнату, достал из письменного стола два билета на «Севильского цирюльника» и аккуратно порвал их на четыре части. Затем нашел план нью-йоркского метро и запасной комплект ключей. Он объяснил Юлию, как добраться до Сохо, извинился, что ввиду ужасной занятости не может уделить ему больше времени, и показал особенности дверных замков. Юлий гарцевал от нетерпения, второпях забыл поблагодарить мистера Гринблата и в величайшем возбуждении скатился с лестницы.

Васька Крутов оказался обладателем лофта на Грин-стрит. После часа блужданий в недрах прокоп-

ченных улиц Юлий отыскал подъезд, забаррикадированный мусорными баками и полиэтиленовыми мешками. Один был разодран, и в нем копалось трясущееся создание в отрепьях с колтуном на голове. На ступеньках развалились два черных подростка, над ними нависло облако марихуаны. Юлий перешагнул через переплетенные ноги и забарабанил в дверь. Художник предстал перед ним в лиловой робе и чалме. Правая половина его бороды была абсолютно седая, левая же отливала всеми цветами спектра, что означало, что ее обладатель воспринял «панк» в полном объеме и буквально.

— Привет, Васек,— сказал Юлий и уткнулся дру-гу в плечо. Художник крепко его обнял, и они мину-ту простояли молча. А над ними кружились, плыли и струились искаженные временем и неверной памя-тью арбатские переулки, хащи в «Арагви», мастерская на Сретенке и вся их угарная беспомощная юность...

Лофт был заставлен гигантскими черными полот-нами, на которых бесновались нестерпимо яркие спо-лохи.

— Ого, Васька, ты работаешь в новой манере?

— Да не-ет... Просто возвращаюсь к реализму... Это уже наступает.

— Что именно? — за время общения с персоналом «Плазы» Юлий отвык от бреющего полета мысли сво-его друга.

— Страшный Суд... Неплохой я придумал гиммик?

Юлий не решился спросить, что значит слово «гим-мик», и стал рассматривать другие картины.

— Да не гляди ты на этот коммерческий хлам! — Художник раздраженно повернул к стене натюрмор-ты с битой птицей, серебряными чашами, увядшими хризантемами и истекающими соком гранатами. По мнению Юлия, натюрморты не уступали ни малым, ни большим голландцам.

Васек достал из холодильника бутылку водки, круг сыра «бри» и частичку в томате — символ неутиха-ющей ностальгии. Затем скинул со стола эскизы Страшного Суда и разлил водку в бумажные стаканы.

— Садись, где стоишь, и рассказывай...

Они выпили по первой, и Юлия охватило смутное волнение, знаменующее начало задушевной беседы,

Этакий трепет, знакомый только истинно русской душе.

— Знаешь, Васька, что погубит эту страну? — вдохновенно начал Юлий. — Эту страну погубит отсутствие мистицизма... Мистицизма, который спасет Россию.

— Старик, ты неисправим, — засмеялся Васька Крутов. — От этих мыслей развивается в организме рак... Возьми салфетки на этажерке у телефона.

Юлий подошел к этажерке с телефоном, и он зазвонил.

— Хэлло, — сказал Юлий, но в трубке стояла тишина. Он вернулся к столу, но телефон зазвонил опять.

— погоди, я подойду, — сказал художник. — То никакая сволочь неделями не вспомнит, а то раззвонились... — Но в трубке снова молчали. Васек выдернул из аппарата шнур, и они выпили по второй.

— Ну, с мистицизмом мы разобрались... А сам-то ты как? Акклимался в мире капитала?

Юлий покачал головой: — Представь себе, что с самолетов на землю сбросили без парашютов тысячи кошек. Одни пискнули от страха, но приземлились удачно на все четыре лапы. Оглянулись, облизнулись и бросились за мышью. Другие, не столь удачливые, при падении слегка повредились. Но мелкие травмы заживают быстро... Погрустили, поскулили и... тоже на охоту. А третьи... шмякнулись на брюхо и разбились к чертовой матери... То есть они физически живы, видят, и слышат, и даже могут оценить красоту Новой Англии... но не жизнеспособны. И дни их сочтены. И я как раз в их числе...

— Это тебе Америка, брат, — поддакнул, не вникая, художник и с гордостью оглядел в осколке зеркала свою разноцветную бороду. — Тут, старик, знаешь как... Больной, исцелился сам. А то на врачей башлей не наберешься.

Он взглянул на часы: — Хорошо мы с тобой посидели... Будто и не за океаном.

— Ты что, торопишься? — встрепенулся Юлий.

— Да, понимаешь, один мужик подвалить должен. Вообще-то дерьмо порядочное, манимейкерская машина, но вкладывает в русскую живопись. В Москве я с

такими на одном поле... не садился, а здесь приходится.

Юлий понял, что пора расставаться. За мутным окном наступил вечер. И поскольку угасший день был солнечным и ясным, то, вероятно, на небе зажглись звезды. Обычно в Нью-Йорке этот феномен проходит незамеченным. Гость и хозяин вышли на улицу, и ху дожник проводил Юлия до станции Канал-стрит.

— Ну, бывай, старик, не пропадай надолго,— сказал Васек.— Как ехать, знаешь? — И, не дожидаясь ответа, клюнул Юлия в щеку, развернулся и торопливо зашагал прочь. Юлий глядел ему вслед и думал, что Васька даже не поинтересовался, у кого Юлий остановился в Нью-Йорке, и не спросил его бостонский телефон. Он закурил последнюю сигарету, нырнул под землю, опустил в дырку жетон, прошел по узкому проходу и очутился на совершенно пустой платформе. В ту же секунду мимо, не останавливаясь, промчался поезд. Над его головой круглые часы показывали несусветное время — четверть пятого. Юлий взглянул на свои — было ровно десять. Юлий вдруг вспомнил о мистере Гринблате и почувствовал некое угрызение совести. Прошло минут двадцать. На платформе не появился ни один человек. С ободранных афиш его призывали пить финскую водку, курить Virginia-Slims и носить джинсы Jorgache. Он поискал табличку с названиями поездов. И вдруг за его спиной зазвонил телефон-автомат. Юлий вздрогнул, не оглядываясь, втянув голову в плечи, пошел в противоположный конец платформы, поднялся по лестнице, преследуемый запахом гнили, и оказался на точно такой же безлюдной платформе. Он заглянул в тоннель — ни огонька, ни шума. Юлий почувствовал тошноту, по щекам и спине поползли струйки пота.

— Где же, черт возьми, выход отсюда? — пробормотал он и тотчас увидел в середине платформы табличку «EXIT». Он бросился туда, но наткнулся на решетку, опутанную цепями. За ней блестела лужа, а дальше мрак, но Юлию почудились всхлипывания и бормотанье.

— Эй, кто это там? — по-русски крикнул Юлий. В ответ послышался плач.

Юлий обеими руками схватился за решетку и на

чал ее трясти. Рядом на стене зазвонил телефон-автомат.

— Але, кого вам? — закричал он.

— Is somebody there? — сказал далекий тихий голос. — Я хотел бы с кем-нибудь поговорить, пожалуйста, выслушайте меня...

У Юлия подкосились ноги: он узнал голос пропавшего Джо Гримпсона.

— Джо! Это вы, Джо? Где же вы?

Платформа внезапно и резко накренилась, и Юлий рухнул на мокрый цементный пол, увлекая за собой телефон...

.. В шесть часов утра черный гигант — полицейский Майк Пауэлл — осторожно тронул его носком ботинка. Ему было жаль возвращать парня к жизни слишком быстро. Глядя на вывернутые карманы Юлиных брюк и пиджака, он с сожалением констатировал, что парня, должно быть, обобрали до нитки. Да Юлий и сам предпочел бы не просыпаться, а брести с отцом вдоль василькового поля, вслушиваясь в чирканье и гомон невидимых птиц. Юлий исподтишка пытался разглядеть отцовское лицо, но не мог, потому что оно было покрыто густой мыльной пеной для бритья.

А увидеть это лицо Юлию безумно хотелось — ведь он не помнил отца, вернее, не знал, а точнее, отца у него никогда не было. Существовала версия, что он погиб на фронте. И только после смерти матери, разбирая ее дневники, Юлий узнал правду.

И правда эта была столь невероятна, так не вязалась с образом его мамы Фаины Семеновны Нисон, заведующей отделением детской больницы, заслуженного врача РСФСР, что Юлий горько сожалел, что, всю жизнь прожив с ней под одной крышей, не нашел ни времени, ни желания узнать, что же за человек была его мать.

В 1937 году Фаня Нисон заканчивала педиатрический институт. Была она рыхлой и грузной девицей, страдающей неправильным обменом веществ. Характером отличалась необщительным, даже угрюмым, избегала вечеринок, не имела друзей. Рядом с ней и мужчины-то никогда не видели. Было очевидно, что бедняжке предстоит унылая одинокая жизнь. И вот, ко всеобщему изумлению, на последнем курсе Фаня

забеременела и государственные экзамены сдавала с уже порядочным животом. Вскоре родился у нее сын Юлий Нисон, или Нис, как она называла его в честь мегарского царя, обладавшего, как ее мальчик, огненно-рыжей копной волос. Вопрос «от кого?» страстно обсуждался в кулуарах института, но до правды так и не докопались.

...А блистал в те времена в институте молодой доктор с театральным именем Ричард Сухаржевский. Вероятно, польских кровей. Бог наделил его прекрасной внешностью, талантом, веселым и добрым нравом баловня судьбы. Естественно, что Ричард был предметом вожделения институтских дам в возрастном диапазоне от семнадцати до семидесяти лет. Однако доктор Сухаржевский вовсе не слыл ловеласом; несмотря на легендарную популярность, он выказывал поклонницам свое расположение в основном путем рассеянных улыбок. Доктор Сухаржевский стремительно делал карьеру.

И вот однажды Фаня Нисон остановила Ричарда в коридоре и коротко изложила свою просьбу. Она попросила доктора переночевать у нее.

— Я хочу иметь ребенка... и непременно от вас,— сказала она,— потому что вы самый красивый мужчина, которого мне довелось встретить...

Ни один мускул не дрогнул на ее лице, и смотрела она на доктора Сухаржевского без тени смущения. От неожиданности Ричард окаменел. Не следует забывать, что этот разговор произошел за тридцать лет до того, как в мире произошла сексуальная революция. «Она ненормальная... или шутит»,— подумал он, но промолчал, потому что Фаня не спускала с него бесцветных глаз, в самой глубине которых мелькнуло, как загнанный зверь, и спряталось отчаяние.

— Если ЭТО получится, а узнаю я о результатах недели через три, я никогда вас больше не побеспокою... Если же нет, я попрошу вас об этом одолжении еще раз.

Ее слова и вид не допускали ни возражения, ни насмешки. Доктор Сухаржевский взял Фаину Нисон под руку; они молча вышли из института, сели в троллейбус и поехали в Старопименовский...

Утром, не предложив Ричарду чашки кофе, она проводила его до дверей.

— Я очень признательна вам... Большое спасибо, доктор.— Она даже не назвала его по имени, и в этом «доктор» Ричарду почудилось издевательство.

Он, не прощаясь, хлопнул дверью, но Фаина вышла на лестницу следом.

— Я хочу вас кое о чем предупредить... Мой ребенок, если он родится, не имеет к вам никакого отношения... Очень прошу вас помнить об этом.

— А если ребенок не родится?

Фаина не ответила. Она вошла в квартиру и закрыла за собой дверь. На следующий день они столкнулись в столовой. Фаина Нисон наклонила голову и, не останавливаясь, прошла мимо. Доктор Сухаржевский понять не мог, что с ним происходит. Он постоянно думал о ней. Он узнал расписание ее занятий и, если только бывал свободен, старался оказаться около ее аудитории и попасться ей на глаза. Фаина ни разу не сделала попытки заговорить с ним. Через месяц он подкараулил ее около институтского выхода. Простое любопытство его мучило или что-то другое, чему названия он не знал.

— Здравствуйте, Фаина... Вы ничего не хотите мне сказать?

— Нет... Ничего, что было бы вам интересно.

— Можно мне проводить вас?

— Меня? — Она засмеялась.— Могу себе представить этот шок, когда из окон увидят парочку — Фаину Нисон с Ричардом Сухаржевским.

— Фаина, вы беременны или нет?

Она дернула себя за полу старой изношенной шубы: — Об этом я разговариваю только со своим гинекологом... Извините, я тороплюсь, доктор.

...Она была беременна, и вскоре после окончания института родился Юлий. И, узнав об этом, доктор Сухаржевский словно помешался. Он звонил ей по пять раз в день, но Фаина вешала трубку. Он дождался ее у подъезда, но она не желала даже остановиться на минуту.

— Что мне за дело до этой озлобленной бабы? — спрашивал себя доктор Сухаржевский.— Что мне от нее надо? Да наплевать на нее, я хочу видеть сына.— Это была неправда, он хотел видеть ее, он неотступно думал о ней...

...Она сидит на диване в зеленом фланелевом ха-

лате. Он подходит, встает на колени, расстегивает халат, легко и осторожно проводит рукой по ее полной шее и полной груди. Он очень долго и медленно гладит ее, не спуская глаз с лица, которое он заставит стать беспомощным и просящим. Он не будет гасить свет, он не будет спешить, и он не придет к ней, пока не почувствует, как вздрагивает и бьется под его ладонями большое мягкое Фаино тело.

...Однажды он застал ее врасплох с коляской в садике напротив дома и стал требовать, чтобы она показала ему ребенка.

— Уйдите, Ричард, уйдите по-хорошему,— тихо сказала она, стараясь не привлекать внимания сидящих неподалеку бабок. Но доктор взялся за коляску и попытался отвернуть краешек одеяла. Фаина вскочила со скамейки и так истошно закричала, что прибежал милиционер и Ричарда увезли в участок.

— Монстр, проклятый монстр!— вопил доктор Сухаржевский, когда его усаживали в «воронок».

С тех пор судьба его пошла под откос. Он начал пить, опаздывать на работу, пропускать дежурства. Продолжалось это недолго. Вскоре доктор Сухаржевский бесследно исчез... Стоял 1938 год.

Между Юлием и матерью никогда не было настоящей близости. Наверно, она не рассчитала своих сил. Любви ее с избытком хватало на чужих детей. Фаина Семеновна, действительно, была первоклассным педиатром. На сына нежности не осталось. Она добросовестно исполняла свой материнский долг: следила, чтобы он был сыт, чисто вымыт и тщательно одет. Во время войны, работая главным врачом в интернате на Урале, она строго-настрого запретила Юлию называть себя мамой.

— У трехсот детей здесь мам нет,— внушала Фаина Семеновна пятилетнему сыну.— И ты не должен быть исключением. Для тебя, как и для всех детей,— доктор тетя Фаня... Запомни это.

И внешне Юлий был копией своей матери — такой же рыжий и такой же рыхлый. Казалось, Ричард Сухаржевский и в самом деле не участвовал в его создании, учился Юлий неровно, читал запоем, но беспорядочно, был добродушен, ленив и не тщеславен. Мать не ругала его за двойки, не хвалила за успехи, не баловала дорогими игрушками, хотя зарабатывала

порядочно. Юлий не помнит, чтобы мать когда-нибудь его поцеловала. Кто знает, может быть, она была в нем разочарована. И к выбору Юлиной профессии, друзей и жены Фаина Семеновна отнеслась равнодушно и корректно.

Так и жили они в одной квартире, «не пересекаясь», пока Москву не охватил эмиграционный синдром. И тут Фаина Семеновна в первый и единственный раз высказала свою точку зрения: «Уезжайте как можно скорее. И я поеду с вами, если не возражаете. Мешать и путаться у вас под ногами я не буду».

Но Юлию, прежде чем решиться, понадобилось три года. За это время жена и дочь его покинули, а Фаина Семеновна сильно сдала. Занятый своими терзаниями, Юлий не замечал, как часто его мама держит под языком валидол, какие опухшие у нее ноги, как медленно поднимается она на четвертый этаж, как подолгу стоит на лестничных площадках.

Когда же, наконец, Юлий отважился подать документы, Фаина Семеновна сказала: — Боюсь, что мне уже поздно, дружок. Уезжай, устраивайся, а там посмотрим. Пока что я останусь здесь.

...И осталась... Неделю спустя позвонили из больницы, где она работала, и спросили, не заболела ли доктор Нисон. Уже половина одиннадцатого, а ее еще нет. Юлий заглянул к матери в комнату. Фаина Семеновна лежала на высоко взбитых подушках. Рыжие с проседью волосы были причесаны, руки покоились поверх одеяла и уже окоченели. Врачи констатировали инфаркт.

Через несколько дней после похорон, достаточно пышных для пожилой еврейки в разгар эмиграции, Юлий позвонил единственной близкой приятельнице Фаины Семеновны и предложил, если угодно, забрать ее вещи. Наутро опустели ее комод и шкаф, еще через два дня вынесли мебель из ее комнаты, а вскоре выветрился и мамин запах, с детства раздражающий Юлию терпкий запах духов «Красный мак».

Итак, Юлий с отцом брели вдоль василькового поля, а оно ширилось, и васильки становились все выше, и гладили мягкими лепестками его лицо, и све-

шивались откуда-то с синего неба. Их раскачивал ветер, и, касаясь друг друга, они издавали жалобный протяжный звон. Этот звон заполнял все вокруг, заглушая и гомон птиц, и то, что говорил ему отец. Юлий вслушивался в обрывки фраз «ничья вина», «сильнее обстоятельства», «напрасные жертвы» и думал, как бы изловчиться и стереть мыльную пену с отцовского лица.

«Рукавом, проще всего рукавом»,— решил Юлий и резко поднял руку. Отец испугался, отпрянул, и пена на его лице начала съезживаться, зеленеть и затвердела, как маска. На отцовской голове появился венчик из васильков—такие плели девчонки в пионерском лагере,—но, приглядевшись, Юлий увидел, что это вовсе не васильки, а синие розы. И они испускают сильный яркий свет.

— Папа, где ты был все это время?— спросил Юлий. Отец не ответил. Он предостерегающе поднял палец—молчи, мол, нас могут услышать,—повернулся и побрел прочь. Высокий, сутулый и усталый. Юлий пошел за ним, но отец оглянулся, поднял что-то с земли и угрожающе помахал в воздухе. Юлий увидел, что это топор. «За что?»—закричал он и пригнулся. Топор со свистом пролетел над его головой и упал где-то рядом. Юлий подполз ближе, схватил его и... проснулся. Обеими руками он держался за ботинок полицейского Майка Пауэлла.

— Вставай, парень,—сказал полицейский.—И проваливай отсюда, на свежем воздухе тебе полегчает.—Он поднял Юлия за шкурку и легко поставил на ноги. Он был слишком опытен и слишком ленив, чтобы спрашивать у Юлия документы, и уж, конечно, не желал присутствовать при том, как бедняга обнаружит пропажу своего бумажника и денег.хлопот навалом, а толку никакого...

Около десяти часов вечера мистер Гринблат начал беспокоиться. Вначале это давно забытое чувство было ему приятно. Хотя Айзек был родом из Германии, в нем текла беспримесная еврейская кровь, а это означало, что в глубине души мистер Гринблат был а Jewish Mother. Вместо того чтобы в половине одиннадцатого лечь в постель с кипой «Нью-Йорк таймс», Айзек поставил на плиту чайник, накрыл на стол и уселся у окна. 85-ю улицу оживленной не назовешь,

Каждая тормозящая машина могла оказаться такси, привезшим его загулявшего гостя. К полуночи мистер Гринблат разнервничался не на шутку. Он решил, что мальчишка заблудился в омерзительной клоаке (так он именовал самую передовую в мире кузницу современного искусства) и на него напали черномазые обезьяны. Неизвестно, простится ли мистеру Гринблату на колесах этот расистский душок. Всего лишь сорок лет назад именно в этих выражениях высказывались о нем и его близких кочегары Освенцима и Дахау...

В два часа он лег, но сон не шел. Он ворочался с боку на бок, кряхтя слезал с постели и подходил к окну. Сердце ныло, испариной покрывался лоб.

— Не спать тебе до утра,— вынес Айзек себе приговор, достал из газетной кучи секцию «Бизнес» и... тотчас задремал с очками на носу.

Разбудил его настойчивый звонок. Мистер Гринблат вскопчил взъерошенный, дрожащий и стал растерянно озираться, не сразу вернувшись из прокуренного барака, куда занес его короткий тяжелый сон. В углу захрипели и неуверенно пробили восемь старинные часы. Звонок повторился. Мистер Гринблат натянул халат, пригладил лохмы, провел рукой по щекам, убедился, что он не брит, нажал кнопку, открывающую в подъезде дверь, и с любезной улыбкой вышел на лестницу. На площадке остановился лифт, и перед мистером Гринблатом предстал Юлий Нисон.

— Доброе утро, доброе утро! Как провели вчерашний день? — спросил Айзек, ощупывая глазами опухшее лицо и замызганный костюм своего гостя.

— Спасибо, чудесно, мистер Гринблат... Встретился со старыми друзьями, и мы до утра проболтали. Кстати, я пытался дозвониться до вас, но телефон не отвечал.

— Неудивительно. Я был приглашен на ужин и вернулся около полуночи. И не прислушивался к звонкам. Я ведь дал вам ключи, не правда ли?

Вопрос о ключах Юлий пропустил мимо ушей и попросил разрешения принять душ. Стоя под обжигающими струями, которые смывали с него кошмар вчерашней ночи, он вяло соображал, как же ему добраться до Бостона. В пропавшем бумажнике были все его деньги и автобусный билет. Ни объясняться с ми-

стером Гринблатом, ни звонить Васке Крутову ему категорически не хотелось.

— Однако вы не выглядите счастливым после встречи с друзьями,— сказал за завтраком мистер Гринблат.— А как сложилась в эмиграции их судьба?

Его наивная провокация удалась на славу.

— По правде говоря, не знаю... Я видел только одного... И лучше бы я его не видел.

Айзек поднял бровь, выражая недоумение.

— Оказалось, что нам не о чем говорить. Я эмигрировал,— а он просто поменял адрес. Он стал чужим... и одержим идеей финансового успеха. А ведь он талантливый...

— И чем одержимы вы, если не секрет?

— Комплексом неполноценности. Я прямо чувствую, кои комплексы торчат, как шипы.

— А шипов комплекса величия вы не чувствуете?

— О нет... Я как бы изучаю себя со стороны, ну, знаете, как червяка на предметном стекле. И вижу, как он извивается, пытаюсь придать себе пристойную форму. Там, дома, я жил в коконе, окруженный семьей, друзьями, привычной средой. Было некому и невозможно оценить, что я такое на самом деле. А тут очистился от шелухи и оказался в беспримесной, лабораторной ситуации. Все время думаю, кто я, зачем живу, что хочу, на что способен...

— Научиться думать— это огромное достижение,— усмехнулся Айзек.— Хотя, конечно, процесс довольно болезненный. Но, позвольте спросить, почему вы уехали?

— Все, что бы я ни сказал, прозвучит высокопарно и банально... Самореализация, свобода. А реализовывать, как оказалось, нечего... И воздух свободы душит, как веревка. Понятия не имею, что делать с ней и с собой.

— И дома, в Москве, знали?

— Во всяком случае, я знал, кого винить. Кем считали меня? Второсортным евреем, чужаком, инородным телом. И я даже гордился этим, щеголял, что ли... Но здесь виноватых нет, а я еще более чужой и инородный.

— Вы не правы, мой друг, Америка тем и замечательна, что она не монолит, а конгломерат. Шагните в нее и просто начните жить.

— И первым шагом должен быть поход к психиатру,— Юлий не удержался и рассказал о мытарствах прошлой ночи. Мистер Гринблат слушал, не перебивая, а потом вышел в соседнюю комнату и на всякий случай выдернул из аппарата шнур.

— Итак, у вас не осталось ни цента,— сказал он, возвращаясь в столовую.— Надеюсь, вы не откажетесь от моей помощи?..— Легкость, с которой он предложил деньги, поразила его самого. Как, впрочем, поражает все, что случается впервые в жизни.

— Спасибо, Айзек, я очень тронут... и виноват перед вами... Вот, ключи потерял.— Он впервые назвал старика Айзеком, и это не осталось незамеченным.

— Пустяки, мой друг. Но вы же совсем не видели Нью-Йорка. Может, останетесь? Или переезжайте ко мне совсем...

— Да что вы! У меня там собака одна и завтра с утра на работу.— Юлий засмеялся, поперхнулся и, не будучи грациозным, пролил на скатерть кофе. Коричневое пятно, расплывшееся по белоснежному полю, не только не привело мистера Гринблата в отчаяние, но, напротив, развеселило его. Направляясь на кухню за тряпкой, он поймал себя на том, что впервые за тридцать лет мурлычет какой-то вульгарный немецкий мотивчик. А Юлий в этот момент изнывал от неловкости и стыда. «Что он может чувствовать ко мне, кроме отвращения и брезгливости?» Как обычно, чуткий к себе самому, он не уловил «теплых вибраций», исходящих от человека на расстоянии вытянутой руки.

На сборы ушло минут пять. Мистеру Гринблату хотелось проводить Юлия до автобусного вокзала, но он побоялся показаться навязчивым. Он вручил своему гостю 50 долларов — больше Юлий отказался взять наотрез — и вышел на площадку вызвать лифт. Когда скрипучая клетка поехала вниз, Айзек почувствовал себя путником, брошенным в расщелине скалы с переломанной ногой. «Ну-с, кто помянет добрым словом старого Айзека после того, как его останки увезут представители городских властей? — спросил себя мистер Гринблат, запахнув халат и усаживаясь в кресло. После волнений вчерашней ночи он ощутил озноб и слабость.— Ни одна живая душа на свете не знает, по какому обряду хоронить тебя... Так что пожалуйста прямо в печку... И вообще, кому в этой жизни твое

существование доставило радость? Чье лицо осветилось улыбкой при упоминании твоего имени... То-то и оно...»

Он встал с кресла, покружил по комнате, подошел к буфету и плеснул в стакан неразбавленного виски. Для педанта такого масштаба подобный поступок, совершенный в десять утра, мог расцениваться, как безумный.

«А какие же чувства, уважаемый мистер Гринблат, довелось испытать тебе самому?..» Мысленный перечень чувств не доставил ему никакого удовольствия. Айзек отхлебнул виски, вошел в ванную и уставился в зеркало. На него смотрело худощавое, изрезанное морщинами лицо с крупным хрящеватым носом и намешливыми глазами. Лицо человека, прожившего без иллюзий.

«Посеянные в твою детскую душу зерна участия и сострадания, вероятно, дали ростки. А ты надежно запрятал их в сейф, отлитый из сарказма. Но им, кажется, удалось выжить и произрасти в тропическую пальму... Ну что, скажи на милость, тебе до этого рыжего растяпы?»

При мысли о Юлии Нисоне у мистера Гринблата защемило сердце.

«У тебя мог быть такой сын... Да что ты раскис? У тебя могло быть пять, десять сыновей и столько же дочек, нерях, хапуг и проституток. И три жены с мигренями, гастритами, братьями и тещами. И конечно, со скандалами и алиментами. И где бы были сейчас твои денежки?»

Было бы преувеличением назвать мистера Гринблата богачом, однако 85 тысяч, собранных путем суровой экономии и умелой игры на бирже, вселяли в него чувство уверенности.

«По крайней мере, когда хватит паралич, позволю себе роскошь догнивать в комфортабельном нерсинг хоме...» При мысли о старческом доме у него холодели кончики пальцев.

«И куда же ты, собственно, старая лиса, клонишь? Только не увиливай. А хочешь ты, дорогой мой, чтобы русский мальчишка переехал к тебе. Слушал бы твои бредни о зерновом эмбарго и событиях на Ближнем Востоке, грыз бы с тобой заржавевшие куски курицы и терпел твои старческие капризы. И за все эти

муки, когда ты отдашь концы, он найдет завещаньице на свое имя. Интересно, верит ли он в Бога? Если нет, то сразу и поверит. Чтобы было кого благодарить... Эх, Айзек Гринблат, Айзек Гринблат, святая душа. Нет пределов твоему благородству... А ты вот оставь мальчишку в покое, а денежки ему завещай. Рука дающего, как известно, не оскудеет. Особенно если это рука скелета».

Учиненный самосуд в комбинации с утренним виси изрядно утомил мистера Гринблата, и он отправился в постель. При этом мельком взглянул на часы и высчитал, в котором часу Юлий приедет в Бостон. «Непременно позвоню и узнаю, как он добрался до дома», — пробормотал он и тотчас глубоко уснул...

В ту самую минуту, как Юлий Нисон уселся в междугородный автобус, существование на этой планете мистера Гринблата вылетело у него из головы. Рядом с ним на сиденье устроился человек примерно его лет, загорелый, спортивный, в глубоко расстегнутой белой рубашке и ладно сидящих вельветовых джинсах. От него веяло уверенностью и здоровьем, и Юлий стал гадать, из какой семьи и чем занимается его сосед. Он мог быть и бизнесменом, и программистом, и музыкантом, и профессором — у всех на лицах приветливая безмятежность... ни тебе сомнений, ни тебе страданий. Однако была и характерная черточка в виде зеленой шляпы с павлиньим пером.

«Ты банковский клерк из Техаса и ты в отпуске», — догадался Юлий.

Незнакомец вытащил из сумки книжку, Юлий скосил глаза на название. Это был гоголевский «Ревизор». Ничего себе клерк из Техаса!

— Вот не подумал бы, что в этой стране читают «Ревизора», — пробормотал он.

— Никто и не читает, — незнакомец весело взглянул на Юлия и даже подмигнул: — А я вот собираюсь его поставить в Бостоне.

— Вы режиссер?

— А кто его знает, увидим после премьеры. Вообще-то я изучал экономику в Йеле, благо у родителей куча денег. Вытряхнул их порядочно, да так ничего и не кончил. Ни ума, ни терпения не хватило. Работал официантом, потом купил ферму в Австралии... Разорился молниеносно, коров от овец отличить

не мог... Родители прислали денег на обратную дорогу, но я уехал в Кению. Отлавливал зверей для Гамбургского зоопарка. Замечательная была работа, но пришлось бросить: не поладил с одним клиентом из семейства кошачьих.— Он отвернул рукав, и Юлий увидел шрам, косо пересекающий руку молодого человека от локтя до запястья.— Ну, а потом я уехал в Париж. Купил прогулочный катер и два сезона катал по Сене туристов. Это было полезно, я выучил французский язык. В Париже я познакомился с англичанкой, влюбился без памяти и отправился за ней в Лондон. Ее отец держал книжную лавку, и я работал у него продавцом. Очень много книг прочел, вы не поверите, но я прочел всего Шекспира и сам даже написал пьесу. Дэзи, моя девушка, говорила, что не хуже Пристли. Мы пытались продать мою пьесу, но ничего не вышло. А все же я понял, что театр — мое призвание. И я вернулся домой и окончил отделение драмы в Массачусетском университете. Угадайте, какую роль мне дали в дипломном спектакле?

— Судя по вашей внешности, что-нибудь героическое.

— Я сыграл Гамлета. После спектакля мой профессор, потрясающий, кстати, парень, пригласил меня ужинать. И знаете, что он сказал? «Послушай, Стив, я преподаю драму двадцать три года. Я видел «Гамлета» во всех странах мира, включая Экваториальную Африку, Советский Таджикистан и Соломоновы Острова. Ты самый плохой, самый бездарный Гамлет в истории драматического театра». — «Что ж, — говорю, — теперь делать? Мне без театра не жить». И он посоветовал мне заняться режиссурой. Но как? Нужно снимать помещение, найти ребят, сколотить группу, платить зарплату. На все нужны деньги, а старики мои слышать об этом не хотели. В общем, я отправился в Голливуд. Окончил школу трюковых актеров и два года дублировал «звезд». Платили мне кучу денег, и теперь я в порядке... Вот еду домой ставить любимую свою пьесу...

Стив тараторил без умолку: и о «потрясающем» парне, который написал для «Ревизора» музыку, и о другом, который придумал «потрясающие» декорации, и о «самом потрясающем», который будет играть Хлеstackова.

Юлий слушал восторженные Стивовы рассказы, прикрыв глаза, и грызли его зависть, и жалость, и горечь, и презрение к себе. Вот что значит «родиться свободным», не терять ни секунды из отпущенной тебе жизни и быть хозяином своей судьбы. Вот что можно успеть, если не валяться с переполненной пепельницей на животе, проклиная континенты по обе стороны Атлантики.

— Вы знаете, Стив, я русский... Возможно, мои советы смогли бы оказаться полезными...

— Правда? Это же потрясающе, просто невероятно! Я чувствовал, что мне повезет с самого начала! Давайте ваш телефон, и на днях позвоню.

Когда автобус подошел к Бостонскому вокзалу, Стив пулей взлетел с места, приподнял диковинную свою шляпу и, поклявшись, что будет «ин тач», смешался с толпой. Юлий хотел было выскочить вместе с ним, но замешкался в проходе, пропуская негритянку с кучей детей. Когда же, наконец, он добрался до двери, то заметил на ступеньке автобуса оброненный Стивом клочок бумажки со своим телефоном...

В воскресенье под вечер движение на Юлиной улице замирает. Автомобили уже привезли своих хозяев с пляжей и пикников и пришвартовались к тротуарам. В окнах мелькали голубые блики телевизоров, и оттуда доносились предсмертные вопли, автоматные очереди и дьявольский смех. Перед Юлиным домом разгружали грузовик с мебелью.

Юлий вошел в подъезд и сунул палец в дырку почтового ящика. Разумеется, там было пусто. Но что-то в металлическом ряду этих ящиков показалось ему необычным. Это «что-то» было полоской бумаги, небрежно прицепленной поперек соседнего ящика. Связав этот факт с разгружающимся грузовиком, Юлий сообразил, что кто-то въехал на площадку напротив его квартиры.

— Ну-с, и кого мне черт послал в соседи,— близоруко прищурился он, пытаясь разобрать фамилию. Красные буквы на белой полоске разъехались, потом собрались в гармошку и снова выстроились в чинный ряд, провозглашая

СЮЗАННА ГРИМПСОН

— О Господи,— пробормотал Юлий и, держась за перила, начал медленно подниматься наверх. И тут он услышал сперва повизгивание, а потом безумный, захлебывающийся Фигин лай. Дверь напротив его квартиры была открыта настежь, в проходе стояли старинные клавишины. Юлий сел на корточки и стал искать под ковриком свой ключ.

— Ка-ак хорошо, что вы, наконец, приехали,— раздался за его спиной чуть заикающийся женский голос.— Ваша собака ужасно грустила. Если бы я знала, что вы оставляете тут ключ, я взяла бы ее погулять.

Юлий вздрогнул и вскочил так внезапно, что в спине его что-то клацнуло, и он рывкнул от боли, так и не открыв свою дверь. За ней бушевала, задыхаясь от страсти, его Ифигения. На площадке стояла девушка. Одета она была во что-то легкое и светлое, и волосы у нее были светлые, и светлые глаза, и звонкий светлый смех, с которым она, взмахнув рукой, вскричала: — Да открывайте скорей дверь, не мучьте собаку!

Юлий что-то промычал, повернул ключ и юркнул во тьму Гексаэдра.

В центре на полу темнели свидетельства Фигиноного одиночества. В углу валялась кипа старых газет. Из крана с удручающей равномерностью капала вода, минуя, однако, лежащую на боку кружку с тропинкой застывшего кофе. Немытые окна едва пропускали свет, в воздухе витал легкий запах тараканьей смерти. Ифигения скакала, как резиновый мяч, норовя поцеловать Юлия в губы. Почему-то он пнул ее ногой, и Фига, заскулив, забилась под стол. Юлию захотелось выпить, но мерцающая на подоконнике водочная бутылка была безнадежно пуста. Он открыл холодильник и встретился с тарелкой недоеденной вермишели и бутылкой кетчупа. В поле зрения не валялось ни одного окурка — в приливе случайного «чистостолубия» он вытряхнул перед отъездом пепельницу. Юлий повалился на диван.

— Да придет ли этому конец? — простонал он, определенно имея в виду свое существование.— Кончится ли когда-нибудь этот бессмысленный бред? — спросил патетически у чернеющего рядом телефона. Ответом был пронзительный звонок. Юлий взлетел с дивана.— Гулять, Фига, гулять! — заорал он, спаса-

ясь от новой угрозы. Собака юлой вертелась у его ног, телефон продолжал надрываться.— Возьми себя в руки, параноик,— приказал себе Юлий и снял трубку.

— Добрый вечер, говорит Айзек Гринблат. Надеюсь, вы доехали без приключений?

— О, большое спасибо, мистер Гринблат, я уже полчаса, как дома.

Юлий тяжело дышал, у него тряслись руки.

— Ну и прекрасно, приезжайте снова. И... позвоните как-нибудь, если будет время. Только, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните «коллект». Всего доброго, мой друг, не забывайте старика...— Мистер Гринблат повесил трубку.

Юлий взял собаку на поводок и вышел на лестницу. Дверь напротив была закрыта. Он на цыпочках спустился вниз и покосился на почтовый ящик. Надпись не исчезла. Юлий пересек улицу и уставился в окна ее квартиры: там было темно. Юлий дошел до школьного парка и выпустил Фигу на свободу. Обезумевшая от счастья Ифигения понеслась по аллее, насмерть распугав белок, не успевших вовремя убраться с дороги. Юлий остановился у ограды. Перед ним поднималась живая стена сумаха с вертикально торчащими шоколадными шишками. Некоторые уже побагровели, да и в темной зелени он заметил несколько пурпурных, как языки пламени, листочков. Закатное солнце уже набросило на кроны вязов золотистую паутину, над Юлиной головой бесшабашно перекликались птицы.

— Не майся дурью,— строго сказал себе Юлий Нисон.— Дочери Джо Гримпсона, если она когда-нибудь существовала, теперь должно быть около сорока лет. И печень ее истерзана наркотиками. А девочка эта... Сюзанн Гримпсонов в Америке столько же, сколько в России Валь Петровых или Тань Смирновых... Десятки тысяч... Проверь по телефонной книге...

Юлий глубоко вздохнул и внезапно ощутил влажный, теплый, еле уловимый запах осени. И в голову его пришли давно забытые гениальные слова.

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день.
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась...

Юлий Нисон без всякой видимой причины улыбнулся, на глаза его навернулись слезы. И так как мир вокруг себя он воспринимал не непосредственно, а через магический кристалл киноассоциаций, то тут же вспомнил, что так же сквозь слезы улыбались Мазина в «Ночах Кабирии» и Чаплин в «Огнях Большого Города». Неуверенная, робкая улыбка, поднимающаяся в последних кадрах из глубины их растоптанных, раздавленных душ, несомненно, означала надежду на грядущее чудо.

Недаром же много лет назад писал об этих улыбках в своих газетных рецензиях московский кинокритик Юлий Нисон.

Гленко — Бостон, 1981

Геннадий Покрасс

ДИКАРЬ

Перед Саратовским военно-морским подготовительным училищем — огромное кладбище. В увольнение через него идти весело, а возвращаться в училище — грустно.

Наш командир роты капитан-лейтенант Мондрус, по прозвищу «Папа Мондрус», говорит:

— В городе по одному не ходить, по бабам тараканами не расползаться! Смирно! Отрастили, понимаешь, яйца по графину... Разойдись!

Мы топаем в город Энгельс, с удовольствием вспоминая замечание «Папы Мондруса», что у него третья дырка родилась — это он о третьей дочери. Большинству из нас не больше 15 лет, и «Папа» нам в отцы годится.

Ко мне у «Папы Мондруса» отношение особое. Мой отец приезжал со мной в Энгельс, выпивал с ним, и тот обещал обо мне позаботиться.

— Я к нему «Рыло» приставлю, — сказал тогда «Папа Мондрус».

Рыло — это прозвище старшины роты, у которого расстояние между скулами равно ширине плеч многих из нас.

Заботу «Папы» я ощутил на приемных экзаменах,

парень, у которого я все списал по алгебре, получил 2, а я 4. Каждый раз, когда «Папа» заставлял меня за игрой в шашки, он басил:

— Я обещал вашему отцу сделать из вас человека! Идите в спортзал драться (я занимался боксом). Шашки — это игра для беременных женщин!

Большое влияние на нас оказывали бывшие юнги — на 4—5 лет нас, воспитанов (воспитанников), старше и с богатым половым и уголовным опытом. За свежие наколки нас карали, и я свел азотной кислотой якорь на руке, зато подрядил одного юнгача (юнгу) за бутылку изобразить на моей ляжке парусник с чайкой. Работал он в котельной училища после отбоя, но котельщик стукнул, и утром построили роту.

— Кому ночью в котельной делали наколку на ноге? — спросил «Папа Мондрус» и завопил: — Два шага вперед!

Воспитанники косились друг на друга, не поворачивая головы.

— Сейчас заставлю всех спустить брюки и увижу сам! — взревел «Папа». — Тогда будет хуже!

Я сделал два шага вперед. «Папа» побагровел.

— Ко мне в каюту, — сказал он.

Кабинеты в училище называли по-морскому.

— Спускай брюки, — сказал «Папа», после чего с презрением уставился на парусник, плывущий по красной воспаленной коже.

— Что это за варварство? — спросил «Папа», у которого все руки и грудь были в татуировке. — Вы что, дикий человек! Вы что, в Америке живете? Посмотрите на себя!

Я посмотрел на свою ляжку.

— Разве это наколка? Где тени, где тонкость линий? Накалывали небось тремя иголками, что валенки подшивают? Дикарь! Месяц без берега!

— Есть, «месяц без берега», — ответил я, думая о том, как буду ходить в самоволку.

— А за самоволку покараю жестоко, — добавил «Папа».

КРЫСЫ

Одно время крысы в нашем училище — в нашей Саратовской подготи (подготовительное училище), раз-

множились по-ударному. В гальюне на 24 очка они даже при свете с визгом выкатывались из-под ног, находя порой гибель от геройского удара кирзовым ботинком.

Эти ботинки были тяжелы, как казенная доля, и носили их только под портянки. Прозвище этим ботинкам — «гады». Босиком, без «гадов», в гальюн ходили только за славой.

Вечером, после ужина, на камбузе, хотя и оттертом от жиров, крысы прямо-таки визжали от счастья. Часто они и днем бегали по веревкам, натянутым над огромными котлами. На этих веревках ночью сушились халаты офицанток.

Наш кок — бывший сверхсрочник, старый маричман, был близорук, но очки носить стеснялся. Он всегда был под балдой, и нам это нравилось. Положение его при училище было прочным: он делал торты для начальства, по слухам — очень вкусные.

Иногда мы были довольны, что он не носит очков, иногда обижались: все зависело от размеров мяса — «мянца», в бачке, т. е. в кастрюле. В столовой мясо это мы разыгрывали «на морского» — выбрасывали по команде пальцы на руке, счет по часовой стрелке, с бачкового. Из семи человек за столом гужевались те, кому первому выпадало и следующему за ним.

— Ребята, мянцо! — объявил Салават Муджахединов, парень крепкий, но от вида крови — один раз ему заехали ручкой швабры по румпелю (носу) — терял сознание.

— На морского! Считаем с «Кисы»! (Так звали Киселева). Раз, два, три!

Досталось Салавату и мне.

Муджахединов подцепил половником разбухшую черноту.

— Братцы! Крыса!

На половнике, свесив лапки и уронив оскаленную морду, покоилась крыса. Жир капал с ее хвоста.

Салават стеснялся своего нерусского происхождения, но здесь что-то залопотал по-своему.

— Что же это, ребята? — негодующе закричал Юрка Павлов. — Крысами кормят, а мясо сами жрут! — Юрка всхлипнул.

Уставившись друг на друга, мы стали блевать под

стол, но Салават, уронив крысу в кастрюлю, обложил весь стол сверху.

— Полундра! — заорал кто-то.

Старшина Чумичка — бывают такие фамилии — даже не пресек движения за другими столами: воспитоны бросились смотреть на отварную крысу и тут же со стоном выбрасывали солянку, которой мы пропитались.

— Марш на место! Свиристествовать буду! — командовал, наконец, Чумичка и сам стал с визгом травить.

— Кому крысу затолкать! — протрубил Носов, оттаяв на месте.

Горя мщением, воспитанники ринулись на камбуз.

— Отставить! — В дверях стоял старлей — дежурный офицер.

— Товарищ старший лейтенант! — истерично заголосил Павлов, обливаясь слезами. — Можно вас подойти сюда!

Так и сказал «можно вас подойти сюда». Впоследствии в училище это стало крылатым выражением, вроде «перестань сказать», «замолчи свой рот», «и у старухи бывает прореха» и другие. Чаще всего такие выражения впервые употребляло начальство, а мы подхватывали.

— Что это? — спросил старлей у бледного старшины роты.

— Вредительство! — дрожащим голосом ответил Чумичка.

— В бачке что?

— Крыса!!! — вскричали воспитанники хором.

— Почему крыса? — теряясь, спросил дежурный офицер и командовал: — Кока — под арест! Перекрыть все окна и двери!

Наша столовая размещалась в подвале, и окна напоминали удлиненные форточки, через которые не пролез бы самый мелкий воспитанник.

Как стало позже известно, кок махнул через забор и бежал от расправы. Бежал в очках. Когда началась облава и был вызван начальник училища, кок уже сдавался милиции. Больше мы его не видели.

В училище сменили всю интендантскую службу, начальника училища послали на повышение, его заместителя по политчасти разжаловали за недостаточную

воспитательную работу и потерю политической бдительности. Комиссии из Москвы приезжали одна за другой.

— Как кормят? — заботливо спросил очередной чин, прогнав для демократичности старшину роты в другой конец столовой.

— Хорошо кормят! — четко ответил Носов.

— Хватает?

— Остается!

— Что с остатками делаете?

— Доедаем!

Чин заулыбался, и его свита дружно просияла.

— Какие пожелания?

— Хотим побыстрее приступить к морской практике, — ответил за всех Носов.

Практику мы проходили на Волге, жили в палатках в лесу, недалеко от двух деревень.

— Хотим также помочь труженикам полей с уборкой урожая, — добавил Носов, у которого с прошлого года в каждой деревне было по сорокуле — 40-летней вдове.

— Труд облагораживает человека, хотя и делает его горбатым, — потихоньку сказал Павлов.

— Молодцы, — сказал чин, и все офицеры поощрительно закивали.

— «Люди военные — люди свободные, что нам прикажут — того захотим», — забормотал ядовитый Павлов.

— Вы что-то сказали? — обратился чин к Павлову.

— «Варяга» в этом году показывали 36 раз и «Чапаева» — 28 раз, — смело сказал Павлов.

— Эти фильмы имеют большое воспитательное значение, — сказал чин, — но мера нужна, конечно, во всем.

Сразу несколько сопровождающих сделало отметки в блокнотах.

— Мы это обсудим, — пообещал чин. — Не командуйте! — Он повернулся к раздувавшемуся Чумичке: тот набрал воздух, чтобы грозно, но почтительно гавкнуть в спину руководства: «Встать! Смирно!»

— Продолжайте прием пищи, — задушевно сказал нам чин.

Мы застучали оловянными ложками.

МЫ И ОНИ

В нашем Саратовском училище офицеры-воспитатели пили по-черному, но скрытно, чтобы не увлечь примером подчиненных. Но мы, 15—18-летние воспитанники, все равно узнавали обо всем: офицерские бараки были на территории училища. Да и великовозрастные бывшие юнги, которых мы слушали с разинутыми ртами, такой романтикой окутали «стакан», что само это слово автоматически вызывало улыбку, а то и смех.

На уроке химии преподавательница из вольнонаемных, говоря о растворимости, упомянула:

— Если взять стакан и поместить в него...

Раздался оглушительный хохот. Она в растерянности стала оглядывать платье: иногда воспитанники в коридоре щелчком пальца исподтишка приклеивали преподавательницам соплевидные кусочки жеваной промокашки. После этого смех стал доводить воспитанников до удушья. Кто-то упал со стула. Половина класса уже рыдала от смеха.

Преподавательница заплакала, и класс стих.

— Что я такого сделала? — спросила она. — Почему вы такие жестокие?

Побледневший командир взвода, великовозрастный Носов, встал и доложил:

— Вы сказали: «Если взять стакан...»

Класс опять прорвало...

Двери класса распахнулись, и на пороге появился командир роты — «Папа Мондрус».

— Встать! Смирно!

В классе грохнули отброшенные назад стулья. Преподавательница, которая только было присела, тоже встала, смущаясь.

— В чем причина веселья?! — гаркнул Мондрус, переводя негодующий взгляд на химичку.

— Я сказала: «Если взять стакан...»

— Смирно! — снова рявкнул Мондрус, распираемый изнутри смехом.

— Сесть! Встать! Сесть! Встать!

Затем «Папа», все еще серьезно, сказал химичке:

— После урока — список зачинщиков!

— Встать! Смирно! — скомандовал командир взво-

да в подрагивавшую спину Мондруса, который не выдержал пытки смехом.

Старшины-сверхсрочники на контрольно-пропускном пункте отечески относили в кубрик — так называли спальню на сто человек — рухнувшего от алкогольного отравления воспитанника.

— Дошел до училища, пьянь этакая,— говорили они с хмурой лаской, регулярно донося обо всем дежурному офицеру.

Подтекст всего этого таков — мир миром, а вас готовят для войны. Во время войны выжирали по четверти на три рыла и только здоровели. «Вам, товарищи воспитанники, предстоит принять героическую эстафету поколений!»

Не уметь пить — это все равно, что не уметь ругаться, позорно и не по-мужски.

В этой обстановке Юрка Павлов — москвич, по прозвищу «Павлюк», стал готовить себя к подвигу: учился заглатывать стакан водяры залпом — за один опрокидон. Учился на воде, тренируясь в гальюне, часто отрывивая и выташнивая. Но честь дороже: вытирал слезы и, вдохновляясь любопытствующей аудиторией, опять закидывал в пасть полстакана воды.

Павлюк начал работать над собой летом, и к зимнему 10-суточному отпуску был готов украсить любое общество.

В отпуск из Саратова в Москву мы ехали вместе: как всегда, в переполненном вагоне; как всегда, без билетов; и почти как всегда, на третьей багажной полке.

Поезд отошел, и терпеть не было больше сил. На столе появилась водка, воспитанники сгрудились в нашем купе, пассажиры уважительно столпились в коридоре, уступив нам место: «Морячки выпивают...»

Кто-то выдвинул из-под полки деревянный чемодан, чтобы все флотские могли разместиться. Павлюк своей славы не скрывал, и его резкий, яростный голос разносился по всему вагону:

— Наливайте себе понемногу! Я налью себе сам! Мне — полный граненый, в нем 187 грамм, или тонкий — в нем 204 грамма, но не полный!

Радость поднималась изнутри, подкатываясь к горлу. Праздник души охватывал всех: и прокуренных мужиков, которые пьянели от вида чужого счастья, и

улыбающихся с пониманием женщин, и сморщенных бабок-рыбок, которые умилительно плакали и крестились, говоря что-то несвязное, вроде:

— Вот у нас так...

— Пегька покойный...

— А весело всегда было, весело...

— Молодежи только и гулять, куда ж ей без белого вина...

Никто водку не оскорблял прямым именем, говорили — белое вино, беленькое, крепенькое, белая головка, водярушка и даже косорылушка.

Павлюк, хотя и был еще трезвый, уже пил счастье полными стаканами:

— Ребята! Заглохните на секунду! Мне закусывать ничем не надо! В водке есть все витамины!

— Это верно,— одобрительно гудело гражданское население вагона.— Корешок свое дело знает...

— Чтоб не в последний раз! — вскричал Павлюк, и мы все потянулись с ним чокнуться, понимая, что ему пролить нельзя — тем более гражданские смотрят.

— Как звать-то боевого вашего? — спросила старуха со второй полки.

— Юрка меня звать, мамаша! — ответил Павлюк, сглатывая слюну и приближая стакан ко рту.

— Жить тебе, мать, 200 лет!

Старуха пронзительно ахнула, будто ее вот так, походя, одарили чем-то таким, чего никогда не отнимут.

— Счастья тебе, сынок, счастья,— запричитала она,— здоровья и всего-всего...

— Налейте мамаше! — скомандовал Павлюк, вызвав всеобщее одобрение.

— Самую малость,— сказала мамаша, тушуясь,— на донышке! Так, пригубить за молодцев...

Павлюк сделал глубокий вдох. Наступила тишина. Мамаше дали немного в стакане, и она, чумая от теплых чувств, хотела еще что-то сказать, но сразу несколько человек осекли ее взглядами.

Павлюк погнал содержимое стакана в рот, горло не сжималось, пропуская водку в пищевод.

— До дна! До дна выпил! — радостно объявил один из зрителей для тех в вагоне, кто не видел.— Весь стакан залпом! Это — по-нашенски, по-русски!

— Разве немцу или американцу сравниться с русским человеком!

В проходе мужичок в вытертой буденовке дрожащими пальцами ловко мастерил махорочную закрутку, ожесточенно побряхтывая и волнуясь. В этот момент никто громко не говорил: мы, не привычные к водке, ели и прислушивались к своему организму, поглядывая на Павлюка. Тот, хотя и сглатывал слюну, но не ел, ожидая действия витаминов и радостно балдея.

— Служивый,— обратился он к буденовке и снисходительно улыбнулся: — Сверни крепача, а я тебе беломор...

— Держи! — сказал тот, вынимая изо рта влажную, едко пахнувшую закрутку.— Беломор не нужно, я себе другую...

— Возьми! — Павлюк затянулся махрой и протянул мужику пачку беломора.— Все угощайтесь! — добавил он, поперхнувшись сизым дымом.

— У меня есть на случай,— пояснил буденовец и достал из бокового кармана поцарапанный алюминиевый портсигар.

— Угощайтесь! — сказал он и открыл портсигар, в котором под зажимом лежали «гвоздики» — крошечные папиросы.

Но у него никто не брал, а разбирали Юркин беломор, даже те, кто не курил.

— Да-а-а,— поощрительно протянул мужик, одолживший деревянный чемодан,— морские... Аврал, форштевень, брамселя!

Кто-то удивленно хохотнул: вот тебе и мужик! Мы насторожились и пощупали бляхи на ремнях — святотатства, да еще в такой момент, не ожидали.

— Ты это зря,— сказал Павлюк, который увидел в этом намек: юнцы, мол, салажата, что было особенно обидно, поскольку мы на самом деле были и юнцы, и салажата.

Воспитанники угрожающе привстали.

— Ребята, никакой полундры! — закричал Юрка.— По второй идем!

— Мы еще с тобой, ох, как поговорим,— сказал 20-летний Носов бойкому мужику и отвернулся к столу.

Носов, как старшой, был озабочен: после второго стакана Павлюк может слететь с копыт, и это хорошо,

но если начнет куролесить, то в Мичуринске вполне может комендатура замести.

Павлюк обстаканился второй раз, и мы все вслед за Носовым похлопали, победно оглядывая окружающих.

— Ребята, а сейчас на станцию пиво пить! — завопил Павлюк, заметив, что поезд замедляет ход.

— 20 минут стоим! — закричал проводник. — Смотрите за вещами!

— 20 минут стоим! — протрубил Павлюк и бросился к выходу.

За ним деловито последовал Носов, покровительственно нашептывая: «Ты не горячись, не горячись! Сейчас водка только играет, она ударит позже».

— Носяра, кореш, друг! — Павлюк полез обниматься с Носовым, проехав кому-то локтем по лицу.

— Ребята, пустые бутылочки мне! — ласково напомнил проводник, которому мы по-тихому налили стакан еще в Саратове.

К счастью Юрки Павлова, ни пива, ни браги на этой станции не продавали, но он и без них уже скис.

Перед отправлением, задевая плечами выступы в проходе вагона, Павлюк двигался к своим, одаряя всех широкой улыбкой, хотя и не всех видел. И поскольку он размахивал мослами и наваливался на сидящих сбоку, оседая и проваливаясь, — Носов подстраховывал сзади, — то люди, остерегаясь, напоминали о себе:

— Эй-эй, морячок!

— Здесь дети, морячок!

— Морячок, бабушку не придави!

Юра, икая, нетвердо приостанавливался при каждом окрике и, содрогаясь, вырыгивал небольшую порцию в сторону голоса.

— На людей блюет! — закричала старуха, вжимаясь в боковое сиденье.

— Что ты, мать! — Юра остановился возле старухи. Он трезво и укоризненно покачал головой, глядя на нее. После чего рыгнул, точно угодив ей сгустком соков на кофточку, и продолжил путь.

— К золовке еду! — в отчаянии закричала старуха. — Гадость какая!

Носов обернулся к ней и пояснил:

— Человек не трезвый...

— Я-то трезвая! — заголосила старуха. — Мне за чем в блевотине ходить!

— Прости, мать! — сказал Носов.

А Юра, останавливаясь, все так же вырыгивал порциями на пассажиров и в проход. Возмущение нарастало.

Мы затолкали Юрку на третью полку, и всех, кто сидел внизу, как ветром сдуло.

— Обложите его голову газетами! — скомандовал Носов. — Не давайте лежать на спине — захлебнется!

После этого Носов, как бы невзначай касаясь трех медалей на груди, сказал:

— Граждане! У человека крупная человеческая драма. Водка только обострила глубокую душевную боль, оголила натянутые, как струны, нервы...

Мы знали это носовское выражение, он его всегда вставлял в письма к девушкам, варьируя подлежащим, например: «Твои слова только обострили...», или: «Твой упрек только обострил...». Он был уверен, что эта фраза не только ошеломляет, но и обессиливает.

А я тогда на практике познал закон сохранения энергии: горло Павлюка, сдержав позывы отсекал водку глотками, брало свое, когда он извергал витамины.

ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗВУЧИТ...

Знавал я многих спортсменов, но такого, как Феликс Гетман, наверное, никогда больше не встречу. Так же, как вряд ли кто-нибудь надеется увидеть дважды белого кита. И дело даже не в его необыкновенном боксерском таланте, а, пожалуй, в его удивительной самобытности. Он не пил, не курил и, замирая, краснел при виде девушек. Все деньги, которые ему присылали, когда он был в Нахимовском училище, а позже, которые ему выдавали, когда он был в Высшем военно-морском, он тратил на витамины и гематоген — бычью кровь.

Он был всегда круглым отличником, и ходили слухи, что для воспитания воли Гетман прочитал «Капитал» Маркса. Какая бы ни была погода, он с утра делал на улице часовую зарядку — в тельняшке и трусах, даже зимой. Чемпион нахимовских и подготовительных училищ, а затем чемпион ВМУЗов — высших

военно-морских военных заведений по боксу в легком весе, Феликс на втором курсе Высшего заявил, что хочет заниматься борьбой. Тренер сборной по боксу чуть не расплакался. Начальник училища пригрозил отчислением: «Спишу на флот матросом!» Железный Феликс только улыбался.

Через год и два месяца Фела, как и в боксе, стал перворазрядником в классической борьбе. В боксе равных ему в легкой весовой категории можно было найти только среди мастеров, поэтому он, тренируясь с борцами, выступал попутно и в боксе, выигрывая нокаутом почти все встречи. Работал он на ринге, как машина, поскольку усталость считал преодолимым недостатком. Думаю, что не один прославленный профессионал лег бы перед Фелиным напором. Но он решил уйти из бокса и из борьбы.

— Буду заниматься йогой! — объявил он, и это было воспринято как оскорбление.

— Фела — сумасшедший, — сказал тренер борцов.

— Если бы! — откликнулся тренер боксеров. — Можно было бы попытаться вылечить, мозгу вправить!

Потом, видно, решили повязать его через партийные органы. Замполит училища вызвал Гетмана для доверительной беседы:

— Хотите в партию вступить?

— В какую? — спросил Фела.

— Вон отсюда!

Фела вышел из кабинета.

Его не пускали в город, но каким-то путем ему все же передавали инструкции по йоге. Его постоянно обыскивали: «Курсант Гетман! Поднимите тельняшку!», но из-под нее никаких листков не выпадало. В его вещах рылись, как на золотых приисках, — безрезультатно. Его организовано высмеивали, не давая уединяться. Все равно через год Феликс мог включать или отключать любую почку, по желанию врачей: его брали на исследования в Ленинградский главный военный госпиталь. Руки и ноги он закручивал в какие-то узлы, и становилось за него страшно — не остался бы так.

После заключительной стажировки Феликс сказал, что пойдет к начальству с заявлением: разочаровался в службе и отказываюсь от присвоения офицерского звания.

— Фела! — кричали мы. — Пошарь во лбу, не спишь ли ты?

— Зачем такого прямика? Закуси! Получишь подъемные, а потом, на месте назначения, приделаешь руководству уши!

— С флота ноги легче сделать, чем отсюда!

Но на Фелиной вывернутой губе только слюна закипала, и широкие ноздри раздувались, как у лошади.

— Я хочу, как человек! Зачем мне мастырить, лучше по-честному...

— Что «как человек»? Человек — это звучит, и больше ничего. Не будь бараном, Феликс! Они же тебе пенку заделают во весь горшок!

— Посмотрим! — сказал Фела и провел рукой по стоявшим дыбом волосам.

Он и посмотрел: его чуть было не судили, исключили из комсомола и дали такую характеристику, что в хорошую тюрьму не примут.

Позже я встретил Гетмана в Москве, во время хрущевской оттепели. Морозы тогда стояли жуткие. Феликс был одет в потертый бушлат, на который он, хотя и закаленный, нашил воротник из протертой лисы.

— У сестры с мужем живу, — сказал он, — 8 м², сплю в ванне... Зато в самом центре!

Он имел в виду центр города.

Мы вошли в метро.

— На что живешь, Фела?

— Грузу и выгружаю вагоны на вокзалах, — радостно сказал он, сидя и брызгая слюной. — Там прописка не нужна! Муж сестры — гуманист, терпит меня: я ему продукты продаю... — Поймав мой удивленный взгляд, он пояснил: — Тырить научился, надо все уметь в этом мире. Древние говорили: «Не знать чего-нибудь — не есть достоинство». — Лицо его по-прежнему лучилось, даже отмороженные уши улыбались.

— А спорт?

— Был в ЦСКА в прошлом месяце, тренер домой приглашал, я не пошел...

В спортивном зале ЦСКА произошло тогда вот что, Гетман подошел к тренеру и спросил, может ли прийти на тренировку.

— Ты кто и откуда? — спросил тренер.

— Моя фамилия Гетман, я не москвич, остановился у сестры...

Московский тренер Феликса не помнил, а быть может, и не знал.

— Из гетманов знаю одного Мазепу,— пошутил он,— да и тот, как писал Гоголь, погиб от руки своего сына-шляхтича... Занимался в Ленинграде, говоришь, боксом? Ладно, приходи завтра. На людей помотришь и себя покажешь.

На следующий день Фела одним своим видом, своими семейными, не спортивными трусами и рваной майкой оскорбил честную компанию. И это еще не все.

— Парень,— сказал ему сухощавый блондин килограмма на три полегче Фелы,— ты занял мой шкафчик.

Блондин, не торопясь, снимал офицерский китель с мастерским квадратом.

— Ладно, парень,— миролюбиво сказал Фела.— Займи другой, вон их сколько!

— Займу,— ответил блондин и закричал: — Влад Владыч! Можно мне сегодня с новеньким поработать? — Он повернулся к Гетману: — Фамилия?

— Мазепа.

— С Мазепой!

Тренер рассмеялся:

— Рановато, Валентин. Он еще не был на медосмотре. Пришел только размяться, ознакомиться.

— Вот я и ознакомлю,— сказал Валентин.

Во время разминки Гетман настроил всех против себя: не было в нем преданной отрешенности и серьезности бойца — упражнения выполнял не до конца, останавливался.

— Боюсь, что это — еврей не нашего племени,— вполголоса заметил тренер, рассмешив стоявших рядом боевых орлов.

— Мазепа, хочешь минутку поработать в спаринге? Шлем дадим!

— Минутку — мало,— сказал Феликс, надевая шлем.

— Ладно, скажешь, когда хватит! — Тренер стал выпускать против него ребят потяжелее, которые шлема не надевали, расценивая все как спортивный водевиль.

Загадочный Гетман, думая о своем, класса не показал: шел на обмен ударами, по корпусу почти не бил, пропустил несколько плюх. А все же его против-

ники почувствовали: обижаться не на что — парень свое дело знает. Но самую крупную порцию получил Валентин, так, что добавки не попросишь.

Феликс, ныряя под правый встречный, стал слева колотить того по печени, и когда он приучил противника к такому однообразию (Валентин стал бить с отходом, обстреливая голову Гетмана прямыми), произошло некоторое изменение: Феликс запустил серии прямых с завершающим справа или слева сбоку. Одним из них он и уложил Валу, хотя тот был в шлеме.

— Попал я ему все-таки в роговой отдел, — сказал мне тогда Гетман. — Тренер потом что-то бормотал, провожал до метро, о родителях спрашивал, приглашал к себе... Я не пошел, — закончил Феликс. — Рожка у него тупая и книг не читает.

Видно, Фела вспомнил о смерти гетмана Мазепы, который погиб на дуэли с Тарасом Бульбой.

Илья Сулов

ШПИОН НИКОДИМОВ

Посвящается ИЛЬЕ Л.

Я страдала, страдать буду всегда, милый, по тебе,
Кари глазки не забуду, в какой бы ни был ты стране.

Из русской песни

Леша даже не представлял, что есть такие глухие углы. Он знал, что есть в России совсем дикие места, но что такие, как это, даже не мог себе представить. Скособоленные домики, насквозь промокшие от дождей, столетиями их поливавших, с заколоченными фанерой крышами, с узкими грязными тропками, ведущими к домам от немощеной горбатой улицы. Домики эти стояли здесь с незапамятных времен, с петровских, видимо, и никто к ним с тех пор не притрагивался. Вот только свет провели. Был в городе дымный заводик, где трудилось местное население, и дым из его трубы прокоптил все вокруг до липкой черноты. Заводик тоже был ровесником Петра Первого, только продукцию теперь выпускал другую, да дали ему для важности номер: почтовый ящик 1424. Все знали, что выпускает

он какие-то насосы, а куда те насосы шли, пожалуй, и директор заводика не знал.

Протекала мимо города речушка, но рыбы в ней давно не было, а ребятишки ходили купаться километров за пять вверх по течению, чтобы не мараться в мазуте и отходах, которые спускал в речку насосный заводик.

Леша жил уныло и скучно. Он приехал сюда из Москвы после института. Аспирантская тема забросила его в эти края, потому что здесь, в глубинке, он надеялся записать старые русские песни, не испорченные фольклористами, приспособабливающими народное творчество к требованиям цензуры и советской власти. Леша и сам знал, что можно, а что нельзя использовать в диссертации, но в своем архиве он хотел бы иметь подлинные песни и частушки. В областном центре ему сказали, что живет в Зареченске бабка, знающая всю эту «чепуховину», но живет она нелюдимо, одна, пьет и не желает ни с кем разговаривать. Мол, приезжали уже сюда люди из Института фольклора, да ничего у них не получилось. Не хотела бабка проклятая с ними даже разговаривать. Так и уехали не солоно хлебавши. И у вас, молодой человек, шансов немного. Что вы все там, в Москве, с ума, что ли, посходили, тянетесь за всяким устаревшим барахлом, за иконами да частушками. Делом, делом надо заниматься, план выполнять! А то эта русская мода кончится, а план с области еще никто не снимал. Все балуетесь, а народ теперь другой пошел, ему бы только напиться да урвать побольше. Мочи нету, все домой тянут, в охране теперь больше людей, чем рабочих на предприятиях, а все равно не углядишь, стыд один. И добро бы уж молодежь баловалась. Так нет же, солидные взрослые люди. А уж о бабах, простите, о женщинах и говорить не приходится. Так всю себя обложит, что никакой обыск не помогает. И злые все, как черти. А вы говорите частушки. Какие, к черту, частушки...

Леша снял угол у слесаря Никодимова. Никодимов жил один, жена его бросила и уехала с демобилизованным сержантом на великую стройку коммунизма в Сибирь. Никодимов сильно пил и скучал по жене. Он очень обрадовался Леше и удивлялся его интеллигентному языку и наивности.

— Ты, Леш, совсем как нерусский,— говорил Ни-

кодимов.— Вроде все говоришь правильно, а про что — непонятно. В общем, ты, Леш, того, в общем...

И Леша скучал невыносимо, потому что говорить с Никодимовым было и впрямь не о чем. Разве что о бутылке: при таких разговорах Никодимов оживлялся, светлел лицом и довольно связно вспоминал, где, когда и с кем он выпил последнюю бутылку.

Тетя Настя, та самая бабка, которую рекомендовали в области как хранительницу и знатока старинных песен, долго не пускала к себе Лешу, говоря, что некогда, не до того, чем баловством заниматься, лучше на огороде покопаться, потому что зима идет и, если загодя картошку да свеклу в погреб не сложить, никто о ней и не побеспокоится, или иди откуда пришел, мил человек, не до тебя.

Леша ее и так обхаживал, и эдак, и ведра с водой из колодца доносил, и конфеты в ларьке покупал, и бутылочку белой особой показывал. Не хотела петь тетя Настя, хоть кол у нее на голове теши.

А Никодимов все не понимал причину Лешиного приезда. Никак у него не укладывалось в голове, что Леша приехал за песнями.

— Ну, за какими такими песнями? — спрашивал он.— Глупости это все, в общем. Что ты с ними делать будешь? Хочешь песню, включай радио. Вон Зыкина с Кобзёном этим поют. Вот тебе и песни. Что эта тетка, Настя-то, знает? Она ж неграмотная. Она и слов-то настоящих не знает. Не, Леш, ты, видно, по другому делу приехал. Из области тебя послали узнать, как мы тута пьем, план выполняем, верно? Наливай по новой.

Леше надоело это тупое никодимовское непонимание и подозрительность, и однажды вечером он сказал ему:

— Верно, Никодимов, тебя не проведешь. Все ты обо мне правильно понял. Да не очень. Я, Никодимов, разведчик. И послан я сюда узнать кое-какие вещи про завод, на котором ты работаешь.

— Это какой ты разведчик? — спросил обескураженный Никодимов.— Из гебе, что ли?

— Нет, Никодимов,— сказал Леша, приблизив свое лицо к слесареву.— Не из гебе я, а американский разведчик. Ты «Голос Америки» слушаешь? Вот они меня и послали.

— Будет тебе,— сказал побледневший Никоди-

мов.— Что меня, дурака, разыгрываешь? Думаешь, если я пьяный, то меня, в общем, можно на мушку брать?

— Нет, Никодимов,— сказал Леша, бросая на слесаря огненные взгляды,— не шучу я, такими вещами не шутят, а хочу я, Никодимов, чтобы ты помог мне в моей работе. А за это ты всегда у меня получишь на бутылку. А за особо важное задание — на две. Подумай, Никодимов, крепко подумай.

— Ты что ж, хочешь, чтобы я шпионом стал? — сказал Никодимов.— Это как же у тебя язык повернулся на такое, а?

— Эй, брат,— сказал Леша.— Ты взгляни на себя и жизнь твою. Разве это жизнь? На работу, с работы, бутылка, спать, опять на работу. Какой у тебя интерес в жизни, Никодимов? А я тебе предлагаю настоящую жизнь, как в кино.

Леша говорил Никодимову что-то очень убедительное, а сам думал о письмах, которые он будет посылать в Москву друзьям о шпионских приключениях слесаря Никодимова, и как все там животики надорвут, читая их. И жизнь его в глухомани показалась не такой уж гнусной и скучной.

— А чего тебе надо на нашем-то заводе? — вдруг спросил Никодимов.— Насосы они и есть насосы. Какой в них прок?

— Значит, договорились, Никодимов? — сказал Леша.— Слушай внимательно. Есть у нас сведения, что на заводе вашем испытываются новые масла для смазки. Их сюда секретно прислали. Даже директор ваш про это ничего не знает. Вы этими маслами станки смазываете. Принеси мне ту тряпку, которой станок обтирают после смазки. Вот тебе и первая бутылка.

И Никодимов принес тряпку. И жизнь его изменилась до неузнаваемости. Он помолодел, на лице его появилось выражение осмысленное и значительное. Он и впрямь зажил какой-то своей внутренней жизнью. Даже бутылку, которую ему ставил Леша, он пил со значением, а однажды сказал тост: «За нашу победу!»

— За какую победу? — поинтересовался Леша.

— Не, Леш, это ты не понял, в клубе кино показывали, «Подвиг разведчика» называется, старое кино, про войну, в общем, так там наш, в немцы переодетый, такой тост говорит: «За нашу, в общем, победу!» А на

самом деле это он про нашу победу говорит, в общем, не про ихнюю, а про эту... нашу...

Тут Никодимов совсем запутался, и Леша поскорее налил ему следующий стакан, чтобы выйти из этой деликатной ситуации.

Леша красочно описывал свои похождения в письмах к друзьям и все старался расколоть упрямую старуху тетю Настю. И она сдалась.

Однажды днем она впустила его в свой домик. Леша пристроил свой магнитофон, и тетя Настя, сев на продавленный диван, стала потихонечку петь. Леша не надеялся, что она знает какие-то старые песни, которые были бы ему не известны, да так оно и вышло, песни были известные, но в тети Настином исполнении они вдруг приобрели новый смысл. Наивность и беспомощность строк этих песен поразили его, но тетя Настя переживала их как личную трагедию.

Для кого я жила и страдала
И кому я всю жизнь отдала?

Как цветок ароматный весной,
Для тебя я, мой друг, расцвела.

Ты поклялся любить меня вечно,
Как голубку лаская меня.

А теперь, насмеясь бессердечно,
Ты навек мою жизнь погубил.

Голосок у тети Насти был тоненький, но каждое слово она выводила с такой серьезностью, с такой старательностью, с такой грустью, что слушать ее было наслаждением.

Нет у меня, девицы, отца с матерью,
Только есть у меня мил сердечный друг,
Только есть у меня мил сердечный друг.

Да и тот со мной не в ладу живет,
Не в ладу живет, все ругается,
Не в ладу живет, все ругается.

— Где ж твой муж, тетя Настя? — спросил Леша.

— Известно где, в тюрьме, — отвечала она. — Зашиб маленько начальника цеха по пьяному делу. От водки все горе.

— А дети?

— Дочка была. Выросла и уехала. У нас здесь тяжко. И скушно для молодых. Вот они и убегают куда глаза глядят.

Пела она и песни явно литературного происхождения, только она об этом не знала, они были для нее свои, народные.

Красавица встала,
Ничего не знала,
Правой ручкой обняла
Да поцеловала.

Леше было жалко времени, которое он потерял в этом городке, да что ж поделаешь, золото под ногами не валяется, достать новую песню так же трудно, как золотой самородок.

Дома Никодимов ждал его, потому что жаждал получить новое задание: не было денег на бутылку.

— Вот что,— сказал ему Леша.— Я получил шифровку, что твой напарник со второй смены, как его...

— Колька Звонарев...

— ...Колька Звонарев нарушил слово, данное нашей организации. Придется его убрать.

— Ну, ты уж совсем... с ума сошел, что ли? — сказал испугавшийся Никодимов.— Одно дело тряпки тебе за поллитра приносить, а это, в общем, что же получается? Как это убрать?

— Это дело непростое, Никодимов,— сказал Леша.— И будут у тебя после него поллитры на всю твою жизнь. И еще внукам достанутся, если ты их заведешь. И поймать тебя будет нельзя, потому что... Видишь этот бутерброд с килькой? В нем яд, действие которого длится полгода. Через полгода твой предатель Звонарев тихо уйдет в другой мир. Вот тебе аванс на три бутылки.

Ах, что же ты наделал, Леша!..

Ты уже в Москве, и давятся от смеха твои друзья и подружки в кафе «Националь», и совсем забыл ты маленький городок Зареченск с Никодимовым и тетей Настей, а Никодимов не спит. Каждую ночь бьет его дрожь из-за бутерброда с килькой, который он скормил несчастному Кольке Звонареву во время пересменка. И нету у Никодимова никакой мочи. И жизнь ему не в жизнь. И даже пить не хочется. Пропал ты, Никодимов, продал свою жизнь шпиону-разведчику, верно

в газетах о них, гадах, писали. И по телеку показывали.

В милиции с разинутыми ртами выслушали бестолковую историю, которую Никодимов, плача и трясясь, рассказывал молоденькому лейтенанту. Связались с органами. Через два часа нашли Лешу. Леша привел приятелей с письмами, говоря, что от скуки и пошлости жизни подшутил над простодушным Никодимовым.

И был закрытый суд. Пошел Леша в тюрьму на полтора года за злостное хулиганство.

А Никодимов получил пятнадцать лет. За измену родине. И не вздрагивайте. Подумайте лучше. Ведь так оно и было.

Ах ты, ворон, черный ворон!
Что ты вьешься надо мной?
Аль мою погибель ждешь?
Черный ворон, я не твой...

Александр Журжин

СОН

Серой, ватной пеленой низких облаков затягивает, заносит небо. Ее кромка — знак очередного холодного фронта — продвигается беззвучно, пожирая на своем пути полярную зарю. Только на самом севере остался нетронутым фантастически расцвеченный кусок неба с кровавым пятном, растекающимся по нежной зелени небосвода в кайме прозрачной голубизны, высвечивающей немигающими звездами.

На пирсе ХКМТС работает вторая смена стропальщиков, вернее, ее лучшая половина, ее совесть. Остальные заняты кто чем: хант Мишка, забитый и по причине неспособности держать зло против белого человека часто используемый захмелевшими стропальями как боксерская груша, сопит в балке пьяный, натужно пробулькивая перегар сквозь сопли в горле, двое предпочли работе рыбалку, браконьерство, как более доходное занятие, а четвертый, ушлый, — бабу на Бамовском поселке, который плесенью облепил северо-восточный склон холма, где на вершине, как на акро-

поле, вздымались высоченные заборы жилой зоны. Грузят баржу. Битый кирпич и слежавшийся, подмокший цемент в пакетах, которые трехъярусными рядами покрывают почти все пространство прилегающей к головке пирса рабочей площадки. Сегодня клиент был неважный, поэтому в ход пошли остатки спецзапаса: грузы с прошлогодней навигации, которые после восьми месяцев под снегом стыдно было называть строительными материалами. По бортам баржи уже наставили поддоны с болезненно покосившимися пакетами кирпича и бумажными мешками с цементом — словно склеенные из слипшихся, спрессованных пельменей, они выделялись грязной белизной среди медно-бурой клетчатости штабелей кирпича. Бывший зек Коля, молодой парень с морщинистым лицом, лукавыми глазами под огромной, будто только что снятой с грузина на Преображенском рынке в Москве кепке и с золотым проблеском меж губ, привычно сказался немощным для черной, тяжелой работы, улизнул на баржу и, принимая там груз, следил за тем, чтобы ее осадка была равномерной. Сложная часть погрузки была закончена, и в промежуток меж стройными рядами поддонов (Колину гордость) осталось навалить около тысячи рулонов рубероида. Никто не знал, что сбудется с этими стройматериалами, годными только на свалку. Как любил повторять один местный остряк, то ли коммунизм в лагере будут строить, то ли еще один лагерь для коммунизма, да никто и не волновался об их судьбе. 800 километров, что разделяют Лабытнанги и место их назначения — поселок на реке Таз с пролетарским названием Красноселькупский на Большой земле, сойдут за 8000, что вполне может быть и за границей, а о загранице, как известно, думать даже и не велено. Скорее всего, свалят в кучу на зиму, а в следующую навигацию, списав пришедшее в негодность, запросят вдвое — для расширения фронта работ, конечно.

Экс-зек лениво поплеывал в черноту протоки, отражавшую прожекторы на другом берегу, — там под визг пилорамы работала третья лагерная смена, а остальные, вобравшись на пятиметровый конус из ставших и слипшихся под солнцем рулонов рубероида, высившегося в углу рабочей площадки, как огромная куча окаменевшего дерьма, угрюмо копошились там,

отдирая рулоны от кучи, поблескивая оттертыми добела концами ломов, глухо матерясь и харкая, наваливаясь всем телом на железо, когда проклятый кусок не поддавался. Один из них, бригадир, одетый в ржаво-зеленую выцветшую робу, был прибалтиец — лупоглазый, голова в белокурых слипшихся кудрях, и два года как с «химии». Другой был спившийся преподаватель строительного техникума из Саратова, прозванный за внешность и характер Цыганом своей женой — дочерью немца-военнопленного, взятого в плен в Поволжье (их много было осажено на Ямале во время и после войны), а третий — студент, что довольно точно представляло распределение жителей города Лабытнанги (семь листовенниц — по-русски) по классам в летние месяцы. Если, конечно, исключить ту половину населения города, что, временно лишённая права свободного передвижения, почти не покидала отведенного ей почетного места на акрополе, за высоким, в три человеческих роста, дощатым забором в клубах колючей проволоки по верху, исключающих всякую возможность для зевак и бездельников проводить там ленивые послеполуденные часы, лузгая семечки, болтая ногами и обсуждая последние новости с дипломатического фронта. Волнистое полотно забора прервано было лишь в одном месте на всем его протяжении — для могучих железных ворот с веселящим душу лозунгом, выписанным над его зелеными створками белыми буквами на фоне цвета крови трудящихся всего мира: «НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ». Всякий (тайно) недовольный мог вздохнуть (про себя) с облегчением — ПАРТИЯ сюда еще не добралась. И это было отчасти истиной. До середины пятидесятых годов, до начала освоения полуострова газовиками о советской власти почти никто не слышал (лагеря и военные базы, конечно, не в счет). Разве что по Голосу. И среди местного населения, живущего разведением оленей и потреблением огненной воды и все еще обсуждающего побег Керенского в Гатчину, 1 мая и 7 ноября не праздновались, не говоря уж о демонстрациях трудящихся, приветственных письмах покорителям космоса, телеграммах о перевыполнении и месте в Совете Старейшин.

Было полпервого ночи, и до конца смены оставалось полтора часа. А потому, когда кран встал — он

подавал поддоны с площадки на баржу — по таинственной причине, из которой народная мудрость смогла найти рациональное объяснение только для двух: полочки и аванса; когда крановой, еще один Коля, загремел чечеткой по железным ступенькам лестницы, ведущей из прилепленной ласточкиным гнездом под стрелой кабины, вниз, никто особенно не обеспокоился. Да и крановому нужно отдохнуть, он работал по шестнадцать часов в сутки (писали двадцать, чтобы уломать Колю отработать еще одну смену, так как сменщика не было). А баржа, баржа никуда не денется, баржу можно и завтра догрузить, больше их в навигацию все равно не будет, кроме той, уже причаленной у пирса, что для первой смены. Конечно, можно очистить железнодорожные пути от грязи, да рабочая гордость, как всегда, не позволила тратить силы на пустяки, за которые не платят. К тому же на это есть другая смена.

Так что вся бригада присоединилась к хитроглазому кубанцу, развалившемуся в желтизне прожекторного света на пустой барже, на тюках с паклей, которые кто-то забыл убрать с заржавленной, покрытой слоем щебня, перемешанного с битым стеклом, палубы. И потянуло Беломором и Дымком, дружно засопели, захаркали работяги, заговорили о бабах, о том, где можно урвать свободный балок, о том, что рыба пошла, о том, кто кого и как от...л, о том, что мастера жена опять отп...ла, когда тот был пьяный, сказав ему наутро, как обычно, что упал с кровати, что опять на... ут с зарплатой, урежут наряды, что картошку еще не завезли, а давно бы пора. Картошка была большим местом каждого честного лабытнангца в августе, и все замолчали. Вздохнув, студент подытожил на свой ученый лад: «Сколько поле ни квантуй, все равно получишь...» Наболевшее выговорено, и, как всегда после удовлетворения демократического зуда в России, нахлынуло извечное, родное для славянской души со времен татарского нашествия облегчение: домой идти вроде бы и нельзя, смена еще не закончена, а значит, находясь официально на работе, можно о завтрашних заботах не думать, но и делать нечего. Да и не хочется. В общем, хорошо: ночь без ветра, Беломор сухой. Сладкая дрема затяжелила веки, стала путать раздраемые зевками мысли, высказываемые с дремотной

натурой в бархатную черноту ночи, за пределы высвеченного прожекторами круга.

Вдруг хитрогубый кореш вскинул руку и, указывая в темноту, маслянисто поблескивающую отражением фонарей, ощерив золотой набор зубов, выдохнул своим мягким кубанским говором:

— Гля, голова, никак плывет хто на зону?!

Остальные, привыкшие к лагерным розыгрышам краснодарца, молчат. Только лупоглазый прибалт, смачно сплюнув меж ног после серьезного отхаркивания, произнес в укутанное облаками небо:

— Не пи...и, кто ползет в эту холодину. Да и пристрелят.

— Не, бл...ь, правду говорю, гля, голова,— ничуть не обидевшись, обиженным голосом загундосил завязавший Коля.— Волосатый, знать не зек.— Он сделал глубокомысленное умозаключение и, мечтательно затянувшись Дымком, выдохнул удовлетворенно: — И чего его туда, му...ка, потянуло?

— Может, пос...ть захотел да бумаги не нашел,— неожиданно пошутил Цыган и зашелся хихиканьем, закашлял немочно, закачался всем телом, согнувшись вдвое на тюках, блестя глазами и шамкая губами. Он был как-то постоянно небрит, что делало его похожим на лидера ООП, словно борода перестала расти, проклюнувшись щетиной, и, вдруг обнаружив испитое лицо с толстыми губами, покрывающими подгнившие зубы, зачала в тоске.

Вдруг воздух, набухший сонным повизгиванием пилорамы, словно распорол. Справа, а через секунду слева, со стороны сторожевых вышек, облепивших мухоморными будками свободный берег протоки, поднялась стрельба. Раз, два... три... четыре-пять-шесть прозвучало дробью и отдалось глухим эхом. От неожиданности бригаду подбросило на тюках, и, забыв про Беломор, про сладость дремы, стропалая высыпали по борту, выискивая глазами мистическую голову. И впрямь, среди лениво набегающих волн, пошевеливающих плавающими у берегов бревнами, не далее чем в двадцати — тридцати метрах от того берега прыгала забытым мячиком чья-то голова. Не в силах сдерживать нахлынувшие эмоции, каждый облегчил себя нецензурно, коротко и ясно. Даже студент сумел постро-

ить трехэтажный шедевр — два месяца хождения в народ существенно помогли его красноречию.

— А ты мене не верил, мене, Кольке, да я пятерик мотал от звонка до звонка,— завелся Коля, экс-зек, глядя, впрочем, из-под кепки на волны с прыгающей меж них головой.

— Коля, кончай пи...ж,— коротко проговорил русоволосый бригадир, так же вглядываясь в переливающуюся бликами черноту. Он два дня как вышел победителем из отчаянной драки с поножовщиной и поэтому, завоевав уважение шпаны, вел себя соответственно новому положению — солидно. Его стали слушаться.

Что-то назревало. По железу палубы захлопотало топотом множество ног. Откуда ни возьмись на нос по трапу, на коричневую ржавь баржи выбежало человек пять, одетых необычно, а за ними, застегивая на ходу ватные штаны, поднялся на нее только что оправившийся крановой Коля с худым востроносым лицом, излучающим благодать, всепрощение и острое любопытство.

— Что, р-р-р-ребята, за шум, а драки нету,— фальшиво бодрым голосом проблеял он, энергично потирая руки. Стрופаля его терпели. Так, полмужика.

Сердито стучавшие сапогами оказались «особистами»: гладкие двадцатипятилетние лица, строгие и суровые, закаленные тяжестью опыта десятков лиц, битых их крепкими кулаками. Одеты они были одинаково и странно. Поверх рубашек с галстуками, заправленных в ржаво-зеленые галифе, а те в сапоги, как знак высшего положения в лабытнангском обществе,— темно-синие нейлоновые куртки. Сочетание галстуков и сапог в их наряде создавало впечатление почти мифическое — словно сами кентавры сошли на землю... откуда-то. Все пятеро, сопровождаемые неторопливым Колей-крановщиком, еще не осознавшим суть дела, прохрустели по щепню и выстроились по борту в желтом свечении ХКМТСовских прожекторов, оттеснив бригаду на корму должностными взглядами. С двух соседних вышек вдруг обдало ярким светом по черноте переливающейся глади воды, и, после секунды нерешительного поиска, два круга скрестились на темном, едва различимом пятне, все так же беззаботно прыгающем среди волн.

Слева, из-за штабелей деревянных конструкций, забытых на пирсе лет пять назад, после того как, гласит молва, приехавший получать их представитель ухнул с перепою вниз, в Обь, со всеми накладными (их так и не нашли почему-то в портфеле бедняги-утопленника), показались двое. Охранники. Оба в выцветших ржаво-песочных бушлатах, с карабинами в руках прыгают меж штабелей, напоминая резкими движениями двух марионеток, ведомых нервной рукой. Узколицые, горбоносые и сосредоточенные, их физиономии выражают чувство долга и, полускрытую азиатской непроницаемостью, радость. Справа, очевидно, с соседней вышки, на пирс выбежало еще двое — европейцы, — и все четверо, хрумкая щепом и разъезжаясь сапогами по битому стеклу, вышли на край вдруг мерно закачавшейся баржи, присоединяясь к нейлоновым курткам. На минуту все замерло в неопределенности, и казалось, что высвеченные неестественным желтым лучом прожектора на пирсе фигуры с так хорошо знакомыми по театру на Таганке силуэтами задвигаются, заговорят речитативом, начнут представлять что-нибудь революционное, что-нибудь из эпохи покорения Магнитной горы, что взвьется красное знамя в руках актера и умирающий (по субботам) на руках бойцов комиссар скажет хорошо поставленным голосом что-нибудь о победном конце и мировой революции пролетариата. Застыли охранники и «особисты», широко, по-хозяйски расставив ноги.

Еще через минуту сгрудившейся на баке бригаде стало ясно, чего представители власти ждут с такой уверенностью. Темный поплавок, сопровождаемый бережно прожекторными пятнами, сверкнул белизной лица и стал медленно, словно ведомый тяжелой неповоротливой рыбиной, продвигаться к берегу. Вскоре пятно в ясно видимом венчике слипшихся волос стало обрастать деталями, приобретая черты человеческого лица.

— Может, поплавок с бухалом на зону потянул, — задумчиво выговорил Коля-краснодарец. — Явно его там ждали, — заключил он с совершенной неожиданностью для остальных.

Помолчали. Периодически взвизгивает пилорама на другом берегу, и последний кровавый клочок на севере исчез, закрытый наглухо облачной пеленой. Лихо-

рабочая болезненная желтизна прожекторного света на барже погустела. Где-то слева, вдали, там, где в протоку впадает другая, глухо застучал мотор, и через минуту под шум изрыгаемой водометом воды из темноты стал выползать нос низко сидящего патрульного катера. В бурунах, разбухающий в размерах с каждой секундой, с раздувающимися пятнами неясных фигур на палубе, проступая из неопределенности мрака подробностями: несколько солдат охраны в бушлатах, с карабинами за плечами и перетянутый ремнями начальник караула.

Голова медленно подплыла к берегу и в десятке метров от бревенчатого пирса остановилась — белая, в синеющих разводах татуировки рука взметнулась из воды и уцепилась за плавающее меж бензиновых клякс бревно. Казалось, она устроилась там надолго. Неторопливо, угрюмо глубоко посаженные глаза на толстогубом лице поводили по нависающему причалу, сопровождаемые взглядами «особистов» и охранников на барже. На секунду, на едва заметное мгновение, глаза остановились оцепеневшим взглядом на проеме между кормой баржи и дальним, неосвещенным концом причала, спускавшимся полого к самой воде в этом месте, и тут же трое «особистов» сорвались с места, перепрыгнули полосу воды, отделяющую баржу от причала, и в секунду оказались там, опять застыв и чуть наклонившись вперед в напряжении ожидания. Неторопливость, сосредоточенность, с которой голова оценивала обстановку, очевидно, расстроила азиатско-охранника с левой вышки.

— Вылаз, вылаз, ... твою мать,— захрипел он, наливаясь кровью и выпучивая глаза.

— Вылаз, пристрелу суку,— он вздернул карабин и выстрелил один, два, три раза в воздух, завершив таким образом требуемый предупредительный ритуал в применении оружия против нарушителя.

Голова меланхолически покачивалась на волнах вместе с блестящим под прожектором бревном, не обращая внимания на выстрелы. Все молчали, замороженные яростью охранника, а тот с каждой секундой все больше впадал в припадок, выкатывая глаза на перекосенном лице.

— Убью бледину, вылаз,— захрипел азиат почти с пеной на губах и, исчерпав русскую ругань и перейдя

на родную, вдруг вскинул карабин и выстрелил — два раза вспороло ткань застывшей тишины, и белые фонтанчики весело проклюнулись около лица. Охранник вынул обойму из карабина и, засунув ее в карман, вставил новую из подсумка. В промежутке меж завываниями пилорамы отчетливо клацнуло металлом о металл — нервная рука задвинула обойму в магазин, — и еще два выстрела отдались эхом с того берега.

— Мимо, — выдохнул студент, забывшись.

Голова зашевелилась и, отпустив бревно, рука опять нырнула в воду. Человек стал подплывать к причалу, а там уже сбились в кучу «особисты» — невидимые хвосты отхлестывают по раздуваемым горячим дыханием бокам. Он уже было достиг свай, на которые был насажен бревенчатый настил головки пирса, как к барже подошел сторожевой катер. Его корму окутали клубы сизого солярочного дыма от двигателя, переведенного на реверс, сквозь стекло затемненной кабины мутно маячил рулевой. Полуобернувшись и не сводя глаз с головы, утянутый ремнями начальник караула проговорил что-то стоящему по правую сторону от него охраннику, а затем наклонился и неслышно для остальных сказал несколько слов за борт — катер заслонил пятно головы своим носом и, казалось, лейтенант в ремнях прошевелил губами на застывшем скукой лице, чтобы сплюнуть шелуху от семечек: спокойно и неторопливо. Из-за низко сидящего борта катера взметнулась та же татуированная рука и тут же была ухвачена лейтенантской. Подтянутое с палубы белое тело в русалочных узорах выскочило из воды как пробка, и верхняя половина туловища тяжело улеглась на железо палубы. Волосатого бил озноб. После окрика лейтенанта: — Цепляй его, Костюченко! — один из охранников, стоящих рядом с ним, резко наклонившись, обеими руками обхватил запястье другой руки, оторвав ее от леерной стойки, в которую та вцепилась. Лейтенант и охранник внезапно, с подвздохом разогнулись и, выдернув тело из воды, как огромную белую рыбину, выбросили его на палубу катера. Человек, одетый только в длинные, до колен, совдеповские трусы, прилипшие к бледным, незагорелым ногам, упал на палубу с хлюпающим звуком, припечатался к ней животом и заскользил грудью, лицом и бедрами по выкрашенному в тускло-стальной цвет же-

лезу. Все молчали. У Цыгана, обнажая ряд подгнивших зубов, полуотвисла челюсть, студент, никогда не видевший, как стреляют в людей, мелко дрожал от возбуждения, а азиат-охранник засунул обойму еще глубже в карман. Глухо, почти неслышно затарахтел двигатель, зашумела струя водомета, и лейтенант, обернувшись, пролаял со сжимающегося в темноту катера с добычей:

— Ибрагимов, сколько выстрелов сделал?

— Не знаю, товарищ начальник, нэ считаэл,— охранник, успокаиваясь, приобретал прежнюю непроницаемость.

Помолчали на баке.

— Явно бывший зек. Ну, ему сейчас е...ло намылят,— блеснул золотом зубов бывалый Коля, не выдержав первым.

— Заработать два года как два пальца обо...ть,— неторопливо выговорил бригадир.

На секунду был слышен только скрип сапог по битому стеклу от расходившихся по местам охранников и «особистов».

— Да-а-а,— протянул наконец из-под кепки экзек Коля.— А косоглазому увольнительную.— И помолчал: — Заработал.

Пропали в темноту, словно и не были, утянутые в бушлаты и куртки фигуры, протока нехотя поблескивала чернотой набегающих волн под вой пилорамы с зоны. И стало так пусто на душе.

Ежась в предутренней сырости, наплывающей с Оби, бригада разошлась по балкам. Было 10 августа 1978 года.

Анатолий Шенцевкер

ВРАЖЬЯ СИЛА

Венька Соколовский, рядовой Н-ского полка, впервые был в ночном дозоре на фронте, где все уже по-настоящему — не военная игра. Спать ему не хотелось, да и нельзя — дозор ведь. И он вспоминал, а лезло в голову все. Вспоминал пирог, испеченный матерью ко дню рождения — ему стукнуло тогда шестнадцать, и он знал, чего ей стоило испечь такой пирог. Мать хо-

тела, чтобы все было, как до войны, но тогда ведь можно было кое-что достать, а в военное время где взять муку, масло, сахар — все по карточкам. Мать продала на барахолке кремовую с бахромой шелковую шаль, подарок отца, и сделала, как хотела. Как-никак, а Венька уже почти мужчина, один на все их женское царство, где верховодила бабушка, мать хозяйничала, сестрички ахали и охали по любому поводу, а тетя грустно и жалостливо улыбалась.

Венька, где мог, помогал матери, а когда ему исполнилось пятнадцать, пошел работать на завод. Все, что получал — полную рабочую продуктовую и хлебную карточки и все деньги, — приносил домой и отдавал бабушке; мать при этом всхлипывала, гладила его тощее плечо, как гладила отцово плечо, когда тот жил дома.

Венька прислушался. Где-то во мраке послышался скрип. Странный звук. Венька толкнул Потапова, напарника по дозору:

— Чой-то скрипит.

— Соловей грустит.

— Да неужто соловей? — удивился Венька.

В сорок втором пришла похоронка на отца. Мать в одну ночь поседела. В сорок четвертом Венька понял, что война скоро кончится и что он эдак может не успеть воздать проклятой немчуре за смерть отца, за материну седину, за свое и сестричек сиротство.

Венька — длинный, угловатый парень с белым густым пушком на никогда еще не бритом подбородке. Глянул в зеркало — пацан. Кто поверит, что ему восемнадцать? Другие уже на военном учете, а он еще недорос. Только ждать ему было некогда, и Венька схитрил, пошел в военкомат, в призывную часть и там сказал однорукому лейтенанту:

— По метрической мне шестнадцать, по рождению восемнадцать. Если не верите, мать спросите, два года жил незаписанным.

Лейтенант не поверил, и Венька пошел к начальнику военкомата. Тот выслушал, окинул взглядом, подумал:

— Ладно, если пройдешь медкомиссию — возьмем, А может, все-таки не надо?

— Надо! — выкрикнул Венька.

— Тогда иди.— Военком вынул из стола бланк по-
вестки, заполнил, в углу надписал: «на медкомис-
сию».

Вечером мать плакала, грозилась разоблачить
Венькину ложь, умоляла отказаться ото всей затеи.
Венька, однако, стоял на своем, и молчавшая все вре-
мя бабушка, наконец, сказала:

— Значит, суждено так.

И все сразу успокоились, занялись сборами.

Провожало Веньку все женское царство. Бабушка
поцеловала в лоб, мать судорожно всхлипывала, за-
жимала рукой рот, чтобы не заголосить. Сестрички
восторженно пищали; уезжает Венька, вот бы и им!
Тетя перестала улыбаться, горестно вздохнула, тихо
сказала: «Береги тебя Бог!»

Венька попал в учебный полк для боевой подготов-
ки, а еще через два месяца он уже катил в теплушке
в сторону фронта. Все Веньке было внове, все нра-
вилось, он ехал на фронт, как на игрище. Бывалые
солдаты, выписанные из госпиталей, и бывшие окру-
женцы, попавшие на формирование из мандатных ла-
герей, посмеивались:

— Ты, парень, попридержи парок-то, а то весь вы-
кипишь и до фронта не добравшись.

— Не выкиплю,— уверенно отвечал Венька,— на
немцев кипяточка хватит.

— Остыгне твой кипяточок, колы пульки над голо-
вой засвыстят,— заметил Стороженко, Венькин от-
деленный,— я два роки партизаныв, у плену був тиль-
ки одын день и сбиг; мэнэ, как наши прыйшлы, суну-
лы на провирку до лагеря Энкавэдэ, чы не допомагав
нимцам. Да я ж партизаном був, мать вашу. Пото-
му й не попав у штрафну роту, а ти з окруженцев, хто
видсыжувалыся, хоть и не було на них чужой крови,
пийшлы искупляты свою провынну кровю. А у чому их
провынна?

Венька не раз уже слышал такое от других быв-
ших окруженцев и потому не верил: тоже мне, солда-
ты. Или умри, или победи. Красные в плен не сдают-
ся, а коли сдался, значит, трус. Его батя в плен не
сдался, его батя убит, а эти окруженцы что за цацы.
Вины, видите ли, на них нет. В том и вина, что в плен
попали,

Полк, с которым Венька прибыл на фронт, ночью занял участок на боевых позициях. Из окопов уходили усталые, небритые, замызганные грязью солдаты, их сменяли новые, в чистых стиранных гимнастерках, с шинелями-скатками и тощими вещмешками. Траншеи были глубокие, добротные, с укрепленными блиндажами, но не отсиживаться в них прибывали войска — ждали наступления.

Венька в боевом охранении впервые, а усатый Потапов уже и не сосчитал бы, сколько раз уходил за передовую. Окопчик, в котором засели Венька с Потаповым, отрыли еще прежние окопные хозяева; прикрыт он кустом терна, а неподалеку для ориентира — дерево с ссеченными осколками ветвями. Впереди вражеские окопы и, как говорил ротный, там немцы-эсэсовцы; на участке соседнего полка — власовцы, а их рота на стыке. Вот и гляди в оба, чтобы те или другие не умудрили внезапно чего-нибудь.

О власовцах Венька впервые услышал на фронте. Стал спрашивать, на него цыкнули — не твоего ума дело. Почему? Для Веньки ясно одно: немец — это враг, он пришел в Россию, а не русские в Германию, а власовцы — неясно, вроде свои и против своих?

В ночном дозоре, говорил взводный, главное — не спать и слушать. Уснешь — пропустишь лазутчика или даже ночную атаку; потому в боевом охранении всегда двое, чтобы будили один другого.

Венька напряжен до предела — в уши лезут все ночные звуки. Тьма — хоть глаз выколи, но подозрительного — ничего. Время от времени Потапов локтем шевелит Веньку: «Не спишь?» Венька в ответ тычет ему под бок своим костлявым локтем. Тихо.

Незадолго до рассвета Потапов подал Веньке сигнал — пора возвращаться. Потапов вылез первым и пополз беззвучно. Венька за ним. Ползти трудно, непривычно, земля сухая, изрытая снарядами, того и гляди, чтобы не свалиться в воронку. Неожиданно Венька больно ударился коленом о что-то твердое: камень, что ли? И выронил из рук автомат. В предутренней тишине далеко был слышен звонкий удар металла о сухую землю. И почти сразу же со стороны вражеских окопов раздался хлопок; в воздухе повисла осветительная ракета, потом вторая, третья. Затрещали автоматы, заклекотал тяжелый пулемет, неподалеку от

Веньки рванула, ослепив яркой вспышкой и обсыпав мелкой земляной дробью, мина.

Венька замер, вдавился в землю, даже перестал дышать. Прошло несколько очень длинных для Веньки минут, пока стихла стрельба и погасли ракеты. Венька снова пополз, судорожно цепляясь за каждый выступ. И неожиданно испуганно охнул — уперся носом в чью-то ногу. Потапов? Он подполз ближе.

— Потапыч? — шепнул он неподвижному телу прямо в ухо, но Потапов не шевелился. «Господи! — мысленно взмолился Венька, — неужто?» Он приложился ухом к спине Потапова, не услышал биения сердца, а на ватнике нащупал две рваные дырки. Впервые в жизни Венька касался мертвеца. Он испуганно отшатнулся от трупа, его стошнило. На какое-то время Венька забылся, а когда пришел в себя, вспомнил, что нужно спасать оружие убитого, не оставлять врагу. Нащупав автомат Потапова, он вскинул ремень на плечо, забросил автомат за спину и вдруг совсем близко услышал шепот:

— Мать их трижды, да тут они были, тут где-то. Венька обрадованно пополз на голос:

— Здесь я, здесь! — громко прошептал он.

Его схватили чьи-то руки, ощупали, сорвали с него оба автомата, зажали рот, потом бухнули чем-то по голове, и Венька потерял сознание. Когда он пришел в себя, почувствовал, что руки у него связаны. Голова тупо ныла, мысли путались. Что с ним, где он? Потом его волоком потащили куда-то и, отвернув брезентовый полог землянки, бросили на колченогий стул. Он увидел людей в незнакомой синей форме с нашивками на рукавах, на которых можно было разобрать три буквы — РОА. Они говорили по-русски, но обращались друг к другу как-то не так, как привык Венька. Его о чем-то спрашивали, трясли за плечи, кричали, потом старший ударил его по лицу наотмашь, отчего на Венькиных исхудалых щеках остался след всей пятерни. Венька ничего не мог ответить, он открывал и закрывал рот, как рыба, и молчал. Он не мог понять, чего от него хотели.

Офицер, допрашивавший Веньку, брезгливо отвернулся:

— Ну и добыча, дерьмо, дегенерат какой-то! Начальству еще не доложили о поимке?

— Никак нет,— поспешно ответил маленький шустрый человечек с зализанными светлыми волосами.

— Тогда в обоз его, пусть оклемается. Впрочем, и так видно — красные готовятся. Этот шкет тоже в новой обмундировке, значит, прибывают свежие части. Вам ясно, Семенов? Так и доложим.

— Так точно! — отчеканил маленький офицер и, высунув голову за полог, негромко выкрикнул: — Соколовского ко мне!

Из-за полога вынырнул высокий тощий военный с вислыми усами и застыл по стойке «смирно».

— Уведите этого! — показал на Веньку старший.— Семенов,— обратился он к человеку с зализанными волосами,— растолкуйте ему мой приказ.

Веньку дернули за ворот, он послушно встал. Уже совсем рассвело. В Венькином воспаленном сознании мелькали отрывочные кадры: усатый конвоир на кого-то очень похож, молоденький солдат приткнулся к стене траншеи в обнимку с винтовкой и спит, раненый раскачивает свою руку...

Усач подталкивал Веньку сзади и что-то говорил — торопливо, захлебываясь. Мысли у Веньки, как рваные ниточки, уши заложены ватой, ни один звук не проникает. По траншеям они прошли в тыл, прямо в редкий лесок, и лишь только миновали его и вошли в густой кустарник, усач бросил на землю винтовку, схватил Веньку, прижал к себе. И вдруг все звуки стали ощутимыми. Венька проснулся и первое, что услышал — тяжелые рыдания усача.

Венька высвободился из объятий, взгляделся. Сознание возвращалось медленно; он ткнул себе в рот кулак, чтобы не заверещать мальчишеским дискантом: «Папаня!»

Его папаня, герой. Похоронка в шкатулке дома, мать читает ее каждый день, как «Отче наш», всякий раз слезы текут по ее рано сморщившимся щекам: «Старший лейтенант Соколовский...» Она голосит, хватается за сердце, роняет из рук похоронку, падает, как сноп, лежит, едва дышит.

Упал и Венька, глядя на отца, ноги задрожали и стали совсем ватные.

— Папаня... — наконец проговорил он.

— Сынок, сыночек, родной! Довелось все же увидеться!

Отец опустился перед сыном на колени.

— Что делать, Венечка,— бормотал отец,— приказано в обоз, а могут в расход пустить, наступление...

Отец решительно встал на ноги:

— Схоронись здесь. Потерпи до ночи, понял. Ночью приду, тогда решим, что делать.

Веньку била дрожь. Он и сам не знал, что делать,— не вернулся из дозора; там перед окопами лежит мертвый Потапыч — ни оружия, ни Веньки. А эти и вправду могут расстрелять — кому он нужен перед наступлением. С тем Венька и уснул.

Отец вернулся, когда стемнело. Принес полбуханки хлеба, кусок колбасы, осторожно положил к Венькиным ногам два автомата, его и Потапыча.

— Держи. Это твое оправдание. Алиби. Понял? Своим скажешь: залег в воронке, когда стрелять начали, ночи ждал.

— А поверят? — растерянно спросил Венька.

— Поверят, ты не первый.

Венька засуетился:

— Папаня, а папаня, может, и ты со мной?..

— Я?.. — неуверенно спросил отец. Венька уловил в его голосе сомнение и стал говорить настойчивее: — Сам видишь, советские по всему фронту наступают. Это тут затишье, да надолго ли? Новые части прибывают, значит, готовится наступление, нет вам спасения на этой стороне. Пойдем со мной, папаня, по дороге придумаем чего-нибудь... А, папаня?

— Убьют меня, Веня, как собаку.

— Не убьют, сам увидишь.

— Убьют! — обреченно прошептал отец. — Ладно, что будет, то будет, я тут проход знаю, пойдем. Не говори, что мы родня, а то и тебя к стенке поставят.

Венька доложил командиру взвода о дозоре, обстреле, о смерти Потапыча, о том, что залег в воронке, о перебежчике-власовце; просил не очень наказывать перебежчика — свой он, советский, только ждал случая, чтобы перейти, вот случай и выдался.

Венька докладывал о том же командиру роты, потом приехал военный дознаватель, а к вечеру прибыл капитан СМЕРШа. Он тоже выслушал Венькин рас-

сказ, задал несколько вопросов, отослал Веньку и приказал привести власовца.

Разговор у них был долгий. Венька стоял за дверью блиндажа, старался услышать и не мог. Совсем нервы сдали у Веньки за эти два дня. Наконец, они вышли, отец хмуро взглянул на сына, глаза у отца красные, мокрые. Венька чуть не крикнул: «Ну что, папаня?» Но сдержался.

— Молодец, парень,— подмигнул Веньке капитан,— неплохую добычу приволок. Эти гады сами в плен не идут, а тут на тебе — живой, целехонький власовец.

Он посадил отца в джип и укатил с ним в тыл.

В воздухе пахло наступлением. Ночью был слышен ляг танков, скрип орудийных лафетов, приглушенные голоса — войска размещались плотно, в несколько наступательных линий.

После Венькиной эпопеи с дозором прошло несколько дней. Ему хотелось узнать, как обошлись с отцом, что решили. Спросить было некого, один только капитан-смершевец мог помочь. Венька пошел к политруку роты и напросился послать его с почтой в штаб полка. Все эти дни Веньку не покидала мысль об отце и о том, верно ли он сделал, уговорив отца вернуться. Правда, им зачитывали приговоры военного трибунала, в них за это был расстрел, и это — своим, а отец был власовец...

В штабе полка Венька набил вещмешок почтой, выловил и себе письмишко от матери; дома все хорошо, все живы-здоровы, привет передают. Забежал Венька и в СМЕРШ к капитану, да тот уехал куда-то. Спросил дежурного лейтенанта о власовце, где он, может, повезли дальше? «Ну, естественно,— ответил лейтенант,— такая диковина. В Москву, наверное, отправили». — «В Москву? — удивился Венька.— Надо же!»

От передовой до штаба полка километра три. Туда Венька шел налегке, а назад с мешком, набитым почтой. Путь показался ему уж очень длинным, и он свернул на тропку, напрямик. Миновал березовую рощицу, небольшой кустарник и вышел на бугор — вот где

наблюдательный пункт ставить — все как на ладони. Венька сбежал с бугра, спугнул стаю ворон, закружившихся над кустарником в овраге. «Что они там нашли, дохлую лошадь?» Веньке захотелось посмотреть, над чем хлопочет воронье. Заглянул в овражек, и к горлу подступила тошнота: там вповалку лежали убитые, а в сторонке, будто присел прикурить, его папаня.

Венька бежал, продираясь сквозь кусты, цепляясь ногами за груды развороченной земли, падал, вставал и снова бежал. Он задышался, силы его были на исходе, но остановиться не мог. Он будто слышал папанин голос: «Это ты убил меня! Это ты, ты...»

Возле ротного блиндажа Венька сбросил вещмешок и убежал в укрытие. В Москву, дура, увезли, как же... Слез у Веньки не было, и не плакать ему хотелось; хотелось ему орать, ругаться, драться. Веньку била нервная дрожь, никак не унять. А тут его разыскал Стороженко.

— Слухай, Венько, спозаранку в наступление идем, ништо не кажэ, а жрать дають вид пуза. Я враз и скумэкав. Сходы, поиж, а то, можэ, никоды й не прыйдэться бильшэ.

Венька отвернулся и закрыл глаза.

— Ну, як знаешь. А то пишов бы, га? — Стороженко ушел, а Венька схватил голову двумя руками, заткнул уши и так застыл.

Очнулся он ночью. Услышал тихие голоса — не спят солдаты, ждуть чего-то. Неожиданно перед ним вырос Стороженко:

— Шо, Венько, больный? Га? Нэ ив, нэ пыв. Взводный до госпиталю хотив пислаты, да я видговорыв. Все мы чэрэз тэ пройшлы, Венько, фронт никому лэрко не дався.

Венька тронул его за рукав ватника:

— Дядя Юхим, а ведь тот власовец, знаешь?

— Шо, Веню?

Венька судорожно глотнул воздух:

— ...был мой папаня, батька мой!

Стороженко охнул:

— Ах ты дурэнь, Венько, що ж ты наробив, ридного батька привив сюды. На погыбэль, чи шо?

— На погыбель,— повторил Венька, как эхо,— убили его, дядя Юхим...

И вдруг Венька скинул с плеча автомат, проверил диск, пощупал подвешенные к поясу гранаты, легко взобрался на кромку траншеи и бросился вперед.

— Ты куда? Куда, бисов сын? — приглушенно кричал Стороженко.

Венька рванул с пояса гранату, далеко бросил ее вперед, потом вторую и начал поливать вокруг себя из автомата.

— За папаню, за Соколовского! — орал Венька. — За убитого невинно. Папаня-я-я...

С двух сторон шквалом налетел огонь, в ночном небе повисли светляки-ракеты, заухали орудия, завизжали мины.

Вскоре на КП полка, занимавшего оборону на том участке, затрещал телефон, трубку схватил командир полка:

— Кто, — зарокотало в трубке, и полковник понял: говорит сам командующий, — затеял пальбу на вашем участке? Наступление сорвать хотите? Ваш полк головной. Утеряна внезапность. Вы это понимаете? Винтовку в руки и вперед, вы лично. Если не прорвете оборону — расстреляю.

Полковник стоял перед аппаратом навытяжку, бледный, выкатив глаза. Он осторожно положил трубку и так же, как недавно командующий, грозно спросил:

— Кто?

Майор, начальник штаба, доложил:

— Солдат Соколовский, товарищ полковник, совсем мальчишка, нервы сдали. Как услышал, что на рассвете в бой, так и свихнулся — выскочил из траншеи и давай стрелять. С того и началось.

— Так, — полковник наконец пришел в себя. — Командира его батальона и всех ротных в первую цепь. Я пойду во второй. Это приказ командующего. Вы — на КП. — Полковник посмотрел на часы. — Через пятнадцать минут начнется артподготовка и еще через тридцать минут начинаем. Все приданные силы — на прорыв. Распорядитесь в подразделениях.

Утром наступающие войска расширяли прорыв. Траншеи, из которых на рассвете ушли в наступление

солдаты, опустели, и только разъевшиеся жирные крысы шуршали по блиндажам.

Капитан СМЕРША приехал на участок, где служил тот самый солдат, что привел власовца. Капитан перебрался на другую сторону траншеи, где еще совсем недавно была ничейная земля и куда в ту пору он и носа бы не сунул, и среди многих убитых нашел изрешеченное тело мальчишки-солдата. Солдат лежал навзничь, широко раскинув руки, устремив неподвижный взгляд в хмурое небо, а шапка под головой будто кем-то подстелена.

Капитан нагнулся, вглядываясь в лицо, — совсем юнец, даже усы не растут, — расстегнул ворот гимнастерки и извлек медальон. Он и есть, Соколовский Вениамин Матвеевич. Теперь понятно, что случилось: власовец на допросе назвался Смирновым Михаилом, никаких документов не предъявил, только на руке у него была наколка из двух букв «С. М.». Выходит, не Смирнов он, а Соколовский, и о том, что отца расстреляли, солдатик как-то узнал. Капитан погрозил мертвому кулаком:

— У-у, вражья сила, и тебя бы туда же, стервеца, вместе с батькой, да пуля тебя здесь нашла.

Капитан досадливо пнул ногой мертвое тело и, засунув руки глубоко в карманы шинели, пошел назад, к оставленным траншеям.

Евгений Любин

«АРИФМЕТИКА»

Он не то чтобы удивился, но показалось ему странным, что после месяца предварительной отсидки в Аяне, так и не дождавшись ни следствия, ни суда, везут его на запад и неизвестно куда. Ссадили его в большом городе, где и не бывал раньше никогда. И стало спокойнее, хотя это слово к Виктору и не шло, так как не тревожило его ничто с того самого дня, как прокурор Рабинов все-таки забрал его. Забрал без особых доказательств, больше в зачет старого, хотя обвинить его было проще простого.

После аянской сырой, загаженной предварилки —

городская двухместная камера показалась неожиданной наградой.

Все в этой тюрьме было необычным: и голубой жизнерадостный фасад, и чистота, и вежливость охранников. Не видывал он такого за те десять лет, что мотался по лагерям. Слышал, что времена пошли другие, а такого не представлял. Но проходило все это стороной, вне его, и если задевало, то самым краешком, потому что теперь он стал другим и жил внутри себя. Теперь уже было все равно — знал он это твердо, хотя и не задумывался, чем может кончиться.

В белой стерильной камере настороженно встретил его человек за пятьдесят, но не седой: с волосами светлыми, редкими, зачесанными назад. Под волосами просвечивала розовая кожа. Весь он крупный, обрюзгший, не то обветренный, не то загорелый, но не загрубелый, как Виктор.

Молчали они долго, с неделю, а может, больше, Виктор не тяготился этим. Он жил той настоящей своей жизнью, которую задавил в себе на все эти двадцать с лишком лет. Пытался он проследить ее день за днем, но не получалось. Рвались мысли, и выявлялось что-то неожиданное, но вовсе не страшное ему, а даже радостное и сладкое. Помнилось, как тетка увещевала его пойти в полицаи, а он недолго сопротивлялся. Сопrotивлялся вовсе не от идеи, что был комсомольцем старательным, а от нежелания своего служить где бы то ни было. Оттого и со своими не ушел, хотя звали его хлопцы, добровольно надевшие красноармейскую форму. Призывать же его не призывали, потому как стукнуло ему седьмого июля едва семнадцать.

На третий день, как немцы пришли, выгнала она его в комендатуру и как телка подгоняла до самой Прохоровской, хотя дальше не пошла — еще с гражданской сильно уважала она немецкий порядок и помнила, как служил при них в Раде старший брат Петр. И то ли прыть Виктора понравилась, то ли прямота в глазах — взяли его сразу в особую команду, где встретил он еще пару знакомых хлопцев. Умел он маленько с ружьишком обращаться — учил по военному делу в школе, — но и к автомату сразу приспособился. Технику всякую он очень уважал, и то, как это автомат без перезарядки очередью целой стреляет, никогда не пе-

реставало его удивлять. В тот же день, как выдали ему автомат, разрядил он две обоймы у себя на дровянке, перепугав тетку до обморока.

А через два дня топал он в новенькой форме через весь Подол, толкая впереди старух, да девок, да пацанят чернявых. Стрелять их он робел поначалу с непривычки, но к вечеру на сердце выровнялось, больше рука беспокоила, отяжелевшая от стали, обожженная раскаленным стволом. Правда, приспособился он вскоре держать автомат одной рукой за магазин, упре-рев приклад в живот.

Вспомнилось и другое — не понимал он, зачем это все делается, и, хоть вопросов не задавал, больно обидно было валить из автомата красивых девок. Не крики детей да стоны стариков тревожили его, а девки. Был Виктор больной до девок. Не то чтобы похотлив, а тихий да блеклый, вызывал он только их насмешки и, прищурясь, ждал своего часа. Однако больше всего на свете, даже больше самой смерти боялся он немцев. Верить он в Бога не верил, вернее, мало думал о Нем, хотя в углу у них чистом и висели две иконы с лампадками: Богородица с дитем и Спаситель в сиянии. Теперь же поверил он, что боги есть и эти боги — немцы. Незнакомая, такая недоступная ему речь, хоть бился он над языком четыре года; эта уверенность в себе; всеобъемлющая, невысказанная. Безусловная безнаказанность, дозволенность всего; эта решительность и прямолинейность действий — разве могло быть что-то сильнее, выше, могучее этого.

Да, он не понимал — но так надо, так все равно будет.

Больше не было борьбы страха с желанием отыграть свое. Было только боголепие и возможность скрыться от него.

И он скрывался, действовал наверняка, по привычке шурился, всматриваясь в них. Поминал Куценку из их отряда, которого нашли к ночи с раненой не-сильно девкой, — немцы тут же его пристрелили, и обоих туда же в яму. К яру он ходил больше месяца, пока не огородили его проволокой, а потом забором. Вытаскивал полуживых, выбирал старательно, с разбором, и волочил так метров за сто к логу, в кустарник, где безопасно. Знал, где и как пройти, чтобы не наткнуться на патруль, время выбирал точное: от трех

до пяти утра. За логом, в стоге держал одну неделю две — подкармливал. Были только ноги прострелены. Молодая совсем, можно сказать, девчонка. Стала даже очухиваться. Он забеспокоился — вот-вот уйдет, хоть и сомнительно было. К тому времени в яру лагерь начали строить. Вышки по углам росли — не дай Бог, немцы найдут ее. Стрелять не стал — не место, — нож воткнул сзади, когда лица не видел, ушел не оглянувшись.

Потом с этим хуже стало, так, от случая к случаю. Больше городские попадались, что без пропусков со свиданий бегали. Да тех-то нет ни одной — это уж наверняка. А вот мальчишка... Мог уйти или нет? И чего он ему дался? Зря тогда еще раз не выстрелил. Паренек карабкался по телам и смотрел, смотрел страшными глазами в него, прямо в него. Нет, в лицо, во взгляд стрелять он так и не научился. Слаб, слаб он в чем-то оставался всегда. Это могут только боги — убивать, глядя в глаза. Немцы могли.

Ну, а если он и выполз? Виктор хмыкнул негромко, прищурился. «Значит, я спас еще одного».

Да, в СМЕРШе с ним не церемонились, пожалуй, и до суда бы дошло, но Тимченко спас. Если спросить, почему он дал Тимченко бежать, — не объяснил бы. Наверное, потому, что ничем не рисковал. Да и боги его стали менее голосистыми и уверенными в себе. Шел сорок третий год, и к тому времени уж скольких он пострелял. А если по правде, так от лени своей.

Раз за разом перебирал он операции своей команды и считал. Арифметику он любил с детства, особенно первое действие, хотя вся она ему не давалась. Но считать просто так: до ста, до двухсот, до тысячи ему нравилось. Считал он шаги, считал птиц на деревьях, пока те не улетали, считал убитых мух и складывал их в спичечные коробки, считал прохожих, пока не начинала болеть голова... Будто автоматически подсчитывал он и результаты свои при каждой операции. И сейчас эти цифры всплывали в памяти, но вразнобой, беспорядочно. Складывать же их было тяжелой работой, которая требовала напряжения всех его способностей и сосредоточенности. В уме он считал не шибко, но торопиться было некуда.

Не считая, он мог сложить только Тимченко да еще тех троих, что не застрелил в сарае возле села За-

пруды. Были они последними из отряда, который уничтожила их команда. Ссылался он и на них в СМЕРШе, но знали бы те, что в автомате у него ни одного патрона,— не жить бы ему сейчас. И не он их, а они выпустили его тогда.

Однако отделался он десяткой, и сказать, чтобы здорово рад был,— неправда. Вырвался из СМЕРШа, вот разве что, а смерть свою он окупил сторицей.

* * *

Через неделю знал, что так же, как и Загорелый, взят он по делу Зондеркоманды 311 «с». Это его нимало не растревожило, скорее, влило в правильное русло и как-то оправдало его воспоминания. Он не проявил интереса к своему делу. На допросах молчал и перестал даже кивать головой. От репортеров не таился и вспышки встречал не мигая. В камере тоже больше молчал, хотя сосед попался беспокойный — особенно после допросов — не остановить. Говорил он крикливо, злобно, и слушать его Виктору было тяжело. Путались мысли, сбивался со счета, с правильного приятного лада. Он не знал их по отдельности, а ко всем сразу ненависти не испытывал и подавно. Хотел сосчитать для порядка, может, по привычке старой, но никак не получалось. Прикидывал и так и эдак. Сначала по количеству операций — их закладывал на руке. Помнил, сколько их приходится на каждую операцию с точностью удивительной, но складывал тяжело. Просчитав десять операций, он сбивался, обнаружив какую-то пропущенную, начинал все сначала.

Вот и сейчас, лежа после допроса на упругой, удобной кровати, о какой мечтал еще в Аяне, отложил он восемьдесят третью сотню и еще сорок три, но сосед перебил его.

«Как взяли-то?» — спросил он. Виктор помедлил, ответил неохотно:

«Геолога по нечаянности застрелил».

«Тьфу, дурак,— сплюнул Загорелый,— жид хоть?» Виктор не разобрал поначалу:

«А?.. Не знаю, вроде бы нет». Загорелый опять сплюнул и выматюгался:

«Чего стрелял-то, притомился с безделья или чего? За войну-то у тебя сколько? — и, не дождавшись ответа, продолжал: — Я их уж после войны и то не-

сколько тысяч закопал. Каждый день — праздник. Не работа — мечта. С Украины, конечно, подался, да все не мог успокоиться. Документы справил отменные, подлинные, Исааком Абрамычем стал, да сдуру по Сибири мотался. Только с 53-го надоумило. Приехал в Ленинград. Вот раздолье. Работяг берут куда хошь, через год уже комнату имел. Сейчас квартира, да жинка, да трое ребят. Есть кого оставить, дело наше продолжить.

С завода, конечно, ушел. Копаю уж с лишком десять лет могилы. Работа прибыльная, «Волгу» имею, дачу в Павловске. А главное, поверишь ли, человеком себя чувствую. Дело свое делаю настоящее».

Виктора раздражал его азарт. Свои мысли сбивались, а Абрамыч говорил и говорил, дрожа и загораясь лицом, отчего становился совсем черным, только желтели белки да ровные крепкие зубы.

«Не додушил я тех. Много еще осталдсь. Ох, много. Поверишь, до десятка в день зарывал. Но больно плодятся. Ничего, доберутся, доберутся еще до тех. Есть кому, есть кому», — он затих довольный на момент, но Виктор повернулся уже к стене и в который раз начал свой счет.

Абрамыч был старше Виктора лет на десяток, не больше, но звался по отчеству уже давно. Он никогда не расслаблялся, как Виктор, все годы жил ненавистью и не только не подавлял, а все больше распял себя. Первое время таился он на людях, мерил, с кем и как говорить, но с годами осторожность прошла, заменял он только иногда слова существенные местоимениями: «тех» или «этих». Сильно выпивши, любил говорить вместо «этих» — начальники, а вместо «тех» — интеллигенция. Любил привязаться к интеллигенту и извести словечками, высказываниями своими, а то и подтычинами до бледного состояния. Побоями на людях он не занимался, потому как четко усвоил, где подпадает под закон. За все годы были у него две-три осечки, когда сильно доставалось ему, но это только подогревало его решимость.

Особенно обидное случилось лет десять назад — был он еще крепким, нерасполневшим, и связываться с ним редко кто решался. Матерился он, по обыкновению, на перроне, клял и «тех» и «этих». Кредо свое высказал: «Каждый день убить одного еврея». Огля-

нулся на него старичок плюгавенький, кто, сразу и не поймешь, но поморщился так брезгливо.

Взялся он за интеллигентного старичка сразу и даже с затычинками. Старичок от него — он за ним. Подошла электричка, он за старичком. Старичок через вагоны от него. Он за ним. То ли умаялся старичок, то ли вагон, где людей побольше, выбрал, однако сел. Рядом места нет, а за спинкой — свободное. Абрамыч туда, в бок ему пальцем, Освенцим вспомнил, кредо свое вслух. Старичок покрутился, покрутился, вокруг смотрит. Все, как обыкновенно — кто в окно уставился, кто ухмыляется, но молчат. Абрамыч старичку смазь сделал, за нос подержал. Тот платочком утерся, почему-то не побледнел, а, наоборот, кровью налился. Поднялся и говорит: «Выйдем».

Абрамыч не расслышал, только увидел, как тот в тамбур заспешил. Ну, он за ним. Едва двери стеклянные захлопнулись, замелькали кулачки интеллигента, да так быстро и точно, что Абрамыч остолбенел, а пока соображал, было уже поздно. Старичок вернулся в вагон, сел на свое место. А Абрамыча в вертикальном положении не видать. Поднялся тут капитан артиллерийский, прошел через вагон, в тамбур заглянул — сразу к старичку, назад. «Это вы за что же человека избили?» — спрашивает. Народ весь к интеллигенту лицом и зашумел. Видит старичок — дело плохо, отмолчался, пока поезд к платформе подошел, посидел немного и в последний момент юрк из вагона. Поезд тронулся, а народ так и не успокоился до Ленинграда. Девушка с папашей культурным — в белой рубашке при галстукке — в тамбур вышли — смотрят, лежит Абрамыч. Морда — кусок кровавого мяса, только матерится тихо. Девушка платочек ароматный вытащила, присела над ним. Душу тогда они отвели, однако интеллигентных старичков долго он еще остерегался.

Было за что ему ненавидеть и «тех» и «этих». От войны полного удовлетворения не осталось.

Молчал Виктор, но хотел знать про него Абрамыч много, потому как не встречались они во время войны и в команде 311 «с» не служили. Боялся, что не сравняться ему с Виктором в счете: работал он не автоматом, а инструментом тонким и нешумным. Свои заслуги ставил высоко, однако количества не доставало.

Всего 77 «тех» и «этих», стыдно признаться, хотя работал он на совесть.

— Так сколько у тебя? — приставал он к Виктору.

— Считаю, — ответил тот, наконец, — а ты мешаешь.

Абрамыч сплюнул:

— Пальцев на руке недостает, что ли? — фыркнул презрительно. Виктор помолчал. Надоел ему Загорелый со своим «сколько» да «сколько». Счет, а особенно сложение, подвигался плохо. К концу третьего месяца, на очередной вопрос:

— Ну, плюгавый, сосчитал? — он процедил неуверенно:

— Девяносто две сотни отложил и еще двенадцать, но, видно, не все, путаюсь больно.

Абрамыч недоверчиво нагнулся к лежавшему Виктору.

— Брешешь, парень?

— А ну тебя, — отвернулся тот к стене, — только сбиваешь каждый раз.

Надолго замолчал Абрамыч, подавленный, униженный своим плюгавым, хромым соседом. Потом загорелся весь, приблизился к нему, пошевелил осторожно плечо:

— Послушай-ка, — сказал уважительно и назвал впервые по имени, — ну, а глаза сколько выдавливал или там еще чего такое?

Виктор молчал, но Загорелый не отставал, тряс его.

— Это я не мог, — сказал тот виновато, — это только немцы умели.

— Ха-ха-ха, — захохотал на всю камеру, на всю тюрьму Абрамыч. — Немцы! Ха-ха-ха! Плюгавка ты все-таки, Виктор, плюгавка. — Старый надзиратель подозрительно посмотрел в глазок, шикнул на них. Загорелый продолжал тихо, но Виктор положил руку на ухо, будто задремал.

Скривился Абрамыч, отошел к себе в угол, ближе к окну. Потянулся, скрестив пальцы, довольный. Нет, не зря кичится он перед Виктором и перед следствием выкорезивается. Ругается и кредо свое не скрывает. Свидетеля-то ни одного. Говорил с ухмылкой: «Доказательства, граждане, доказательства. Ненавижу я их и вас всех ненавижу, а за ненависть одну не каз-

нят!» Однако какие-то бумаги, видно, все же отыскались: подвели его немцы со своей страстью к документам.

Сдаваться он не хотел, но к весне исход стал ему ясен. Придя с очередного допроса, где ругался и матерился по-прежнему, сказал он Виктору: «Надо рвать когти». Виктор промолчал. «Ты как хочешь, плюгавый, а я план уже имею».

Свидетелей Виктор видел уже на следствии, но почему-то все ждал черноглазого мальчишку. Мальчишки быть не могло — это он понимал, но не было и мужчин подходящего возраста. Набралось с десяток старух да несколько стариков. Были они те самые или не были — не интересовало его. Речь прокурора выслушал он спокойно и равнодушно, как должное принял меру наказания. Даже слушал последние, самые главные слова прокурора рассеяннo, потому что все еще считал, а надо бы успеть сосчитать.

Еще шесть человек сидели рядом с ним так, будто речь шла не о них, и Виктор подумал, что и они, наверное, считают и потому им не до прокурора. Только Абрамыч ругался и кричал, что судят его незаконно, и требовал свидетелей и доказательств. «Бумажкам фашистским верите, а советскому человеку — нет!»

Назавтра, в шесть утра, как и в первый день суда, пришел в белом халате парикмахер из заключенных. Выбрил их чисто, сказал: «Для прессы стараюсь, душегубы». Абрамыч сплюнул ему вслед, спросил зло:

— Ну, как твой счет, какая сотня? — Виктор ответил нехотя, не сразу:

— Вроде девяносто девятую кончаю. — Загорелый подошел ближе, сказал в самое ухо:

— Да, плюгавый, по количеству я от тебя отстал. Но ведь для тебя это была нелюбимая работа, верно? Ты ведь трус, ты боялся смотреть им в глаза, верно? Ты стрелял издали или всаживал нож в спину. Чего смотришь, я отгадал, точно? А пробовал ты часами обрабатывать одного человека. Ломать его, жечь, рвать на куски. Медленно убивать и не давать умереть ему. Приходилось ли видеть тебе их глаза, полные ненависти, отчаяния или смирившиеся и покорные, со зрачками больше глазниц, расширенными от боли и страха.

Отвернулся, плюгавый, тебе противно или тебе страшно? А мне нет. Ты не можешь даже сосчитать своих, чего же ты стоишь?

А я сохранил в памяти всех до одного. Я помню глаза каждого, помню его стоны и крики. Я помню, кто сколько часов выдержал, помню инструменты, которыми обрабатывал каждого из них. Помню их волосы в холодном поту, кожу, цвет и запах крови. Ну что, страшно? — он наклонился к самому лицу Виктора. Тот посмотрел устало:

— А ну тебя, надоел. Сильно болтлив ты, Абрамыч.

Загорелый матюгнулся:

— Тебя мать твою... к стенке, а я еще выберусь. Ты только смотри, как уговорились. Я держу, а ты берешь карабин. А Косой заткнет ему глотку. Главное — не промахнись, если что. Тебе все равно, даже счету прибавишь, а у меня шанс, — и добавил, сжав ему плечо: — Уважаю я тебя.

Виктор только кивнул в ответ и высвободил плечо.

Провели их туда через большой вестибюль, выложенный цветной плиткой, в коридорчик, из которого одна дверь вела в зал к местам для обвиняемых, а другая в небольшую комнату, где держали их перед началом заседания, комнату с зарешеченным окном безо всякой мебели. Окно выходило в проулок, где их высадили и где стояла машина, в которой их привезли. Проулок тихий, сразу за ним старые деревянные дома с покосившимися заборами, за заборами огорды и жидкие сады.

Столпились все у двери, будто торопились в зал, в котором ждали их вежливые судьи, почтительные адвокаты, вспышки блицев и стрекот кинокамер. Судья по шуму в зале, до начала оставалось немного. Абрамыч раздвинул тех, кто стоял ближе к двери, застучал в нее ногами. Стучал долго и истошно, пока не приоткрылась дверь. Молоденький белобрысый сержант просунул голову, не успел спросить, Абрамыч втащил его за ворот, сжал горло. Косой навалился на солдата, зажал рот. «Ну!» — закричал Загорелый, метнув дикий взгляд на Виктора, и бросился в дверь. Виктор схватил карабин, выстрелил в другого солдата, мелькнувшего в дверях, и, хромя, выскочил из комнаты. Боковая дверь на улицу была открыта — в

ней стоял еще один солдат и на него летел Загорелый. Виктор выстрелил в солдата, тот упал, и осветился проем двери, потом в проеме появился корреспондент, обвешанный аппаратами. Виктор опять выстрелил. Проем освободился, и в нем вырос Абрамыч. Сзади на Виктора навалились, но он успел выстрелить. Абрамыч остановился, будто обдумывая, куда бежать, схватился за косяки. Виктор выстрелил последний раз. Проем осветился.

Виктора скрутили, заломив руки до боли в суставах, а он щурился, довольный, и повторял громким шепотом: «Ровно сто сотен. Сто сотен», — и вздохнул умиротворенно, словно после трудной, но успешно завершённой работы.

Назавтра семерых приговорили к расстрелу, а Абрамыча — к пятнадцати годам, так как не доказано было его личное участие в убийствах.

Косой толкнул Виктора в бок: «Ты его по нечаянности, что ли?» Виктор ничего не ответил. Он не слышал ни приговора суда, ни вопроса Косого. Он опять считал. Утром, во время бритья, вспомнил он, что упустил небольшую операцию из весны сорок второго, которая прибавляла к счету еще восемнадцать, и вчерашняя пальба была ни к чему.

Александр и Лев Шаргородские

ПЕСНЯ О РАЕ

Если вы не слышали «Песни о Рае» — значит, вы никогда не бывали в Африке. Во всяком случае — в Южной. Говорят, это любимая песня буров. Разумеется, после «Трансвааль в огне».

И еще рассказывают, что песня начиналась так...
Терраса кафе плыла в солнце.

Он, как всегда, что-то писал. Она — жевала. Бифштекс «тартар», кусок свежей конины, ананас в шампанском. Все вместе. И жадно. И разглядывала его.

Мало того, что прямо в глаза било солнце — так еще она, с тупым жабым взглядом и со струйкой, медленно стекавшей по подбородку.

Он свернул листки, заказал еще кофе и уставился на озеро.

Скользили первые яхты — была весна.

Яхты скользили сквозь чавканье, и глаз ее, он это чувствовал, ползал по нему, как влажная тварь.

— Сука! — зло произнес он, куда-то в пустоту, в озеро.

— Простите, вы мне? — донеслось до него.

Он резко обернулся — жаба широко улыбалась.

— Я понимаю по-русски. Я из Винницы. Мой муж открыл средство от носа. Нас знала вся Украина... А откуда вы?

— Отсюда, — ответил он.

— А до этого?

— Есть такой город — Москва.

— Это видно по вашей физиономии. У вас она довольно интеллигентная. Вы это знаете?

— Н-е нахожу!

— Мне нужны интеллигенты, — призналась она.

— Зачем? Самые бесполезные существа на земле.

— На копи. У меня алмазные копи, и мне нужны люди, которые не воруют алмазы. Как вы думаете, такие существуют?

— Н-е уверен.

— У вас вид человека, который не ворует.

— Ошибаетесь, — ответил он. — Я ворую все, что попадает под руку. Сегодня я утащу чашку.

Она захихикала:

— Так вы согласны работать у меня?

— Где это у вас, — спросил он. — В Виннице?

— Я живу в Кейптауне, — сказала она. — С Винницей покончено навсегда. У меня две копи в Южной Африке, много алмазов и мало честных работников... Скажите, вы честный человек?

— Я мерзавец, — ответил он. — Я могу проглотить алмаз. В триста каратов.

Она вновь закудаhtала:

— Таких не бывает... Н-о там, где много алмазов — там мало порядочных людей, обратная пропорция... Три тысячи вам хватит?

— Я плохо переношу жару, — сказал он.

— А четыре? С четырьмя вы лучше переносите?

— Пардон, мадам, мне пора, — он встал.

— Сядьте, москвич! — властно сказала она. — Я же вижу — вы голоштанник, даром, что живете на За-

паде. Вы от него далеко. Дальше, чем были там... Вы никогда не сидели за рулем «мерседеса», не поднимались за облака на личном самолете, не пили «Дон Периньян» в собственном шале. Все это для других. А теперь это может быть для вас. У вас будет свой дом. И ранчо. И слуги. Правда, черные... Если захотите, индусы... И за что? Всего лишь за вашу интеллигентную рожу. Вы просто пользуетесь моим тяжелым положением... У меня все воруют. Даже евреи!

— Возьмите верующих,— посоветовал он.

— Особенно они! Я вижу в моем телевизоре, как они запихивают камни в свои пейсы. Они не знают, что у меня телевизор... Они запихивают — а я потом должна рыться в их пейсах. Это адская работа... Ну, я вылетаю завтра через Дакар, вы летите?

— Как вас зовут? — спросил он.

— Интересно, кто кого нанимает? Ну, Рая...

— Расскажите мне, Рая, что вы делаете с деньгами?

— Лучше расскажите мне, что вы делаете без? — спросила она.— Пьете кофе? И снимаете меблированную студию в Паки. По утрам вы строчите ваши никому не нужные шедевры, а потом разглядываете из окна фланирующих проституток? Ваших денег хватает только на то, чтобы пожирать их глазами... Послушайте, вы же еще красивый мужчина...

— Еще?

— А что вы думаете — «уже»? «Уже» — давно прошло. Вам ведь сорок шесть, не так ли?

— Сорок пять! — сказал он.

— Ну, так сколько вам еще осталось наслаждаться жизнью?..

— Мадам,— произнес он,— вам уже добрых пятьдесят, и вы... никогда не были большой красавицей.

— И вы правы! Но у меня всегда были деньги. Даже там, где денег нет! А вы когда-нибудь видели некрасивого богатого человека? Я — нет! На шею моему мужу вешались красавицы, какие вам не снились в ваших писательских снах. А он выбрал некрасивую Раю. Так вы летите или нет?

— Где вы откопали эти копии? — спросил он.

— У настоящих евреев,— загадочно произнесла она,— всюду есть родственники. И иногда они умирают.

— У вас умерла тетя в Кейптауне?

— Дядя, царство ему небесное... Дяди не стало, а копи остались... И завтра вечером мы можем быть там, где есть все, кроме интеллигентных харь. Дефицитный товар. Иначе я бы к вам не обратилась.

— Вы уверены, что моя харя останется такой же, когда я увижу алмазы?

— Есть такие идиоты, которые останутся интеллигентами, что бы ни случилось...

— Спасибо за откровенность,— поблагодарил он.

— Я вас не понимаю. Чего вы, собственно, размышляете? Что вам здесь терять, кофе? Так у нас и кофе лучше, в нашем частном клубе. И вы станете его членом, и сможете поболтать с самим Оппенгеймером. К тому же у нас нет антисемитизма и нет черных на террасах кафе, как у вас.

— Будут,— пообещал он.

— Вы нас плохо знаете... Европа — это коммунальная квартира, все вместе — белые, черные, китайцы... Я, мой дорогой, предпочитаю квартиру отдельную.

— А я всю жизнь жил в коммунальной,— ответил он.

— У вас слишком развит дух противоречия,— произнесла она.— Это присуще нашему народу. Как и страсть к деньгам. Некоторые, правда, это скрывают. Но не очень удачно.

— Вы считаете наш народ — избранный,— сказал он.— Но, если и да, то не в этом.

— Самый длинный путь, господин писатель,— это путь к кошельку. Я предлагаю вам счастливую возможность его сократить. Когда у вас будут деньги, вам и писаться будет легче. Сознайтесь, ведь они вам нужны?

— На круассаны и на кофе,— сознался он.

— Который кофе вы сегодня пьете? — спросила Рая.

— Кажется, третий.

Рая взглянула на его тощую фигуру.

«Из меня спокойно можно сделать трех писателей,— подумала она.— А может, даже четырех».

— Официант,— крикнула Рая,— принесите для молодого человека крок-месье, бифштекс и мороженое!

— Сначала мороженое,— поправил он.— И в конце тоже.

Он жадно пожирал мороженое «Romanoff» и задавал вопросы.

— Скажите мне, Рая,— спрашивал он,— ради чего вы живете? Ну, миллион, потом еще, затем снова — что дальше?.. Вы умрете — и черви сожрут вас.

— А кто сожрет вас? — поинтересовалась Рая.

Он поперхнулся и перестал жевать.

— О вас же даже песни не напишут,— сказал он.

Рая внимательно взглянула на писателя:

— Вы уверены?

— Абсолютно! Кто будет о вас писать?

— Вы,— просто сказала Рая,— вы...

Она достала чековую книжку и выписала две тысячи долларов.

— Держите! — Рая протянула чек.

Такую сумму он не получал никогда. Даже за книгу.

— Но я прозаик,— начал он.— Я никогда не писал песен...

Она добавила тысячу.

— За три вы станете поэтом?.. Только запомните — это должна быть трогательная песня... Как простая еврейка из Винницы спасает от голодной смерти тысячи черных, а также пейсатых, а они, в знак благодарности, прячут алмазы в свои пейсы. И назовите ее без выпендронов, просто: «Песня о Рае». Знаете что-нибудь на манер «Трансвааль в огне». Помните?

И она запела визгливым голосом.

Трансвааль, Трансвааль, страна моя,
Ты вся горишь в огне...

— До сих пор, когда ее пою, у меня по телу мурашки бегают...

— У меня тоже...— сознался он.

Всю ночь он трудился, к утру текст был готов.

— Прекрасно,— пропела Рая,— вы — талантливый поэт. Вот только мало заряда. Чуть мажорней. Вы, наверно, заметили — я оптимистка. И потом — вы написали для сольного исполнения. А ее должны петь большие коллективы. Хоры. Я могу вам предложить припев. Я когда-то в детстве тоже писала стихи.

И она вновь запела.

— Рая, Рая, живи, не умирая...

И он подхватил:

— Всем людям на земле хоть в чем-то помогая...

— Вы меня верно чувствуете...— сказала она.

Сейчас эту песню поют все. Правда, только в Африке. Причем Южной. Ее запевают мужественными голосами негры на копиях, им подпевают бородатые евреи, поддерживают скауты.

Иногда ее исполняет сама Рая. С хором...

Если вы ее не слышали — значит, не бывали в Южной Африке...

Аркадий Львов

ЧЕЛОВЕК ИЗ ВОХР

Он сказал, что не пропустит меня. Я сделал шаг вперед, он встал из-за своей конторки, в полсекунды опередил меня и очень спокойно повторил:

— Нельзя.

— Почему?

Он смотрел на меня в упор, спокойно, без раздражения. Так смотрят люди, которые удивляются не тому, что правила нарушаются, а тому, что их могут соблюсти без принуждения или хотя бы без просмотра.

— Почему? — спросил я опять.

Он смотрел на меня по-прежнему в упор, но теперь он явно раздумывал, оттолкнуть ли меня просто, взять ли за руку, чтобы выдворить, как выдворяют пазойливых детей, или, прежде чем выдворить, объяснить все-таки, почему именно нельзя.

Сначала я уводил глаза в сторону, то влево, то вправо, но, когда мне показалось, что еще секунда и он возьмет меня за руку, чтобы выставить за дверь, я остановил свои глаза. Теперь наши зрачки держались на двух жестких осях.

— Шестнадцать часов,— сказал он.— Конец рабочего дня.

— Звонка еще не было.

Он поднял левую руку, оттянул рукав гимнастерки, из тех, что носят пожарники, с синими петлицами, и, держа перед собою левую руку, правую протянул

к звонку. Я поднял свою тоже и стал следить за часами. Через двенадцать секунд он нажал кнопку. Звонок дребезжал неистово, истерически, негодуя на людей, которые недостаточно быстро оставляют свои рабочие места.

— За двенадцать секунд,— сказал он сочувственно,— нельзя подняться на третий этаж.

— Можно,— возразил я.

— На третий? Нельзя. У нас высокие этажи.

У него были скорбные глаза: перед ним стоял человек, который в самом деле не понимал, что на третий этаж нельзя взбежать за двенадцать секунд. К тому же этот человек не учитывал, что понадобится еще время на то, чтобы пересечь лестничную площадку и пройти в зал, где сидят архитекторы.

Мы стояли друг перед другом молча — он сказал уже все, я искал нужные слова. И он терпеливо ждал моих возражений, чтобы еще раз показать всю нелепость и вздорность моих притязаний. По-моему, он приготовил даже ответ на довод, который только еще начал созревать в моей голове.

— Послушайте, но я бываю здесь почти ежедневно, и меня никогда не задерживают.

Он улыбнулся и сказал:

— Я здесь новый человек и отвечать за прежние беспорядки не могу.

— Почему беспорядки? Просто здесь сидели обыкновенные, разумные люди.

— Не знаю, кто здесь сидел,— сказал он вдруг жестко, с осуждением, истинные размеры которого зависят исключительно от интонации.— Может быть, здесь сидели обыкновенные, разумные люди. Не знаю, может быть. Я попрошу вас отступить на два шага. Нет, не сюда, а сюда. Да, сюда.

На цементном полу, через всю площадку, были проведены две полосы — красная и синяя, сначала красная, затем, снаружи, синяя. Когда я отступил за синюю, он сказал удовлетворенно: да, сюда. Потом он встал на черту, осмотрел мои ноги, дважды склонив голову вправо, и вдруг очень решительно, очень быстро пошел к своей конторке. Когда он уселся на стул и взял лезвие, чтобы очинить карандаш, я еще раз осмотрел свои ноги. Не целиком ноги, а только ступни. Каблуки были сомкнуты, носки врозь, раствор рав-

нялся трем четвертям ступни. Достаточно было, даже мысленно, соединить три точки — каблук, сомкнутые в одно целое, и два носка, — чтобы почувствовать под собою идеальный равносторонний треугольник.

Не знаю, в чем дело, но мне это понравилось. Возможно, это было просто почтение к геометрической строгости и целесообразности — давнее, со школьной еще скамьи.

Потом я заметил, что носки мои — оба носка — удалены, каждый миллиметров на пятнадцать от си-ней черты. Сперва, впрочем, мне показалось, что первый отставлен на миллиметр-полтора дальше, но, при-смотревшись, я убедился, что ошибаюсь. Я даже установил, отчего именно произошла ошибка: рант правой туфли был загнут кверху круче, чем рант левой.

Теперь у меня не стало ни беспокойства, ни раздражения — я уверенно смотрел на человека, сидящего за конторкой, и ожидал, что вот сейчас, с секунды на секунду, он поднимет голову, еще раз осмотрит меня и одобрит — кивком, улыбкой или просто хлопнет по плечу: молодец ты, мол, сукин сын, понимаешь дело!

Но человек за конторкой был занят и не замечал меня. Очинив карандаш, он осмотрел его со всех сторон, раза два-три подправил конус грифеля лезвием, провел на бумаге несколько пробных линий и снова подправил грифель лезвием. Затем он взял резинку, которая лежала перед ним, и перенес ее вправо. Точное место для резинки он нашел не сразу, но прост-ранственно колебания его ограничились кругом с радиусом сантиметра всего в три-четыре, не больше. Да и то, я думаю, это объяснялось исключительно тем, что он еще недостаточно освоился со здешней кон-торкой.

Линейку он положил справа от резинки, так что верхняя ее кромка составила естественное продолже-ние наружной, относительно него, стороны резинки. В какое-то мгновение мне показалось, что он хочет подправить положение линейки, и я подался вперед, чтобы предостеречь его от ложного шага, но, прижав-шись к спинке стула, он смотрел на линейку уже спо-койно и уверенно, может быть, даже благодушно, если под благодушием иметь в виду истинное равновесие духа.



Теперь ему предстояло взяться за тетрадь. Пожалуй, он промедлил лишнюю секунду. Если не целую, то полсекунды наверняка — за это я готов поручиться головой. По-моему, он и сам почувствовал это — во всяком случае, тени, которые внезапно проступили у него на переносице, у стыка бровей и в углах рта, не могли иметь никакой иной причины, кроме досады его на себя.

Раскрыв тетрадь, он отогнул скрепки и осторожно, чтобы не увеличить отверстий, снял двойной лист. Затем он загнул скрепки концами внутрь, как было вначале, закрыл тетрадь, отодвинул ее влево, подальше, чтобы не задевать ее локтем при работе, и взял только что приготовленный двойной лист бумаги. Складывая лист вдвое, по первому впечатлению, он не прочь был воспользоваться прежней, из тетради еще, линией сгиба. Но, едва перегнув лист, он убедился, что совместить углы при этом никак невозможно, и, укоризненно покачав головой, стал намечать новую линию сгиба — по предварительно совмещенным углам. Лист топорщился, неравномерно вздуваясь у старой линии сгиба; он аккуратно, терпеливо расправлял его, затем, после тщательного осмотра, положил лист на конторку, прижал его по совмещенным сторонам и углам линейкой, на которую встали, как ножки циркуля, два пальца левой руки — большой и указательный, — а правой рукой, ладонью, стал поглаживать лист. Наконец, когда новая линия сгиба приобрела достаточную четкость, он прошелся по ней несколько раз краем ногтем большого пальца.

Когда он поднял лист, чтобы осмотреть его и с другой стороны — той, которая была обращена к столу и оставалась невидимой, — я поразился: по всей линии сгиба не было ни малейших признаков ряби. Мне хотелось выразить ему свое восхищение, но какое-то чувство, очень властное, очень категорическое, требовало от меня выдержки и корректности. Странно, однако я совершенно определенно сознавал — именно корректности. В цирке, когда выполняется очень опасный номер под куполом, у меня бывает чувство вроде этого, и я до боли в затылке и висках негодую на людей, которым их собственные восторги и аплодисменты дороже мужественных усилий акробатов. Я понимаю, это сопоставление воздушных акро-

батов и человека за конторкой может вызвать наре-
кания — может, но только со стороны тех, кто не дал
себе труда правильно понять меня: я говорю лишь о
ничтожной ценности наших восторгов сравнительно с
достижениями, которым они адресованы.

Взяв двумя пальцами лезвие, он осторожно про-
пустил его внутрь сложенного пополам листа и мед-
ленно, плавно стал продвигать его вдоль сгиба. Только
однажды он остановился — видимо, у него возникло
опасение, что лезвие уходит в сторону. Приподняв
лист, он убедился, что оснований для тревоги нет, и
тогда уже быстро, раза в два быстрее, чем до этого,
повел лезвие вдоль сгиба.

Два новых листа были совершенно одинаковы. Но
он предпочел все-таки детально осмотреть каждый из
них, чтобы не упрекать себя впоследствии за неумест-
ную поспешность. В такой ситуации решения даются
нелегко — из двух равных выбрать преднамеренно то
или другое невозможно, здесь нужно действовать на-
угад, не раздумывая!

Мне хотелось сказать ему: «Возьмите верхний, у
него то преимущество, что он верхний и его проще
снять». Однако в это время он повернул плоскость на
сто восемьдесят градусов, и теперь тот, что прежде
был нижним, оказался наверху, а верхний — снизу.
Не было ли это откликом на совет, который я хотел
ему дать? Возможно; во всяком случае, трудно пред-
ставить себе более убедительное и наглядное обнаже-
ние призрачной вескости моего совета.

Разведя обе руки, он держал перед собою листы
уже врозь. Это длилось не больше секунды — вдруг
он очень решительно отвел левую руку в сторону и
почти одновременно с этим опустил против своей груди
правую. Несомненно, он нашел самое точное и разум-
ное решение — в противном случае, ему пришлось бы
отложить ненужный лист вправо, и этот лист непре-
менно накрыл бы карандаш, линейку и резинку, то
есть все нужные ему для работы принадлежности!

Линейка была у него тридцатисантиметровая, ме-
таллическая, завода имени Воскова, ГОСТ 427—56, с
отверстием в правом углу, для крючка. Отсчитав пять
клеток сверху, он положил линейку на лист так, что
оба конца ее одинаково выступали за боковые края
листа. И в дальнейшем, всякий раз опускаясь на три

клетки, он тщательно следил за тем, чтобы симметрия не нарушалась. Разумеется, на качестве чертежа это никак не сказывалось, но тем не менее я совершенно отчетливо сознавал, что все должно быть именно так, а не иначе. Возможно, здесь обнаруживало себя то естественное ощущение должного, которое в другом случае подсказывает мне, что пуговицы на данном костюме или мундире опущены, подняты или отставлены в сторону на два миллиметра больше, чем следует. Почему именно два миллиметра? Не знаю — поэтому здесь уместно говорить лишь о естественном ощущении должного. Почему мне нравится прямой или вздернутый нос и не нравится длинный, крючком? Потому что длинный, крючком, не нравится, а прямой и вздернутый нравится — разве я должен оправдываться в этих своих вкусах и приверженностях? И наконец, разве естественное нуждается в оправданиях!

Машинально, совершенно машинально я бросил взгляд на свои ступни — пятки чуть-чуть разомкнулись, а зазор между носками, напротив, сократился с трех четвертей до двух третьих. Черт возьми, мне было очень неприятно видеть это, тем более, что я ступил еще и на синюю черту, хотя последнее нарушение — то, что я оказался на синей черте, — было прямым следствием предыдущих — разомкнутости пяток и, соответственно, сближения носков.

Я привел в порядок носки, пятки и еще раз проверил направление рук. Руки мои были безупречны — возможно, это и не повод для восхищения, но не почувствовать удовлетворения я не мог: господи, ведь наши руки обычно еще болтливей языка!

Я не знаю, заметил ли он это мое шевеление, и — что еще важнее — если заметил, то дал ли правильное объяснение. Мне мучительно хотелось спросить у него, все ли я сделал, как надо, но тут же я понял, что это хотение мое шло исключительно от тщеславия: пусть еще, еще раз пусть похвалят меня!

Одолев этот приступ убогого тщеславия, я уже не думал о себе. А он, он думал обо мне? Едва ли — у него было свое дело, и оно требовало человека целиком.

Расчертив лист — слева один столбец шириной в сорок пять миллиметров, девять клеток, справа пят-

надцатимиллиметровые, три клетки,— он выпрямился, уложив кисти на конторку, и с минуту глядел на этот лист сосредоточенно, переживая, должно быть, тягостный момент эмоциональной заторможенности: вроде бы налицо все основания спокойно, уверенно улыбаться, а вместе с тем... Вот именно: а вместе с тем! Откуда оно, это загадочное самоограничение?

Наконец, он улыбнулся и чуть-чуть опустил подбородок — мышцы нижней челюсти утратили напряженность, какая бывает при стиснутых зубах. У меня опять появилось дурацкое желание выразить вслух свой восторг. Нет, мне вовсе не хотелось объяснять ему, как тонко и глубоко его проникновение в душу обыкновенной карандашной линии, мне просто хотелось восклицать, пользуясь, как дети, одними междометиями.

Однако тридцатилетний человек не ребенок — я сумел сдержать себя, и приглушенный вздох был лишь бледной тенью той бури, которая бушевала во мне. Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что он услышал мой вздох,— во всяком случае, на мгновение он застыл, как будто ожидал повторения уже раздавшегося однажды звука. Новый выдох нещадно распирал мою грудь, гортань и полость рта. Вырвавшись наружу, он свел бы на нет здешнюю деловую тишину, и я чудовищным усилием взнуздal выдох, пропуская воздух минимальными порциями через нос.

— Так,— сказал он решительно, возвращая линейку на прежнее место, справа, где лежала резинка.— Так.

В руке у него оставался только карандаш, он осмотрел его и трижды коснулся лезвием — больше для порядка, чем по необходимости, потому что завершен был важный цикл работ. Подтянув расчерченный лист правым углом кверху, чтобы удобнее было писать, он уложил правую руку, кистью и половиной предплечья, на конторку, а вслед за ней — левую, всем предплечьем, от концов распрямленных пальцев до локтевого сгиба.

Писал он уверенно, неторопливо, но не было в этой его неторопливости ничего от раздражающей медлительности. В верхней строке, посредине, разместилось только одно слово — ТАБЕЛЬ,— а под ним, буквами в одну вторую верхних, остальные: выхода и не-

выхода на дежурство личного состава ВОХР по «Гипрограду» на март месяц.

Затем, после секундной паузы, он перебрался в столбец для фамилий и быстро, значительно быстрее, чем накануне, стал заполнять прямоугольники: фамилия, имя, отчество. Отчество — только инициалом или двумя-тремя буквами, как позволяло место.

Заполненный столбец он не рассматривал, а тут же, без промедления занялся квадратами — три клетки на три. Сначала в квадраты, по диагонали, он вписывал только ключи от городских ворот, уменьшенные раз в десять. Странно, однако эти ключи, отдаленно напомилавшие обозначения шахматных фигур в сборнике этюдов и задач, давали ощущение совершенно реальной физической тяжести. Не могу понять, как он достиг этого, пользуясь одним, без перемены, карандашом! За каждым квадратом с ключом следовал свободный, еще не заполненный квадрат. Прежде чем взяться за них, он вычертил в воздухе эллипс, прямоугольник и угол, поставленный вершиной на прямоугольник. Вслед за этим он уверенно и неторопливо, как полминутой раньше ключами, принялся заполнять каждый свободный квадрат прямоугольником со вписанным в него эллипсом и углом, поставленным на него вершиной. Вершина крепилась на вертикальной оси симметрии эллипса в точке ее пересечения со стороной прямоугольника.

Фигура эта, решенная с предельной четкостью и простотой, поначалу тем не менее озадачила меня, и я никак не мог найти ее реального предметного прототипа. Точнее, прототипов было чересчур много, и ни одному из них нельзя было отдать предпочтения. Однако едва он ограничил стороны углов — у первого еще, самого первого! — крошечными, как металлические опилки, шариками, меня осенило: Господи, да ведь это — телевизор! Телевизор с телескопической комнатной антенной.

Теперь кандаш его висел над свободным полем под графиком: это место предназначалось, видимо, для расшифровки условных обозначений. Откровенно говоря, я не видел серьезной надобности в расшифровке, потому что символы, найденные им, лишены были всякой двусмысленности. Однако, когда он, решительно переведя карандаш к первой строке, положил ключ

поверх штыка, крест-накрест, я понял — впервые, должно быть, в своей жизни, нутром понял, — что, как ни совершенна однозначность, она может быть еще совершеннее.

Но даже эта счастливая находка, мне кажется, не сразу избавила его от беспокойства и сомнений. «Послушайте, — хотелось мне крикнуть ему, — не тираньте себя! Совершенство не терпит излишеств, а ваши эмблемы — совершенство. Если же, паче чаяния, кто-либо из ваших людей истолкует эти эмблемы превратно — безразлично, от недомыслия или избытка воображения, — то наверняка такому человеку не место в ВОХР».

Он улыбнулся — радостно, свободно, не скрывая облегчения.

— Товарищ, — сказал он мне, — вы, конечно, еще не масса, не машина в целом...

— Винтик, — сказал я, — один винтик.

— ...но к вашему мнению, товарищ, — ах, какие лучистые глаза у него! — я обязан прислушаться.

Он подошел ко мне и секунд десять глядел на меня в упор — нет, теперь мои глаза не бегали. Не бегали.

— Да, — сказал он, — это не может быть непонятно: ключ и штык — боевой пост, а телевизор...

— ...отдых, свободный от дежурства день, — спешно закончил я.

— Мне казалось, — произнес он задумчиво, — это несколько отвлеченно.

— Отвлеченно? — изумился я. — Да это же сама реальность, вот, как ваш стул, чернильница и этот стенд с фотографиями.

Когда я перечислял предметы, он оборачивался и секунду-другую задерживался на них взглядом: предметы были привычные, но, должно быть, он увидел в них что-то такое, чего прежде не замечал, и улыбнулся доброй улыбкой очень доброго человека, который приподнял с пола ребенка, чтобы приласкать его.

— Товарищ, — сказал он вдруг, — вы чересчур долго ждете. Это нехорошо. Там, наверное, собрание — оно может затянуться. Скажите, кто вам нужен, я вызову его.

— Мне совестно утруждать вас — я сам подымусь. И к тому же пост...

— Нет,— возразил он жестко,— туда нельзя: там чертежи.

Я сказал, что во дворе стоит ящик, куда сбрасываются чертежи после того, как их перевели на синьку. Дети пускают эту бумагу на змея.

— Товарищ,— повторил он жестко,— туда нельзя: там чертежи. Чтобы подняться наверх, мне надо запереть дверь. Прошу вас выйти. Если будут стучать, объясните, что я у архитекторов и сейчас вернусь.

Он подошел к конторке, выдвинул ящик справа, взял ключ, затем задвинул ящик, запер его, погасил настольную лампу и повернулся ко мне. Я сделал шаг назад, я бы сделал еще второй, третий, четвертый — в общем, сколько надо,— но на третьем этаже в это время хлопнула дверь, поднялся, стремительно нарастая, гул, и в следующее мгновение этот гул, перемешанный с цоканьем стальных каблучков и тяжелым мужским топотом, покатился вниз.

— Кончилось собрание,— сказал я.

Он не ответил — он не видел и не слышал меня. Лицо его странно посерело, а тени, которые легли у стыка бровей и в углах рта, были черные, припорошенные по краям синькой.

Подойдя ко мне почти вплотную, он сказал хриплым голосом:

— Вы слышите?

— Да,— кивнул я,— слышу. Не огорчайтесь: люди устали — им нужно размяться.

— Размяться,— повторил он шепотом.

Коридор был узкий, и пробегавшие задевали меня с обеих сторон — слева и справа.

— Размяться,— прошептал он снова.

Потом меня хлопнули по заду и, ухватив за плечо, повернули к нему спиной. Поворачиваясь, я увидел, как он вздрогнул и отшатнулся, точно от удара по темени. Я хотел сказать ему: «Не надо стоять здесь — пройдите за конторку», — но меня потянули уже к выходу. Кричать из-за дверей было бессмысленно — он все равно не мог услышать меня.

Фридрих Горенштейн

С КОШЕЛОЧКОЙ

Авдотьюшка проснулась спозаранку и сразу вспомнила про кошелочку.

— Ух ты, ух ты,— начала сокрушаться Авдотьюшка,— уф, уф... Вчерась бидон молока несла, ручка подалась, прохудилась... Успеть бы зашить к открытию.

И глянула на старенький будильник. Когда-то будильник этот будил-поднимал и Авдотьюшку, и остальных... Кого? Да что там... Есть ли у Авдотьюшки ныне биография?

Советский человек помнит свою биографию в подробностях и ответвлениях благодаря многочисленным анкетам, которые ему приходится весьма часто заполнять. Но Авдотьюшка давно уже не заполняла анкет, а из всех государственных учреждений главный интерес ее был сосредоточен на продовольственных магазинах. Ибо Авдотьюшка была типично продовольственной старухой, тип, не учитываемый социалистической статистикой, но принимающий деятельное участие в потреблении социалистического продукта.

Пока усталый трудовой народ вывалит к вечеру из своих заводов, фабрик, учреждений, пока, измученный общественным транспортом в часы пик, втиснется он в жаркие душегубки-магазины, Авдотьюшка уже всюду пошнырять успеет, как мышка... Там болгарских яицек добудет, там польской ветчинки, там голландскую курочку, там финского маслица. Можно сказать, продовольственная география. Вкус родимого владимирского яблочка или сладкой темно-красной вишни она уже и вспоминать забыла, да и подмосковную ягодку собирает, как помощь к пенсии, а не для потребления.

В еще живые лесочки с кошелочкой пойдет, как в продовольственный магазин, малинки-землянички подкупит у матушки-природы, опередит алкоголиков, которые тоже по-мичурински от природы милостей не ждут, малинку на выпивку собирают. Так лесочки оберут, что птице клюнуть нечего, белке нечего пожевать. Оберут братьев меньших, а потом на братьев-сестер из трудящейся публики насыдут.

Продаст кошелочку подмосковной малинки — пяти-

десятиграммовую стопочку по рублю, купит килограмм бананов из Перу по рупь десять кило. Продаст чернички по рупь пятьдесят стопочку, купит марокканских апельсинов по рупь сорок кило. Чем не жизнь при социализме? Правильно говорят западные борцы за мир. Жаль только, что в наглядной своей агитации не используют они Авдотьюшкин баланс, Авдотьюшкину прибавочную стоимость.

.....

Авдотьюшка, продовольственная старуха, в торговом разбое участвовала давно, опыт имела, а орудием труда у нее была кошелочка. Любила кошелочку Авдотьюшка и, готовясь к трудовому дню, приговаривала:

— Ах ты моя кормилица, ах ты моя Буренушка.

И план у нее был заранее составлен. Сперва в «наш» — это магазин, который рядом с домом. Посля в булочную. Посля в большой, универсальный. Посля в мясной. Посля в молочный. Посля в «килинарию». Посля в магазин возле горки. Посля в другую «килинарию». Посля в магазин, где татары торгуют. Посля в овощной ларек. Посля в булочную против ларька. Посля в магазин возле почты...

.....

В большом магазине покою никогда нет. Человек туда нырнул, волны подхватили, понесли... Из бакален в гастрономию, из гастрономии в мясной... И всюду локти — плечи, локти — плечи... Одно хорошо — пихнуть здесь не могут, падать некуда. Но локтем в обличье — морду, это запросто.

Вот вывезли на тележке горой плоские коробки селедки. Для Авдотьюшки такая ситуация мед-печенье... Очереди — порядка нет, разбой в чистом виде. Кто схватит. Тут не лисья хитрость Авдотьюшке нужна, а мышиная. Как в цирке — раз, два — тележка уже пустая. Оглядывается народ, смотрит, что у кого в руках. Мужчины схватили одну-две... Некоторые схватили воздух, стоят злятся. Лидируют крепкие, умелые домохозяйки — по три-четыре коробки. Есть и одинокие старушки среди лидеров. У Авдотьюшки три коробки в кошелочке...

Вообще, если продовольственные старухи объединяются — это грозная сила. Однажды семь старух, в том числе Авдотьюшка, перли к прилавку, друг на

друга опираясь цепочкой. А передняя, Матвеевна, которая ныне с переломом в больнице, опиралась на палку-клюку. Всех раскидали, добыли польской ветчинки. Правда, предварительно ситуацию оценивать надо. Например, в такую ситуацию, которая у мясного отдела, лезть нельзя... Что-то вывезли, а что, не ясно. Полутолкучка, полупотасовка. Некоторые натянуто улыбаются. Это те, кто пытается свое озверение превратить в шутку. Однако большинство лиц серьезные и злые. Работают.

Ой, уходи, Авдотьюшка. Схватила селедочку, уходи. Селедочка не бульончик, по кишкам плывет щекотно, и отрыжка у ней болезненная... Но ведь хочется. Не докторам же все угодать, и себе угодить надо. Картошечка соль возьмет, а сладкий чаек вовсе успокоит. Схватила жирной селедочки, уходи, Авдотьюшка, пока цела. Уходи, Авдотьюшка...

Да день неудачный, все не так... Поздно спохватилась Авдотьюшка. Было не повернешься, стало не вздохнешь... И новым запахло — махрой-самосадам, дегтем, дегтем посадским... Приехали... Вот и автобусы их экскурсионные возле универсама. В каждом автобусе передвижной штаб продотряда. Сюда купленное-награбленное сносят. Весь автобус в кулях, мешках, авоськах. В разных направлениях движутся бойцы — крепкорукие мужчины и женщины. А в разведке верткая молодежь. Бежит деваха конопатая.

— Дядя Паршин, тетя Васильчук велела передать, растительное сало дают.

— Какое еще сало, лопухая?

— Желтое,— радостно кивает конопатая,— я влезла, смотрю, дают... А тетю Васильчук какой-то как поддал плечом...

Но дядя Паршин уже не слушает.

— Ванюхин, Сахненко! С бидоном!

Побежал боевой расчет с бидоном на сорок литров... Ой, много посадских, ой, моченьки нет... И еще бидон вперли.

— Ой, помо... помосите. Помо...сите!

Лихо работает посад. Колбасу, сыр, крупу по воздуху транспортирует. Жатва идет. Не пожнешь, не пожуюшь. А не пожуюшь, возьмешь партийную газетину — раздражаешься. Худо, если в посаде идеологические шатания начнутся. Посад, это ведь кто? Это

лучшие драчуны России... «Мы если хоть как-то сыты будем, кому угодно накостыляем... Ты только свистни, ЦК, ты только крикни: «Товарищи, полундра!» Но вовсе без еды никак нельзя, ЦК. Посад твоя опора, братья ЦК, а ты шлюху Московию кормишь... Хотя у тебя и в Московии не всегда водка в наличии для заправки организма».

Спаслась Авдотьюшка. И кошелочку спасла... Авдотьюшка вдоволь на свете пожила, умная. Она не правду ищет, а продукты питания. Да день такой, что уж не по плану. Зашла в одну «килинарию». Тихо, спокойно, воздух чистый, и прилавки чисто прибраны. Хоть бы что туда положили для виду. Хоть бы кость собачью. Продавщица сидит, рукой щеку подперла. Народ входит, ругается-плюется. А Авдотьюшка вошла, постояла, передохнула и спрашивает:

— Лангетика посвежее не найдется, милая? Или антрекотика помягче?

— Ты, видать, бабка, адресом ошиблась,— отвечает ей продавщица,— тебе не в кулинарию надо, а к главному врачу... Не видишь разве, что на прилавке?

Авдотьюшка не обиделась.

— Спасибо,— говорит,— за совет.

И в другую «килинарию». Заходит — есть! У какой-то шляпы почки отбила.

Почки эти, как в анатомичке, одиноко мокли на блюде, и шляпа их изучал-нюхал. То снимет очки, то наденет. Авдотьюшка быстро к кассе и отбила.

— Как же,— кричит интеллигент,— я первый.

— Вы нюхали, а мамаша отбила,— говорит торговый работник.

— А другие?

— А других нет... Вот купите деликатес, редко бывает.

Глянул интеллигент — что-то непонятное. Прочитал этикетку: «Икра на яйце». Пригляделся, действительно, не свежее, но яйцо вкрутую, пополам разрезанное. А на сероводородном желтке черный воробьиный навоз.

— Где же икра?

— Сколько положено, столько есть. Тридцать грамм. А сколько вы хотели за такую цену?

Цена такая, что еще при волюнтаристе Хрущеве,

еще накануне исторического октябрьского Пленума 1964 года, внесшего перелом в развитие сельского хозяйства, за такую цену двести грамм хорошей икры купить можно было в любом гастрономическом магазине. Быстро же движется Россия, словно за ней собаки гонятся... А куда спешим? Сесть бы передохнуть, подумать, отереть пот со лба. Но попробуй скажи. Политические обозреватели засмеют.

• • • • •
Вот так живет Авдотьюшка, продовольственная старуха без биографии. Приспособилась. Заглянет в ее маленький телевизор политический обозреватель — а она почками лакомится. Исканится, перекосятся лицо политического обозревателя, заорет он не своим голосом, поскольку телевизор давно неисправный. Да что поделаешь. Икорку или колбаску сырокопченую уже употреблять запретили, а почки еще жевать разрешено. И иные продукты все ж еще окончательно не реквизированы. Обильна, обильна Россия. В одном месте очередь за индийским чаем, в другом за болгарскими яичками, а в третьем за румынскими помидорами. Стой и бери.

Вошла в молочную Авдотьюшка. Мирный и покойный продукт молоко, безалкогольный напиток. Его младенцы и диетчики потребляют. Случаются здесь и спокойные очереди. Да только не сегодня, когда финское масло в пачках дают...

Вошла Авдотьюшка, послушала: очередь звенит, как циркульная пила, когда на предельных оборотах она на камень натывается... Лицо у очереди гипертоническое, бело-красное. Вот уж поистине кровь с молоком... Авдотьюшка задком, задком и к татарам в магазин, где татарин заведующий, а его жена сок продает...

А на татар украинский степной набег... Махновцы... Форма у всех одна: платки, плюшевые тужурки-кацавейки. Руки тяжелые, багровые, лица малиновые и чесноком дышат...

Хотя и русский человек, особенно почему-то милиционер, в последнее время чесноком дышит... От колбасы, что ли, некачественный состав которой хотят чесноком заглушить?

Перекликаются махновцы.

— Текля, де Тернь?

— 3 Горпыной за шампаньским пишов.

Если посадские-пригородные грабят предметы первой необходимости, то махновцы грабят предметы роскоши. Привезут на рынок мешки тыквенных семечек или груш-скороспелок, набьют мешки деньгами, а потом в те мешки дорогие деликатесы.

Вот Горпына помогает взвалить Текле на плечо мешок шампанского. Вот у Терня в обеих руках раздутые рюкзаки с плитками шоколада, с коробками шоколадных конфет.

Вспоминаются смазанные дегтем партизанские тачанки с награбленным дворянским имуществом. Но теперь грабей особый. Не по Бакунину, а по Марксу. Товар — деньги — товар...

Советский магазин — это и история, и экономика государства, и политика, и нравственность, и общественные отношения...

— Сколько дают?

— Все равно всем не достанется...

— По два кило...

— Вы стойте?

— Нет, я лежу...

— Что?

— Пошел...

Перманентная холодная война горячего копчения не затихает. Вот где раздолье борцам за мир. Вот где бы иностранным дипломатам изучать проблемы. Взять авоську, набить пустыми кефирными и винно-водочными бутылками, надеть грязную рубашку, постоять перед калорифером, вспотеть и идти в магазин. Надо уметь толкаться локтями, зло пялить глаза и знать по-русски одну фразу:

— Пошел ты...

А конец фразы можно произносить на своем языке. Все понимают, куда посылают. Но иностранец в России личность привилегированная. Она или в «Березку», или на Центральный рынок.

На Центральном рынке изобилие высококачественных продуктов и иностранные марки автомашин. Страна умеет выращивать крепкие солнечные помидоры и прохладные пахучие огурцы, десертные груши с маслянистой мякотью и ароматные персики; которые так красивы, что могут не хуже цветов украсить праздничный стол. Страна может выложить на прилавки

нежные желтовато-белые тушки гусей, уток, кур, индеек. Груды свежего мяса. Куски малосоленного, тающего во рту сала, пряной рыбы, жирного бело-кремового творога, густой сметаны... Здесь на Центральном рынке время нэпа, здесь нет поступательного движения вперед к коммунизму, нет перевыполнений плана, грандиозных полетов в космос, борьбы за мир...

Хорошо на Центральном рынке...

А где же она, наша Авдотьюшка? Совсем ее потеряли... Да вот же она в передвижной очереди... Имеются и такие... Подсобник в синем халате тележку везет, на тележке импортные картонные ящики. Что в ящиках, непонятно, но очередь сама собой построилась и следом бежит. А к очереди все новые примыкают. Авдотьюшка где-то в первой трети очереди-марафона... Должно хватить... Взмокли у Авдотьюшки седые волосы, чешутся под платком, сердце к горлу подступило, желудок к мочевому пузырю прижало, а печень уже где-то за спиной ноет-царапает. Но отстать нельзя. Отстанешь, очередь потеряешь. Подсобник с похмелья проветриться хочет на ветру, везет, не останавливается. Кто-то из очереди, умаявшись:

— Остановись уже, погоди, устали мы, торговлю начинай...

А толстозадая из торговой сети, которая в коротком нечистом халате сзади за тележкой ступает:

— Будете шуметь, вовсе торговать не стану.

Тут из очереди на робкого бунтаря так накинулись, затюкали:

— Не нравится, домой иди прохладиться... Барин какой, пройтись по свежему воздуху не может. Они лучше нас знают, где им торговать. Им, может, начальство указание дало.

Бсжит дальше Авдотьюшка вслед за остальными. А пьяный подсобник нарочно крутит-вертит. То к трамвайной остановке, то к автобусной... И толстозадая смеется... Тоже под градусом. Измываются, опричники...

В нынешней государственной структуре имеют они непосредственную власть над народом наряду с участковыми, управдомами и прочим служилым людом... Авдотьюшка как-то в Мосэнерго приходит, куда ей добрые люди дорогу указали, плачет. Девчонки моло-

дые там работали, еще не испорченные, спрашивают:

— Что вы плачете, бабушка?

— Бумажки нету, что за электричество плотят. Выключат, говорят, электричество. А как же я без электричества буду? В темноте ни сварить, ни постирать.— И протягивает старую книжечку, исписанную, которую добрая соседка заполняла.

— Ах, у вас расчетная книжка кончилась? Так возьмите другую.

И дали новенькую, копейки не взяли. Как же их Авдотьюшка благодарила, как же им здоровья желала. И сколько же это надо было над ней в жизни позимываться в разных конторах, чтоб такой страх у нее был перед служивым народом! А здесь не просто служивые, здесь кормильцы.

Бежит Авдотьюшка, хоть в глазах уже мухи черные. А подсобник вертит, подсобник крутит. Куда он, туда и очередь, как хвост. На крутом повороте из очереди выпал инженер Фишелевич, звякнул кефирными бутылками, хрустнул костями. Не выдержал темпа. Но остальные с дистанции не сходят, хоть силы уже кончаются. Спасибо, подсобник перестарался, слишком крутанул, и картонные ящики прямо середине мостовой повалились... Несколько лопнуло, и потек оттуда яичный белок-желток. Обрадовалась очередь — яйца давать будут. Легче уже. И товар нужный, и бежать за ним более не надо. Стоит очередь, дышит тяжело, отдыхает, пока подсобник с толстозадой совещаются-матерятся. Выискались и добровольцы перенести ящики с середины мостовой под стенку дома. Началась торговля...

Отходчив душой русский и русифицированный человек... Быстро трудности-обиды забывает, слишком быстро забывает.

В связи с катастрофой приняли подсобник с толстозадой на совещании решение: по просьбе трудящихся отпускать десяток целых, десяток треснутых яиц в одни руки. И вместо «яйца столовые» присвоить звание и впредь именовать их «яйца диетические» с повышением цены на этикетке. Но при этом будут выдаваться полиэтиленовые мешочки бесплатно. Хорошо. Авдотьюшка целые яички в один полиэтиленовый па-

кетик, треснутые, уже готовые для яичницы,— в другой пакетик, расплатилась по новой цене, все в кошелочку сложила и пошла довольная. Зашла в булочную, хлеба прикупила. Половину черного и батона. За хлебом в Москве пока очередей нет. Если еще за хлебом очередь, значит, уж новый этап развитого социализма начался. В целях борьбы с космополитизмом запретят американское, канадское, аргентинское и прочее зерно потреблять. Но пока еще в этом вопросе мирное сосуществование. Хорошо выпечен хлебец из международной мучицы. Мяса бы к нему. Курятины-цыплятины не досталось, так хоть бы мяса... Мясной магазин вон он, перед Авдотьюшкой. Шумит мясной, гудит мясной. Значит — дают. Заходит Авдотьюшка.

Очередь немалая, но без буйства. Обычно мясные очереди одни из самых буйных. Может, запах во времена пращура переносит, когда представители разных пещер вокруг туши мамонта за вырезку дрались? Человеку одичать легче, чем кружку пива выпить...

Вот такие мысли приходят в московской мясной очереди, когда ноздри щекочет запах растерзанной плоти. Принюхалась и Авдотьюшка, хищница наша беззубая. Пригляделась... Вона кусочек какой лежит... Не велик и не мал... Эх, достался бы... Авдотьюшка б уж за ним, как за ребеночком, поухаживала. в двух водах обмыла, студеной и тепловатой, от пленочек-сухожилий отчистила, сахарну косточку вырезала и в супец. А из мякоти котлетушек-ребятушек бы понаделала... Выпросить бы мяса у очереди Христом-Богом. Не злая вроде очередь.

Только так подумала, внимательней глянула — обмерла... Кудряшова в очереди стоит, старая вражина Авдотьюшкина... Кудряшова — матерая добытчица, становой хребет большой многодетной прожорливой семьи, которую Авдотьюшка неоднократно обирала... У Кудряшовой плечи покатые, руки-крюки. Две сумки, которые Авдотьюшка и с места не сдвинет, Кудряшова может на далекие расстояния нести, лишь бы был груз — продовольствие. Кудряшова и роженица хорошая. Старший уже в армии, а самый маленький еще ползает. Сильная женщина Кудряшова, для очередей приспособленная. Кулачный бой с мужчиной обычной комплекции она на равных вести может. Но

если схватить надо, а такие ситуации, как мы знаем, в торговле бывают, тут Авдотьюшка расторопней Кудряшовой, как воробей расторопней вороны. То кончик капусты из-под руки у Кудряшовой выхватит, то тамбовский окорок в упаковке.

— Ну погоди, ведьма,— ругается-грозит Кудряшова,— погоди, я тебя пихну.

— А я мельцинера позову,— отвечает Авдотьюшка,— ишь, пихало какое.

А сама боится: «Ой, пихнет, ой, пихнет».

Теперь самое время сообщить, что ж это такое — «пихнуть». Есть старое славянское слово — пхати, близкое к нынешнему украинскому — пхаты. По-русски оно переводится — толкнуть. Но это не одно и то же. Иное звучание меняет смысл, если не в грамматике, то в обиходе оба слова существуют одновременно. Толкнуть — это значит отодвинуть, отстранить человека. Бывает, толкнули и извините говорят, пардон. А если уж пихнули, так пардону не просят. Потому как пихают для того, чтобы человек разбился вдребезги.

«Ой, пихнет,— думает Авдотьюшка,— ой, пихнет».

Но очередь тихая, невоинственная, и Кудряшова тихая. Исподлобья на Авдотьюшку косится, но молчит. В чем тут причина? Не в мясе причина, а в мяснике.

Необычный мясник появился в данной торговой точке. Мясник-интеллектуал, похожий скорее на ширококостного, из народа профессора-хирурга в белой шапочке на седеющей голове, с крепким налитым, упитанным лицом, в очках. Мясник веселый и циничный, как хирург, а не мрачный и грязный, как мясник. Очередь для него объект веселой насмешки, а не нервного препирательства. Он выше очереди. Огромными, но чистыми ручищами берет он куски мяса и кладет их на витрину, на мясной поднос. И в ответ на ропот очереди, требующей быстрее обслуживать, без запинки читает «Евгения Онегина»...

— Чего там,— ропщет некая с усталым лицом, видать, не впервой сегодня в очереди стоит,— чего там... Вы для обслуживания покупателя поставлены.

— Глава вторая,— отвечает ей мясник,—

Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок;

Там друг невинных наслаждений
Благословить бы небо мог...

Странная картина. Странные она вызывает идеи. И неожиданные из нее проистекают выводы. Первый вывод — Пушкина мясной очереди должен читать мясник. Собственно, это главный вывод, ради которого есть смысл немного поразмышлять в духоте магазина. Цинично, вульгарно бренчит мясник на пушкинской лире, но все же чувства добрые пробуждает. Народ безмолвствует, соответственно финальной ремарке из «Бориса Годунова». Тихо стоит. Не слушает Пушкина, но слышит. Попробуй прочесть мясной очереди Пушкина крупный профессор-пушкинист или известный актер-исполнитель. Хорошо, если это вызовет только насмешки. А то ведь еще злобу и ненависть. Нет, культуру народу должна нести власть. Скажите, что ж это за культура, что ж это за Пушкин? Ответим на это совсем с иного конца. Ответим тоже вопросом. Вам приходилось наблюдать, как восходит солнце? Не над пышной субтропической зеленью, которая знает, что такое солнце, которая сознательно живет им и которая академически солидно ждет его восхода. И не над тихой поросшей травой лесной поляной, которая сама составляет крупницу солнца, которая верит в него и для которой восход солнца есть ее собственное интимное чувство. Мы имеем в виду восход солнца над безжизненными северными скалами. Казалось бы, зачем мертвому жизнь? Зачем холодным камням солнце? Спокойно, тяжело, монотонно лежат камни в глухой ночи, покрытые льдом и снегом, безразлично встречают камни серый, короткий день, принимая на бесчувственную грудь свою острые порывы ветра. Но восходит над ними солнце, слабое подобие жаркого, плодоносного или ласкового, мягкого, знакомого нам солнца, восходит солнце, от которого субтропической зелени или лесной полянке стало бы страшно и тоскливо. А скалы вдруг меняются. Розовеют камни, мох да лишайник появляются, и какое-то невзрачное насекомое выползает из расселины навстречу этому короткому празднику. Хоть и не осознает, может, откуда пришел свет, почему утих ветер, почему нет безразличия к холоду и что это за новое не чувство даже, а ощущение теплоты и покоя. А взойди над северными камнями южное или даже мягкое умеренное солнце,

это была бы катастрофа. Потрескались бы холодные камни, высох лишайник, погибло бы, сгорело невзрачное насекомое. Холодному северу нужно холодное солнце.

... Берет мясник кусок своими белыми ручищами. Хорош, сочен кусок. И косточка рафинадная. Глазам своим не верит Авдотьюшка. Счастье-то какое.

— С праздничком вас,— это она мяснику польстить хочет, чтобы не передумал.

— Я вам признателен,— отвечает мясник,— с каким? Партийным или церковным?

Ропот рассеивается. Весело народу, хоть и тесна очередь. А вместе с весельем и сознание появляется.

— Нам тяжело,— говорит кто-то,— а старикам одиноким как же?

Тянется к мясцу Авдотьюшка. Не дает мясник. Даже разволновалась Авдотьюшка. И напрасно.

— Разрешите, я вам в кошелочку положу,— говорит мясник.

Легло мясцо в кошелочку. Повернулась радостная Авдотьюшка уходить, а мясник ей вслед:

— Спасибо за покупку.

— Дай Бог здоровья,— отвечает Авдотьюшка.

Вышла Авдотьюшка, идет — улыбается. За угол зашла, из кошелочки мяса кусок вынула, как ребеночка, понянчила и поцеловала. Может, цыплятина и лучше, да цыплятина не родная, Авдотьюшкой не куплена, а это мясцо свое. Плохо день у Авдотьюшки начался, да хорошо кончился. Раз везет, значит, этим пользоваться надо. Решила Авдотьюшка в магазин сходить далекий, который редко посещала. «Ничего, там по дороге скамеечка, посижу и дальше пойду. Авось чего-либо добуду...»

Пошла Авдотьюшка. Идет, отдыхает, опять идет. Вдруг навстречу дурак. Знала она его в лицо, но как зовут, не знала.

Дурак этот был человек уже немолодой, голову имел обгорелую и потому всегда кепку носил. Ездил этот востроносый дурак городским транспортом и из бумаги профили людей вырезал. Похоже, кстати, но

за деньги. А ранее работал дурак на кожевенном комбинате художником. Однако раз вместо лозунга: «Выполним пятилетку за четыре года» написал: «Выполним пятилетку за шесть лет». Чего это ему в голову пришло? Впрочем, родной брат дурака, герой-полковник, ордена, квартира в четыре комнаты, почетный ветеран Отечественной войны, и вдруг публично заявил: «Сегодня по приказу Верховного главнокомандующего товарища Сталина в городе выпал снег». А товарища Сталина к тому времени не то что на этом свете, но и в мавзолее-то уже не было. Как же он мог снегу приказать? Думали, неудачно шутит полковник, пригляделись, искренно излагает, и глаза нехорошо блестят. Одним словом, дурная наследственность. Может, оно и так, дурак-то он дурак, но говорят, что младший брат полковника, художник, подальше от своего района, там, где его знают поменьше, подошел к самой пасти кровожадной, свирепой многочасовой очереди на солнце-пеке, выстаивавшей к киоску, где продавали раннюю клубнику, и произнес: «Именем Верховного Совета СССР предлагаю отпустить мне три килограмма клубники». При этом он предъявил собственную правую руку ладонью вперед. Ладонь была пуста, но народ ему подчинился, и он взял три килограмма клубники... Вот тебе и дурак...

Увидел Авдотьюшку дурак и говорит:

— Бабка, а в пятнадцатом магазине советскую колбасу дают... И народу никого.

Мужчина, который рядом шел и тоже услышал, говорит:

— Что это вы болтаете... У нас вся колбаса советская, у нас еврейской колбасы нету.

— Вкусная колбаса,— отвечает дурак,— пахучая. Я такой давно не видал.

— Да он же того,— шепотом Авдотьюшка мужчине и себя по платку постучала.

— А,— понял антисемит и пошел своей дорогой.

Пятнадцатый же магазин тот, куда Авдотьюшка шла. Приходит. Магазин длинный, как кишка, и грязней грязного. Даже для московской окраины он слишком уж грязный. Магазин, можно сказать, сам на фельетон в газете «Вечерняя Москва» запрашивает-

ся. Продавщицы все грязные, мятые, нечесанные, стоят за прилавком, как будто только что с постели и вместо кофе водкой позавтракали. И кассирша сидит пьяная, а перед ней пьяный покупатель. Лепечут что-то, договориться не могут. Она на рязанском языке говорит, он на ярославском. А подсобники все с татуировкой на костлявых руках и впалых, съеденных алкоголем грудях... У одного Сталин за пазухой сидит, из-под грязной майки выглядывает, как из-за занавески, у другого орел скалится, у третьего грудь морская — маяк и надпись «Порт-Артур».

Знала Авдотьюшка про этот магазин, редко здесь бывала. Но нынче пошла. Заходит Авдотьюшка, озираясь, видит всю вышеописанную картину и уже назад хочет. Однако глянула в дальний угол, где написано — «Гастрономия». Глянула, глазам не поверила. Правду сказал дурак. Лежит на прилавке красавица колбаса, про которую и вспоминать Авдотьюшка забыла. Крепкая, как темно-красный мрамор, но сразу видно, сочная на вкус, с белыми мраморными прожилками твердого шпика. Чудеса, да и только. Как попало сюда несколько ящиков деликатесной, сырокопченной, партийной колбасы, словно бы прямо из кремлевского распределителя? И почему ее сам торговый народ не разворовал? Видать, по пьянке в массовую торговлю выпустили. И этикетка висит — колбаса «Советская». Не соврал дурак. Цена серьезная, но те, дешевые, с крахмалом и чесноком. Матвеевна говорила, в колбасу мясо водяных крыс подмешивают, из шкур которых шапки шьют. А здесь мясо чистокровное, свинина-говядина. И мадерой мясо пахнет... Чем ближе Авдотьюшка подходит, тем сильнее запах чувствует. Это же если тонко нарезать, да на хлеб, надолго празднично можно завтракать или ужинать.

А ведь было время, ужинала Авдотьюшка не одна. Самовар кипел червонного золота, баранки филипповские. Он красавец был. И у Авдотьюшки коса ржаная. В двадцать пятом году это было... Нет, в двадцать третьем... Колбаски полфунта в хрустящем пакете. Колбаска тогда по-другому называлась, но это она самая... Принесет, говорит: «Употребляйте, Авдотья Титовна. На мадере приготовленная». И балычку принесет... «Употребляйте», — говорит.

— Ну что, девка, — говорит Авдотьюшке пьяная

нечесаная продавщица,— покупаешь колбаски? Раз в десять лет такую колбаску достать можно.

А Авдотьюшка не отвечает, ком в горле.

— Какую берешь? — спрашивает продавщица.— Эту? — И поднимает крепкий сырокопченый батон.

А Авдотьюшка не видит, слезы в глазах.

— Чего плачешь? — спрашивает продавщица.— Зять из дому выгнал?

— Нет у меня зятя,— еле отвечает Авдотьюшка и всхлипывает, и всхлипывает.

— У ней, видать, украли что-то,— предположил подсобник с морской грудью,— украли у тебя что-нибудь, старая?

— Украли,— сквозь слезы отвечает Авдотьюшка.

— Ты, что ль, Микита? — И к тому, у которого Сталин из-за майки-занавески выглядывает...

— Да я ее в глаза не видел,— отвечает Микита,— у ней, старой, только геморрой украсть можно.

— Украли,— говорит Авдотьюшка, и слезы льются, льются... Давно так не плакала.

— Украли, в милицию иди, не мешай торговле,— говорит продавщица и сырокопченый батон на весы кладет, антисемиту вешает.

Видно, опомнился антисемит, вернулся, поверил дураку. И другой народ подходит все более и более. Растрезвонил дурак про советскую колбасу.

О советской колбаске следует сказать особо. Колбасные очереди наряду с очередями апельсиновыми являются главным направлением торговой войны между государством и народом. Мы с вами в настоящих колбасных и апельсиновых очередях не стояли, потому что Авдотьюшка их избегает. Хитра Авдотьюшка, и посадские хитры. И украинцы-махновцы редко там попадаются. Они больше по окраинам, где какой дефицит выбросят. Кто же стоит-воюет в тех очередях? Вокзалы. А что такое вокзалы? Это сам СССР. Но за апельсинами СССР поневоле стоит. Выращивает СССР в обилии вместо груш-яблок автомат «Калашников», а третий мир апельсин выращивает. Натуральный обмен вне марксова капитала. Не свой, не привычный продукт — апельсин. От него у СССР отрыжка горько-кислая. Не серьезный продукт апель-

син, под водку не идет. Детишкам дать погрызть разве что. Иное дело колбаска...

В колбасных Москвы вокзальный дух, вокзальная духота... Кажется, вот-вот прямо в московских колбасных, вызывая головную боль, закаркает диктор:

— Внимание, начинается посадка на поезд номер...

И пойдут поезда прямо из московских колбасных на Урал, в Ташкент, в Новосибирск, в Кишинев... Вокзальный народ не буйный. Посад хитер, а вокзал терпелив. Хитрость — она резиновая, а терпение — оно железное...

Железо ждать умеет. И свое соображение у железа тоже есть. Знает, какие продукты на какие расстояния везти можно. Ведь образование в СССР шагнуло далеко вперед. Высок в очередях процент образованного народа. Инженеры стоят, химики-физики... Стоят, рассчитывают... Да Горького мясо доезжает и маслице. А до Казани мясо протухает, но колбасы вареные выдерживают. За Урал копчености, чай, консервы везти можно. Апельсины те же для баловства ребятишкам. Но лучше нет настоящей копченой колбаски. И терпеливо железо стоит. Стоит СССР в очередях за колбасой. «Эх, милая, с маслицем тебя да с хлебом, как в былые времена».

Опомнилась и Авдотьюшка.

— Я первая, — кричит, — я очередь первая заняла.

Куда там, оттерли. Обозлилась Авдотьюшка, уж как обозлилась: «Народ нынче оглоед, народ нынче жулик». Разошлась Авдотьюшка от обиды. Платок с головы сбился. Об кого-то кулак свой ушибла, об кого-то локоть рассадил. Поднатужилась Авдотьюшка, попробовала пихнуть. Да тут ее саму пихнули. Какой-то, даже не оборачиваясь, задом пихнул. А зад у него передовой, комсомольско-молодежный, железобетонный.

В больнице очнулась Авдотьюшка. Очнулась и первым делом про кошелочку вспомнила.

— А где же моя кошелочка?

— Какая там кошелочка, — отвечает медсестра, — вы лучше беспокойтесь, чтоб кости срослись. Старые кости хрупкие.

Но Авдотьюшка горюет — не унимается.

— Там ведь и мясо было, и селедочка, три короба, и хлебец, и яйца, два пакета... Однако пуше всего кошелочку жалко...

В той же больнице, где Авдотьюшка, инженер Фишелевич лечился, кибернетик низкооплачиваемый. В больнице, как в тюрьме, люди быстро знакомятся.

— Юрий Соломонович.

— Авдотья Титовна.

— У вас, Авдотья Титовна, что?

— Пихнули меня.

— А что это такая за болезнь? — иронизирует Фишелевич. — У меня, например, перелом правой руки.

Пригляделась Авдотьюшка.

— Точно, — говорит, — тебя из очереди в правую сторону выбросили, я вспомнила. Но не горюй. Без яиц остаться не так обидно, как без колбасы.

Среди больных заслуженная учительница была с тазобедренным переломом. Начала она обоих стыдить:

— Как вы можете вслух такие анекдоты рассказывать.

— Какие анекдоты, — говорит Авдотьюшка, — все правда святая... Яйца болгарские, а колбаса советская.

— Вы еще и антисоветские анекдоты про Варшавский Договор здесь рассказывать вздумали, — возмущается учительница и еще более стыдит, а особенно Фишелевича, того по еврейской линии стыдит и обещает выполнить свой гражданский долг.

— Позвольте, — пугается Фишелевич, — слова Авдотьи Титовны советская печать подтверждает, — и достает из тумбочки большую книгу в коричневом переплете.

Часто читал Фишелевич эту книгу, и все думали — роман читает.

— Вот, — говорит Фишелевич, — вот сказано: к наилучшим деликатесным сырокопченым колбасам заслуженно причисляют колбасу «советскую». В ее фарш, приготовленный из нежирной свинины и говядины высшего сорта, добавляют очень мелкие кубики твердого шпика, который дает на разрезе привлекательный рисунок. Обогащают вкус и аромат «советской» колбасы коньяк или мадера и набор специй. Перед использованием рекомендуется нарезать колбасу тонкими, полупрозрачными ломтиками.

И с тех пор часто читал Фишелевич книгу вслух. Много нового узнал из нее больной народ. И про сервелат, и про колбасу слоеную, и про уху из стерляди, которую лучше всего подать с кулебякой или расте-

гаем. В тарелку с ухой можно положить кусок вареной рыбы.

— Любите рыбку, Авдотья Титовна?

— Уважаю...

От такого чтения у учительницы поднялась температура, и она перестала выходить из своей палаты. А Авдотьюшка слушает, слушает: «Эх, все бы это да в кошелочку». Кошелочка-кормилица ей родным существом была. Она ей по ночам несколько раз снилась. Привыкла Авдотьюшка к своей кошелочке. Как это она другую сумку возьмет, с ней по очередям ходить будет? Печалится, горюет Авдотьюшка. Однако раз медсестра говорит:

— Родионова, вам передача.

Родионова — это Авдотьюшки фамилия. Глянула Авдотьюшка — кошелочка... Еще раз глянула — кошелочка... Не во сне, наяву — кошелочка... Мяса нет, конечно, и яичек, да и из трех селедочных коробок — одна. Но зато положена бутылка кефира, пакетик пряников и яблочек с килограмм...

Как Авдотьюшка начала свою кошелочку обнимать, как начала Буренушку гладить-баловать... А потом спохватилась — кто ж передачу принес? Одинокая ведь Авдотьюшка. Полезла в кошелочку, на дне записка корявым почерком: «Пей, ешь, бабка, выздоравливай». И подпись — «Терентий». Какой Терентий?

А Терентий — это тот подсобник с морской татуировкой, с «Порт-Артуром» на груди.

Значит, и в самых темных душах не совсем еще погас Божий огонек. На это только и надежда.

Владимир Рыбаков

ЗЕРНО

«Не человек он, а — утюг, настоящий утюг, — так думала Круглая, глядя, как зять поднимает толстенький зад все выше, но так и не может сползти с грузовика. — Что люди скажут? Срам. А — сами сволочи».

Стоящую у изгороди старуху называли Круглой. Она берегла только необходимое, да и то не по

праздникам. Ее так прозвал — Круглой — первый муж. Мирнолюбиво и даже с любовью... он иначе и не мог. Потом только, после войны, соседи, ближние, затем из дома в дом до конца деревни, захотели погани в ее мете. А муж, дурак, прости Господи, не понимал цену сушей нужде, не то что рублю. Ему бы все улыбку у кого вызвать. А на охоту ходил — все пустым возвращался. А... тут и акать не приходится... зверье жалел, не детей. Потом говорил мягко, будто босиком по песку ходил, что, мол, чаго, чаго угощенье не несешь, вишь, Костя, Санька жрать хотят.

Стервецы. Стервец, прости Господи. На войне-то немца убивал. Писал, что грудь в орденах. Потом писал, что в руку ранили. Потом ничего не писал. Потом прислали бумагу, что помер. А потом и «потом» не стало, только осталась в Круглой вера, что муж был сволочью и потому не погиб... обменялся с настоящим покойником документами и ушел к другой, новую семью завел, в новом доме живет, других своих детей кормит... многие так делали. И он. Гад, прости Господи. А может, все-таки нет его? Она все материт, а его давно нет, да еще давно нет в чужой земле? Но она-то, Фроська, осталась ведь с его легкой руки Круглой. Прости, Господи.

Зять наконец сплюхнулся. Рожка! Подумаешь, денег у него невпроворот. Видали таких.

— Ну, здравствуй, Сергей.

Он долго просил, чтобы теща ему тыкала Сергей искренне пытался восхищаться этой деревенской старухой.

Ее лицо, казалось, жило шрамами-морщинами, и Сергею Волгину часто хотелось узнать, чему соответствует каждая складка — они были слишком обрывистыми для простого отражения старости. Но иногда бусинные глаза старухи загорались такой неукротимой жадностью чего-то — «жадностью», определял Сергей, — что любопытство в нем менялось брезгливым недоброжелательством. Вот и сейчас:

— Добрый день, Ефросинья Матвеевна. Хороша осень, а? Ну что, уточкой в яблоках угощать будете?

— Нельзя, милоч. Нельзя резать, пока ледку-то не поклюет.

— Да я заплачу, не сомневайтесь,

— Раз так.

Приехал, толстозадый. Умнее всех хочет быть... с яблоками. Еще заплачешь!

Дочь не раз пыталась объяснить работу мужа, и Круглая поняла главное: он сидит за столом, и ему подчиняются многие. Этого было достаточно. Начальству нельзя перечить, неразумно, как развести огород у водопоя. Когда-то люди пытались ему, начальству, объяснить, что рано сеять, вот теперь надо жать,— только поглядело глазами, хуже чем мертвыми. С каждым неурожаем менялся в деревне шедший к начальству тайный смех, он даже бывал похож на звук совсем порванной гармони. Когда копчалась соседка, тоже Фрося, она вот так и хохотала, пока воздух жизни из нее не ушел, и старики, которые были рядом, уверяли, что Фроська до конца от ума своего не отошла.

Так продолжалось долго, не меняясь. Люди мерли, но и оставались почему-то в живых. Было ли это чудом? Круглая не верила. Умирили те, кто не был против, а то, что их было много,— дело хозяйское и души. Отвращением к жизни Круглая никогда не болела, дрались с ней и опухшими пальцами, деснами. К начальству не испытывала, даже когда зарывала зимой своих, ни капли чувств. Земля не поддавалась, а силы уходили быстрее, чем всегда. Но выдолбила же. Так было и будет. Да и какое могло быть чувство? Люди становились мухами зелеными, особенно поздней осенью, а начальство упорно продолжало, не замечая жизни и смерти, сеять и жать, когда не надо. Такое не может делать человек, пусть самый старательно злой и угрюмый. И не дурью то было и даже не черным делом: начальство лекции читало, а после само на распыл уходило— за этот самый неурожай, а новое вновь делало недеваемое.

Нельзя любить или не любить нечеловеческое. Но в Круглой все же существовало как бы само по себе. Оно — непонятное, которое отвечало Тому-непонятному.

Когда сынок председателя разбился на своем колесном дьяволе и прибежавшие бабы окружили его, всего в столах своих, Круглая почувствовала такую сильно бьющуюся в животе радость, будто... Не нашлось с чем сравнить — а искала после, пока не забыла. Но в ней тогда была и горечь могильного цвета. Уходил с этого света председательский сынок, но продол-

жал быть окружен защитой незримой, нечеловеческой той силы, которая земле рожать не давала. Будь сила послабее чуточку — разлилось бы Оно — непонятное без удержу, взорвалось бы, сокрушило, разорвало все, что до горизонта. А так, что ж, помолчали долго бабы, да и вяло заголосили.

Волгину стало неприятно от ярко-цепкого взгляда тещи, будто он уже приманивал из бумажника четвертак. Сергей каждый раз ехал в деревню, ожидая нужного отдыха. Отбывал же всегда с тяжелым противным сомнением ко всему, будто неотчищаемой грязью полили. Ему, молодому начальнику заводской лаборатории, хотелось природно любить свой народ, знать его великим не нагнетением в себя повторяемых ныне слов, а волею увиденного.

Воняло пищей, заготовленной для птицы. Собака во дворе была маленьким бешеным зверем, никогда не кормленным, с красными глазами упыря. Только страх быть посаженной на цепь и лишиться воды заставлял ее не бросаться на кур, знающих собачье бессилие. У окна сидела старуха и подслащивала сахаром рот. Люди-родственники ходили по улице, не здороваясь, и Сергею казалось, что делали они это искренне. Им было неизвестно чистейшее лицемерие — вежливость.

Деревня была похожа на вытянутый скорбный палец. Подвыпив, можно было ощутить под ногами ее болезненное дыхание. Протекающая мимо речка не издавала ни одного звука, в нее и плюнуть было страшно. Но свежестроенный универмаг был еще более жуток своей пустотой — будто перестал быть нужен всему живому. Сергей сказал об этом жене.

— Так ведь ничего не подбрасывают.

— Ну и что. Тем более должны быть очереди. Это ненормально.

Волгин как-то подумал, что никогда не слышал в деревне ни одного анекдота, и решил окончательно, что населенному пункту приходит конец. Когда люди ни за, ни против — это уже эпилог.

— Сам ты эпилог. Человек не колба, встряхнешь, а все равно ничего не увидишь.

Он отмахнулся от жены — себя защищает. Что и говорить, много у нас неправильно, но все равно ведь так нельзя. И на заводе бардак, но там все-таки про-

дукцию выпускают, план выполняют, деньги выколачивают. А я что, не стараюсь? А тут не хотят работать, хоть тресни. Им же в первую очередь хуже. Живут хуже башкир, на нет совсем сходят. Черт с ними!

Только близкий лес его радовал, веселый, грибной. Волгин ложился под дерево и забывал на час о своей кандидатской, о барахлившем карбюраторе и о многом другом, что делало его человеком. Он потягивался, хрустел костями, по-мальчишески медленно закрывал глаза, глядел сквозь щели ресниц на таинственную желтизну мира, улыбался так, как никогда не может делать человек, видящий свое отражение.

Затем вставал и шел к ним, к людям, скованным стадной судорогой лени и страха.

Круглая не любила конфет. И не цена запрещала удовольствие, а укромная, но цепкая память. Не выдуманные сладости, а сахар питал сны ее детства. Отец иногда приносил кусок в тряпочке. Начинался рай и ад: сахар счастьем растекался в груди, но с такой быстротой, что пальцы и губы с мукой начинали ловить пустоту. Только вот с недавних пор, годов этак двадцать, как она вытаскивает из коробки белую плиточку, зная, что сразу возьмет другую. Пока сахар таял, ладонь, не спросясь, поднималась к подбородку на случай, если крошка выпадет из беззубого рта, чего никогда не случалось.

У Круглой было спрятано денег на три дома, но уверенности в будущем не было. Она хотела верить во всемогущество денег, но знала по опыту их беспомощность. Захочет власть, не будет их, ничего не будет. Даже коровы.

Круглая неожиданно для себя замотала головой. Чувство было подобно отточенной мысли: будут люди и коровы. Она помнила, как плакала в последний раз. Смотрела тогда, как Скока, дергая ногой, разорванной собаками, пыталась обглодать пенек. А Фроська мечтала изо всех сил стать кормом, превратить хоть руку левую в отруби. Корова подохла, и ни за какие деньги на свете нельзя было достать ей жизни. Настоящий страх — это когда люди к нему привыкают и видят только через него, что происходит и как надо действовать. Настоящее всегда особое. Сколько живет Ефросинья, столько корм и гниет под охраной властей. Только раньше люди боялись воровать, а теперь стра-

шатся работать. Человек честный горб вырастил; когда рукой что берет, вещь из-за мозолей не чувствует, а после заглянет, куда смотрят раз или два в жизни,— и увидит пустое место. Ничего нет, то ли его обманули, то ли он сам ничего не стоит. И бури копятся в том пустом месте.

Это все Круглая знала без слов.

— Шофер Колька был, говорят, богатым человеком, так, не будучи в доску, решил спереть стадо. Представляешь, подогнал к полю свой «МАЗ» и стал грузить. Знал ведь, что все равно накроют, знал, что посадят. Не удержался. Не понимаю, был бы он хоть в доску, а тут...

Волгин перебил жену:

— А тут понимать нечего. Распустили народ, вот и все. Блажь нашла, понимаешь, вот и пошел. У нас всегда, впрочем, к чудесам стремились. Достремились. Что, разве не правда?

Круглая промолчала. Ужин был почти съеден, утку продолжали нахваливать, сосать косточки. До холодов-таки не дотянули из-за зятя! Не утку было жалко...

Старуха подумала так, что в голове загудело: «Чтоб он подох». И тайно задохнулась от сладкого ужаса. У нее такой был, когда еще до войны брала, подползая, на поле несколько помидор или картофелин. Смелость отчаяния. То-непонятное держало поля сильнее мин. Земля была суха и жгла кровь до раскала, когда Фроська прорывала невидимую преграду. Каждый раз будто девственности лишалась. Прибежав домой, ложилась, дрожа, на постель и ощущала, как ужас от святотатства покрывался сладостью победы. Разрезав помидор, кормила детей, после била до крови, чтоб в них страх наказания был сильнее желания похвастаться и тем накликать непоправимую беду. Ночью все рассказывала однорукому Мишке, о Том-непонятном говорила телом, жаждой жить. Мишка гладил ее незагорелые места черной рукой и цедил только с непонятной ему самому угрозой: «Увидишь, увидишь».

Свою ненависть к зятю Сергею Круглая хотела только ощущать или выражать ее тихонько, вот так, из-за утки, или — что в кузов не может залезть-слезть. Волгин каким-то образом принадлежал к тем хозяе-

вам-нелюдям, к Тому-непонятному, хотя глаза были у него нормальными, даже слабыми. Но это была злая слабость, та самая, с которой можно убивать без надрыва.

Круглая хотела, чтобы дочь вернулась в деревню, стала учительницей. Дом мать ей купит. Круглая знала, что мечтает о невозможном,— никогда дитя проклятое не бросит города, даже если муж околеет. Но Круглая все же хотела осуществления невозможного.

И что ее желание стало внезапно мыслью, испугало старуху.

Волгин длинно вздрогнул:

— Крепкий у вас самогон, ничего не скажешь. Аж... во.

Покрутив пальцем по животу, Сергей с хмельным удовлетворением заявил, слушая себя:

— А что, щи да каша — вот пища наша. Ну и самогонки для души, это само собой. Хорошо в ваших местах, только чего колхоз такой бедный. Земля как будто добрая.

Старуха молчала, будто считала праздное слово пороком.

Волгин продолжал баловаться. В его голосе закричала командная нотка:

— Разве не так? Техника разве не гниет, люди разве не бездельники. Вот хорошая земля и дает плохие урожаи. Разве не так?

— Так, так. А как же.

Круглая отвстила бездумной скороговоркой. Перед начальством всегда хочется кивать головой, подтвердить почтительное внимание. Но поспешное поддакивание считалось на заводе недопустимым самоунижением, тем более в лаборатории, среди интеллигентных людей.

Волгин спросил с ласковым презрением:

— А все же?

Однажды, поссорившись с Мишей — у него от пьянства жила внутри лопнула, а он продолжал,— Евфросинья ходила по дому и от жалости и любви била всем по всему, правда, так, чтоб ничего необходимого не разбить. И зашел по забытому давно делу милиционер. Он смердил козьей ножкой, но его дух здорового мужика был еще сильнее.

— Выйди-ка дымить во двор, нечего тут!

Зная, что погибла, не очень старая тогда еще Фрося просидела всю ночь в звенящем одиночестве, а утром не подоила корову. Когда встретила через несколько дней милиционера, тот с ней поздоровался.

Миша однорукий умер с закрытым ртом в лесу, но Круглая успела за неделю до того все ему рассказать. Тот провел рукой по ее узкому лбу, глазам:

— Удачливая ты.

И добавил, вспомнив милиционера:

— Человек, оказывается.

Круглая о Мише не плакала, на то была его большая раком жена. Просто одиночество ее бабье стало окончательным. Мучилась без ласки несколько лет, ночами мокрые простыни ногами зажимала. Перебродило. Раз в лесу волка встретила, поговорила с ним, и они разошлись. Молния падала во двор, в свинью. Мужика пьяного ударила лопатой по голове, чего-то хотел. Но повторить хоть разочек то безумство, как с милиционером, Круглая так и не смогла. Никогда. Хотела несколько раз, но тело не слушалось или слушалось не ее, язык застревал между губами.

Волгин покрутил пальцами сигарету:

— Мы же на заводах работаем, продукцию выпускаем. Так что: а все же?

Круглая поправила платок, поиграла провалами рта, поглядела, как дочь нежно дотронулась до руки мужа. Ей захотелось уйти от злобы, отойти в угол, побыть наедине с Богом, о котором редко вспоминала. Дом внезапно показался Круглой маленьким, а она — большой, огромной. Так иногда чувствует себя человек, когда распознает в гадюке ужа.

— Нынче никто не хочет работать. Не для чего, не на кого. А на себя, говорит власть, не надо. И на заводах ваших тоже так. Что трактор, что комбайн, что в магазинах — все одно. Только завод, он людьми построен, сделает человек, другой употребит. Земля же нас всех родила. Она не прощает.

Старуха говорила, как семечки лузгала, спокойно, быстро и деловито. На лице ее читалось совершенно неправдоподобное могущество — хоть глаза три. Такое обычно бывало, когда Сергей, сытый, долго смотрел на широкую реку, но там на берегу было в нем восхищение, а сейчас — нечто похожее на страх. Если бы Волгин признался себе в этом, расхохотался бы чуд-

ной мысли, не понявшей, не расшифровавшей правильно ощущение.

Сказанное тещей взволновало Волгина странным своим звучанием, словно было произнесено на мало-знакомом наречии. Он отвел взгляд от лица матери своей жены, захотел передернуть плечом, но пренебрежение туда не пошло. Он все же утоленно отметил, что карга опустила на свои стекляшки веки и начала мелко дрожать, еле заметно — в другое время Сергей бы не заметил.

Ночью он проснулся и уставился на место, где за чернотой стояло окно. Пробормотал:

— Блядь старая.

— Чего не спишь?

Голос жены показался Сергею отвратительно похожим на тещин. Это было, в общем, нормально, у них даже жесты становятся одинаковыми.

— Чего спрашиваешь?

— Нервный ты, я видела.

Деревенская темень хуже лесной, там хоть живой жизнью окружен, а если и боишься, то не обуха... и не слова-лезвия, которое мешает спать и напоминает тебе, о чем никогда и вместе с тем всегда знал — о том, что ты, начальник лаборатории, в уюте своем пребываешь между молотом и наковальней, между землей и тем, что ей мешает. И когда...

— Чего это твоей матери вздумалось такое говорить?

— Откуда я знаю. Не обращай внимания, она ведь нам завидует, вот и прет ахинею. Завидует, вот и все. Выпей, я тебе поднесу.

Самогон немного помог, но до самого забытья Волгин чувствовал себя очень маленьким и беспомощным человеком. Утром, увидев, как старуха запикивает себе в рот-дыру кусок сахара, Сергей мысленно сплюнул, а перед отъездом небрежно запихал ей в жадную лапу нарочито скомканный четвертак. Круглая стиснула пальцы.

ТЯНИТОЛКАЙ

1

И вот проснулись мы все уже в новом году. И побежали тотчас звонить, сообщать всем об этом — о том, что проснулись, и о том, что именно в новом году.

А что такое новый год? Это бесконечное продолжение старого, отделенное голосом радио, чтобы было удобнее числа считать.

Народ, которому радио громко объявило новогоднее время — а не объявило бы, то продолжался год старей, — народ поголовно куда-то поехал, встал на остановках, подталкивая в спину, вперед своих жен, направляя их в транспорт.

В лесопарках все так же забегали люди, обутые в лыжи, размахивая острыми, опасными палками, мелькая веселыми лыжными нарядами в трех соснах.

На площади фигура в три четверти роста вождя все так же заносится силуэтом на небо. Девичья гордость в обнимку с мужским достоинством все так же сидит на скамьях у фигуры.

— И на что вам наши ноги, я никак не пойму? — спрашивают девушки, словно не знают. — Вы же руки нам целуете, лицо, а не ноги, но все говорят: ах, какие ноги!

Может быть, и правда, что они не понимают, — только вряд ли.

А в поездах сидят, перемещаются.

Как всегда, куда-то едет поездом интеллигенция, сидит в вагон-ресторанах и спорит о судьбах своего государства, сходясь лишь в одном: как бы заставить всех людей поступать моментально разумно. Что же такое разумно, тут они расходятся, иногда кардинально.

Все так же народ неразумно открывает прозрачную бутылку с мягкой крышкой и ругает прошлого правителя, о нынешних молча.

Все так же бегают модницы купить друг у друга что-нибудь нездешнее, что-нибудь модное.

— Это не импорт, тут по-русски написано.

— Но по-русски-то что написано? «Сделано в Польше».

Все так же бегают животные по темным лесам, добиваются поесть немного тела друг у друга.

Все так же идет тихая война молодежи и порядка. Молодежь повсеместно оскалывает смешливые зубы, а порядок требует строго не оскалывать ее смешливые зубы.

«Механизм за все в ответе», — сообщает печать.

В бане, в пару, идет за матовыми стеклами непрерывная мойка голов и подмышек.

Все так же сидят литераторы, все время делают из себя литературу, из тела своего и из органов чувств, из нерва, из сердца; из мозговых своих веществ, в крайнем случае — кто не имеет достаточно тела и всего остального.

Все так же ходят друг к другу таланты, жалуясь, что не могут отдать себя людям, чтобы взамен получить от людей что хотят.

Все так же люди не приемлют таланты, в то же время охотно давая им все, что хотят из одежды, еды и жилья, кроме нужного этим талантам зосторга.

2

Я шел по улице и нес в руках сумку. Это была удобная сумка. В ней я носил свои рукописи, а также газеты, журналы и книги, которые я покупаю по пути. В нее можно было купить и кефир, и булку, и вообще что угодно.

Не помню, что именно меня остановило возле этого дома. То ли сосулька упала сверху и взорвалась передо мной на тротуаре. Впрочем, видимо, не сосулька, так как на подобных домах сосульки не растут, это им не дозволяется, как выяснилось после. Одним словом, я задумался и стал на месте.

Неожиданно из-за стенки, из-за угла, выскочил на меня молодой человек, который бы и видеть меня был не должен. Однако он выскочил без пальто и так, будто специально устремился ко мне.

— Вы что тут делаете? — спросил он меня, словно имел неоспоримое право спросить.

— Ничего,— ответил я, уже заранее подчиняясь тому неизвестному правилу, по которому мне почему-то нельзя тут стоять.— Извините!

— Пройдемте со мной,— сказал он и повернулся идти, даже не устаиваясь взять меня рукой за рукав, как это делают всегда, когда ведут, не вполне уверенные в своем полном праве. А то есть уж он-то был во все уверен.

— За что? — спросил я поэтому без всякого удивления, направляясь за ним.— Я ничего такого не сделал. Раз нельзя, я не буду.

— Что — не буду? — сказал он спустя, сказал с интересом, восходя на широкие ступени из мрамора.

— Ну, все. Что нельзя, то и не буду,— отвечал я охотно, по-интеллигентному, и только тут вдруг заметил, что это за дом, возле которого довелось мне задумчиво встать.

Это был некий довольно большой дом, в котором оберегают российский народ внутри него друг от друга. Этот большой дом так и зовут в народе с оттенком уважения — большой дом. Увидев это, я взошел по ступеням с некоторой торжественностью и готовностью пострадать, хотя вины моей было немного, как я тут же и взвесил: то есть, видимо, нельзя останавливаться возле этого дома, к тому же задумавшись, к тому же имея в руках своих обширную сумку.

Итак, я торжественно взошел по ступеням, которые для того и были сделаны в мраморе, чтобы торжественно на них подыматься: с одной стороны — к ответу, с другой стороны — наоборот, для страдания.

— Идите, идите. Не бойтесь,— сказал мой провожатый, молодой человек моих лет, к которому тут же я почувствовал презрение; зачем ты пошел на такую работу? Что за работа — я, конечно, не знал.

— А я и не боюсь,— сказал я с вызовом, отпуская тяжелую дверь, которая туго пошла сама назад и прикрыла сзади бесшумно за мной белый свет.

Мой вожак усмехнулся и сверкнул в меня глазом, однако строгость тона ко мне подчеркнул и усилил.

— Не беспокойтесь. Небольшая проверка,— сказал он по-простому.— Сумку оставьте тут, на столе.

— Но как же?.. Я не могу. У меня там...

— Не беспокойтесь,— еще раз повторил он.— Вы получите ее обратно, с сохранной распиской.

Мне хотелось сказать, что у меня там рукопись, которая, если ее прочтут в этом месте, вряд ли очень понравится этому месту. Но понятно, что я сказать этого не мог.

«Да полно,— подумал я тут же.— Так ли уж их интересуют наши рукописи? Мы преувеличиваем. Да ведь я и недолго! Они прочитать не успеют».

На этот счет я слегка успокоился.

Но тут же испугался снова: стол, на который мне было указано, находился в вестибюле, открытом на воздух. Сам провожатый, который, по видимости, за этим столом восседал, собирался пойти со мной дальше. Так что я забеспокоился, как бы сумку мою, весьма красивую и новую, без всяких там сложностей попросту не тянули проходящие люди. Но тут же я решил, что вряд ли в таком месте кто-нибудь решится сделать именно это, тут проходят люди совсем не такие. Вольный же, уличный вор своей волей вряд ли решится сюда забрести. Правда, во мне появилась еще одна мысль: а возможно, и то, что они их... в общем, некоторых вороватых используют... ну, там для различных государственных целей (если надо)... так вот: как бы помимо целей не прихватили бы сумочку, которую мне ведь не жаль, но там рукопись.

Как бы то ни было, сумка осталась в вестибюле, а сам я, отторгнутый от нее, был доставлен на пятый этаж.

Мой провожатый оставил меня в начале коридора, а сам пошел вперед, открыл какую-то дверь и громко, радостно туда возгласил:

— Ну вот. Привел Марамзина!

И вытер лоб.

Сперва я даже не подумал, откуда ему известна моя фамилия, а лишь отметил, что он отчего-то доложил не по-военному, сугубо штатски. Да и сам он был одет не по форме, хотя его брючки были вполне милицейские, с полосой. Пиджак тем не менее был модный пиджак, совершенно штатский пиджак, на три пуговики.

— Почему так долго? — крикнули грозно изнутри помещения, из-за двери.

Я метнулся вперед, хотя мне приказано было ожидать, где стоял.

— Как же долго? — почему-то кинулся я объяснять, защищая своего жоака от его несомненного и

злого начальства.— Вот... мы прямо так и пришли... нигде не задерживались... прямо так, с улицы.

И зачем я кинулся его защищать? Видимо, как я понял впоследствии, это случилось оттого, что вначале я его презирал, а тут, увидав, как ему приходится от начальства, враз и пожалел его, такого: презираемого снизу да еще угнетаемого его же начальством, которому он верою служит с молодых своих лет. Есть у нас такая непоследовательность, есть.

Из комнаты вышел полковник с вислыми щеками и очевидным даже при молчании громогласным, хозяйским ртом, в котором — то есть в полковнике — я сразу же узнал одного из тех военных, что частенько выпивают вечерами в Союзе писателей.

Неожиданно он обнял моего провожатого и с благодарностью поцеловал его с размаху, куда-то в нос, что не вязалось с недавним грозным окриком.

— Молодец! — сказал он ему и обернулся ко мне: — Сейчас, минуточку. Только закончу с товарищем.

Провожатый ушел, унося на себе поцелуй от начальства.

И тут мне стало все в момент непонятно и странно. Ну, я нарушил. Ну, привели проверять: что за гусь! Я не возражаю, пусть проверяют, что за гусь. То есть это даже хорошо, побывать в таком месте, а затем взрастить в себе приятную обиду: почему, мол, хватают, почему ведут? так с народом нельзя! И из этой обиды создать прекрасные, вольнолюбивые произведения с расширительным смыслом, которые ясно, что не напечатают, но будут долго ходить по рукам.

Но вот зачем тогда они спрашивают: почему так долго? Что это значит? И фамилия — откуда известна фамилия? Ведь как раз и вели, чтоб узнать и проверить фамилию. Я потрогал в кармане паспорт — в кармане паспорт находился на месте.

В коридоре стояла группа людей, видно, работающих внутри этих стен. Среди них были даже две девицы. Они курили и разговаривали. Я разобрал слова «Тибр», «уже» и «русская литература». Первое и последнее повторялись чаще всего. Одни говорили все больше: «Тибр», «Тибр»; в разговоре других мелькала все «русская литература». Иногда кто-то вставлял между ним «уже».

Это и совсем насторожило меня, потому что читатель этого знать не обязан, а мне же было известно, что Тибр — это не река где-то там, в географии, нет; Тибр — это молодой литератор из нашего города; можно даже сказать, что почти что мой друг. Впрочем, это слишком сильно сказано: друг. Впрочем, и это слишком сказано сильно: молодой. Даже литератор — и то немного сказано чуточку слишком. Но, согласитесь, при чем же тут Тибр?

Дверь отворилась, и из нее вышел сияющий гражданин, неловко переодетый в костюм интеллигентного человека — вероятно, недавно.

— До свиданья, товарищ Кузьменко! — сказали ему вдогонку из двери.

— Надо говорить: товарищ писатель Кузьменко! — поправил он, сияя.

— До свиданья, товарищ писатель Кузьменко! — послушно повторили из двери, и Кузьменко отправился в литературу, без всякой экономии излучая сияние.

«Что ли, тут писателей делают? — подумалось мне, глядя на Кузьменко. — Зачем это надо?»

Странно, очень странно.

Нас всех пригласили войти.

3

Полковника в комнате не было. Никого в комнате не было. Даже стало непонятно, кто же нас пригласил? Вскоре я заметил еще одну дверь.

«Ага,— понял я.— Туда они, наверно, и вышли».

Сотрудники расположились по углам, кто где хотел, приготовясь, очевидно, сотрудничать. Мебель была современная, заказная, удобная. Девушки постепенно клонились и клонились на диванчике в разные стороны да и прилегли почти горизонтально, продолжая курить.

— Почему это так? — решил я тихо спросить у соседа и показал ему рукой на девиц.

— А что? Можете и вы тоже так. Это чтоб была непринужденная обстановка, без скованности,— объяснил он мне с деликатностью, тоже негромко. Объяснение мне понравилось, хотя я ровно ничего не понимал в обстановке.

— Ну, вот и я! — сказал полковник громогласно, входя наконец из-за внутренней двери. Мне показалось, что девушки все-таки несколько сжались в своих непринужденных позах, при своих сигаретках.

Полковник за это время успел переодеться в скромный серенький костюмчик. «Что там у них — костюмерная, что ли?» — подумал я с удивлением.

— Да, — сказал полковник, обращаясь ко мне. — Я переоделся. Я знаю, что мундир пугает интеллигентного человека в России.

Интеллигентного человека — это, значит, меня, потому как прочие — люди бывалые, здешние. Я еще ничего не понимал, но мне сделалось тотчас приятно.

— Простите нас, — сказал мне полковник, садясь, — что нам пришлось раздобыть вас таким странным способом. Ведь если бы мы пригласили вас попросту, телефонным звонком или открыткой по почте, вы бы, чего доброго, напугались сами, напугали вашу семью и, главное, всех своих друзей, среди которых нашелся бы кто-нибудь — я не говорю, что это были именно вы, — кто, не дай Бог, еще додумался бы сжечь свои рукописи или наделал других похожих глупостей.

— Как же вы меня это... раздобыли? — спросил я, смеясь.

— Да вот, получили ваши приметы, посадили у окна человека и ждали: должны же вы когда-нибудь мимо пройти? Но интеллигенты боятся проходить мимо нас, стараются задолго перейти на другую сторону улицы.

— Не знаю, кто это боится, — заметил я храбро, стараясь обидеться, но обидеться не получилось.

— Ну, не боятся — не любят.

— Не любят — это да. Это другое дело, — согласился я, довольный.

— Так вот, — полковник хлопнул по столу, и все, как мне показалось, немного вздрогнули и слегка подтянулись. — Перейду прямо к делу. Нас беспокоит судьба нашей русской литературы.

— То есть как — беспокоит?

Все заулыбались, закивали и зашевелились на местах.

— Тут вы видите отдел литературы нашего дома, — сказал полковник. — Пусть они скажут сами.

— Ну вот вы — вы довольны нашей литературой? То есть тем, что печатается? — тут же спросила меня одна из девиц, спросила быстро, словно у них уже было расписано, что и когда и кому говорить. Другая при этом совершенно молчала, как, впрочем, и дальше, во все продолжение, словно была приглашена лишь для обстановки.

— А что? Вообще... — сказал я, решая ни в коем случае не поддаваться на этот провокационный вопрос. — Ничего... разное бывает... советская литература... большие успехи...

— Бросьте, — перебил меня грустно полковник. — Какие там успехи! Стоит только сравнить с девятнадцатым веком. Да вы нас не бойтесь, я прошу вас!

«Вызывает на откровенность», — подумал я снова, стараясь припомнить все методы следствия, о которых когда-либо приходилось слышать. Как я пожалел о том, что относился с пренебрежением к той нужнейшей области литературы, которую мы в своем кругу называем презрительно детективной.

— Откройте любой журнал, — сказал мой сосед. — Невозможно читать!

— Конечно, тому, кто хоть сколько-нибудь разбирается в литературе, — вставила бойкая девица.

— А книги? — продолжал сосед. — Ну, кто их читает? Миллионами идут потом под нож. А это большие убытки.

— Да, почти ни одна не живет в литературе более чем десять — двадцать лет, — сказал еще один из присутствующих, человек в очках и в ярком свитере, явно одетый под студента. У него в блокнотике было записано что-то, и он иногда туда взглядывал.

— Даже то, что печатают за границей и за что мы, конечно, по головке не гладим, — и то невозможно читать. Такая же чепуха, только наоборот, — добавил полковник.

— Кроме Пастернака, — быстро вставила девушка.

— Да, с Пастернаком случай сложный, — произнес полковник в раздумье. — С Пастернаком мы, пожалуй, сгруппили.

— И с Евтушенко. С Евтушенко тоже сгруппили, — сказала снова девица.

— Да, пожалуй, и с Евтушенко... Но с Евтушенко не мы. Тише... — полковник пригнулся к столу и про-

должал совсем негромко: — Не надо это... про Евтушенко. Нас могут услышать.

«Откуда они все это узнали? — поразился я. — Наверно, записали наш разговор с Д. Ишь ты, выучили наизусть, так и шпарят. Нет, не признаваться, ни за что не признаваться».

— Я, вместе со всей советской общественностью, клеймлю позором недостойный поступок Пастернака, — сказал я громко и отчетливо и, поколебавшись, добавил: — Хотя и очень уважаю его как поэта.

— Да бросьте, — полковник поморщился. — Да мы же не допрашиваем вас. Мы же с вами откровенно разговариваем. А вы нам... нехорошо это, стыдно! Если бы еще какой старик, а от вас не ожидали.

И он долго качал головой. Мне показалось, что и все слегка качают головами. Когда же он кончил, то и все перестали.

«Знаем мы такую откровенность! — подумал я. — А потом... Черт его знает, а может, и верно? — пронеслось у меня неожиданно. — Да и чем я рискую, если даже поддакну? Признание подсудимого еще не есть основание для обвинения», — вспомнил я вдруг, хотя и не являлся никаким подсудимым.

— Вы ничем не рискуете, если поверите нам, — сказал полковник, как будто бы понял, что я думал. — Просто дослушайте нас до конца.

— Да, — сказала девушка. — Послушайте, что скажет товарищ полковник.

И она подвигала задом по диванчику, выбрала более удобное место, словно приготавливаясь к чему-то торжественному.

«Ну, послушаю. А дальше что?» — подумалось мне иронически.

— Нас беспокоит русская литература и ее судьба, — сказал полковник озабоченно. — Вот мы и решились взять ее в свои руки.

— Литературу? — спросил я быстро.

— Нет, судьбу, — так же быстро ответил полковник.

— А-а, — сказал я, соображая. — Но почему же именно вы?

— А кто? — ответил он с безнадежностью вопросом на вопрос и развел картинно в стороны руки, показав, что между ними ничего, в общем, нету, то есть что

некому этим заняться во всем белом свете, вернее, никто не занимается, никого не беспокоит наша русская литература и ее судьба.— Да почему бы и не нам? Раз мы за это болеем,— добавил он.

«Ну да, ну да,— понял я.— Раз уж они действительно за это болеют».

Так вот почему они выпивали в Союзе писателей! Я-то думал, что они выпивали потому, что им близко по духу то, что делают в литературе наши члены Союза писателей. А уж делают то, что вы знаете сами: очень близко к охранительным функциям — то есть к тому, на что поставлен этот дом. А оказывается, мы просто этот дом плохо знаем. Оказывается, они совсем не поэтому выпивали в союзе.

«Бедная русская литература,— сказал я себе.— Видно, действительно плохи ее дела, если приходится взяться за нее таким, как они,— секретным, военным лицам внутри этого дома».

4

— Взгляните только на редакторов: ни одного личного человека! Если не подлец, так дурак, а если не дурак — то негодяй,— сказал мой сосед с неожиданной страстью.

— И иначе и не удержится! — добавила девушка.

Я с удивлением переводил глаза с одного сотрудника на другого. Право, можно было подумать, что я нахожусь среди самых крайних, самых прогрессивных из моих знакомых. Временами мне даже казалось, что тут прогрессивней.

— Нет, все же есть просто трусы,— возразил я для честности.

— Ну, а трусы — это разве хорошо? — сказал полковник.

И никто, разумеется, не мог сказать, что да.

— А писатели? Писатели лучше? — с деланной горечью спросил студент сам себя и с нею же сам себе тотчас ответил: — Так и заглядывают во все глаза наверх: что, мол, угодно?

— Тихо,— проговорил полковник с неудовольствием.— Я же говорил, что нас могут услышать.

«Да кого же им бояться? — удивился я снова и даже посмотрел на потолок.— Разве над ними еще кто-то есть?»

— Ну хорошо, а что же надо делать? — спросил я с иронией, уверенный, что задал им трудный, практический вопрос. Но оказывается, и об этом они уже думали.

— Вот-вот,— проговорил полковник с удовольствием.— Вот мы и решили. Мы закрепляем книги договором.

— То есть каким договором? — не понял я.

— С нами договор, с нашим домом, то есть через нас — с государством.

— Но ведь и так существуют договоры, с издательством, то есть опять же с государством?

Полковник улыбнулся мне, как хитрому шельме, как бы давая понять, что он вполне оценил мое нежелание понимать, а значит, теперь он уже позволяет мне понять все как есть. Но я, напротив, так старался все себе уяснить и не мог, что от сильных стараний у меня в голове выделялось тепло.

— Наши договоры крепче,— сказал полковник и обхватил доску стола, сжимая ее руками.— Крепче и скорее. К тому же мы заключаем договоры на все. Там же, в издательстве, у вас на все не заключат?

— То есть... если высокий идейно-художественный уровень...— отвечал я с достоинством, не поддаваясь на приманку.

— Побойтесь Бога! — вскричал полковник в отчаянии.— Ну где вы таких выражений набрались? Все-таки писатель, да еще молодой!

— Ежедневно читаю центральную прессу, слушаю радио.— Я поколебался и добавил для честности: — Иногда.

— Ну так вот,— полковник встал за столом.— Если вы это... слушаете радио (а ведь радио-то наше), то тем более вы должны слушать меня. А я вам — вы слышите? — запрещаю здесь разговаривать с нами таким языком. А то мы сочтем за неуважение к нам. Верно? — спросил он сотрудников, и сотрудники подтвердили, что действительно сочтут.

«Ведь вы же сами придумали такой язык, а теперь недовольны»,— хотел я возразить, но отчего-то не стал. Я не могу сказать, чтобы я испугался, но и сердить их

мне не было смысла. Я изобразил независимость и решил слушать дальше.

— Так вот. Сдаете нам рукопись. Только одно условие — сдавать в переплетенном виде.

— Почему? — спросил я в искреннем недоумении, забыв, что я решил достойно все слушать.

— Как — почему? — спросил полковник с еще большим удивлением, нежели мое, и обернулся к своим, чтоб ему разъяснили; но свои не разъяснили, потому что и им было тоже неясно, как это я не понимаю такой простой и истинной вещи.

— А как же по-другому? — спросил меня мой сосед с тревогой — с тревогой за мои способности или в сомнении насчет моей гражданской честности, которое возникло начиная с этого момента.

— Ну так... как обычно... в папке, — сказал я нерешительно.

— Да вы что?! — полковник резко толкнулся ногой от стола и уехал в кресле до самой стены, об которую с грохотом стукнулся, что выражало, видимо, крайнюю степень его полковничьего возмущения. — Вы что, не знаете, что папки отменены?

Некоторое время все молчали и во все глаза смотрели на меня, соображая, видимо, что же со мной надо сделать за это.

— В общем, переплетенную, — сказал полковник сухо и так же резко вернулся на кресле к столу, притянувшись рукой. Он немного смягчился и продолжал: — Проходит пять месяцев, и вы имеете твердый договор.

— Пять месяцев! — вскричал я невольно. — Нет, тогда не пойдет!

— Да теперь разве меньше? — спросил меня мягко сосед.

— Этот, например, безбородый, — сказал полковник и развеселился.

— Основоположник! — вставила девушка, и все расхохотались.

Полковник тоже позволил себе посмеяться над прозвищем известного у нас одного такого редактора, который стремился видом своим походить на великих людей.

И опять мне было непонятно: да как же можно им смеяться над редакторами? Ведь это свои, их же самые люди, которых тотчас же можно переставить к

ним в дом. Разве что они смеются добродушно, по-свойски?

— А что? Он ведь и по году читает, и больше. Правда-правда! А что вы с ним сделаете? — подтвердил полковник, отсмеявшись.

«Откуда только он знает?» — удивился я снова. Мне, конечно, было еще неизвестно, что тут знают все, только делают вид иногда, что не знают.

— А то и вовсе не прочтет, но заверит, что читает, — сказал мой сосед как бы с личной обидой.

Студент подвинулся к столу, сложил на нем свои нерабочие руки и произнес не своим, замедленным голосом:

— У нас в редакции сложилось мнение — надеюсь, вы меня поймете правильно, — так вот, оно сложилось не сразу, то есть это мнение, и касается того, что ваше произведение, а вернее вещь, мы сейчас, как вы сами понимаете, опубликовать в ближайших номерах нашего журнала, вероятно, не сумеем, то есть в ближайших, разумеется, тоже, но это еще не значит, что мы с вами, как умные люди, не можем понять друг друга, а это самое главное.

Так это было похоже, что студента прервали и опять залились веселым смехом.

«Весело тут у них», — подумал я почти совсем свободно и бесстрашно. Я настолько осмелел, что оборвал их смех и развязно сказал:

— Вот вы недавно говорили, что договоры на все.

— Да, — подтвердил полковник, послушно переставая смеяться. — У талантливого человека мы возьмем все, до строчки.

— И денежки за это дадите?

— Да, немного дадим. Остальные потом.

— И напечатаете?

— Ну, не все, — сказал полковник, давая понять, что, мол, это уж слишком: чтобы брали, давали денежек, да еще и печатали. — Мы ведь вообще не печатаем, как вы, наверное, знаете. Печатают журналы.

Тут уж я улыбнулся, как хитрая шельма.

— Но журналы, конечно, с нами считаются, — сказал полковник, поняв мою улыбку и желая все же быть по возможности честным. — После нас они читать будут быстро.

— А как же быть с крамолой? — спросил я.

— То есть? — полковник насторожился. — У нас не может быть крамолы.

— Да нет, — сказал я терпеливо. — То, что сегодня считается крамолой, а завтра уже не считается, а послезавтра, может, снова будет считаться, как знать.

— Разве так бывает? — спросил мой сосед весьма мирно.

— А как же? Уж вам-то это должно быть известно. Например, «Иван Денисович». Когда его писали, это было нельзя. А потом ненадолго стало можно и напечатали. Как же быть в этом случае? То есть если принесем вам такое, которое пока что совершенно нельзя? Арестуете? — спросил я и замер в ожидании.

Теперь меня, видимо, все уже поняли.

— Ну, если уж очень... очень преждевременно, то тогда уж, знаете... тогда придется у нас... — объяснил мне полковник, выбирая слова, чтоб меня не задеть. Но эти слова никак не могли меня задеть. Я их слушал в два уха.

— Временно, конечно, — продолжал полковник. — До каких-нибудь перемен. Мы вам дадим отдельную... в общем, комнату...

— В нашем городе? — спросил я быстро, перебивая.

— Постараемся, — обещал полковник. — Хотя это будет зависеть не от меня.

— Не хотелось бы уезжать далеко, — сказал я снова.

— Комнату, бумагу... — продолжал полковник. — Даже лучше, чем в девятнадцатом веке. А там пишется, что хочется.

— Заметьте, что мы никогда еще так не делали, — сказала девушка ласково.

— Да, — подтвердил и полковник. — Это новый этап нашего развития.

— Ну и что же будет с литературой, которую я напишу?

— Не беспокойтесь, не пропадет. У нас все хранится надежно, несгораемо. У нас еще есть кое-что со времен Бенкендорфа. Не публикуем, но храним.

— Да зачем же тогда это нужно? — спросил я, снова не понимая.

— Ну, мало ли. Допускаем к чтению сотрудников. Вот они, например, — он указал на сотрудников, они

закивали.— Им это полезно для знания жизни. Откуда жизнь узнать как следует? Только из литературы. Она, литература, не случайна. Вы не слушайте критику, когда она вас учит. Ведь ей так велели. А мы с вами знаем: если что появилось в литературе, то это есть и в жизни. Это значит сигнал. Всякий там инфантилизм, сердитые молодые, отцы и дети, «Новый мир», ленинградская школа. Это все явления, которые мы изучаем.

— Так пусть бы и все изучали, все люди? Зачем пресекать? — сказал я простодушно.

— Об этом надо подумать,— заметил полковник и обернулся к студенту: — Запишите эту мысль. Это интересная мысль молодого писателя.

Он задумался.

— Нет,— сказал он, подумав.— Это, видимо, для всех все же вредно. Не надо, не записывайте.

— Да ведь истина...— начал я горячо, но запнулся, увидев, что все при этом слове стыдливо потупились.

Не меньше минуты продолжалось молчание.

— Так вот,— сказал наконец полковник как ни в чем не бывало.— Значит, мы договорились? Подумайте. Подумайте и скажите там вашим.

— Кому, то есть, нашим? — спросил я, мгновенно вскинувшись.

— Да молодежи. Да писателям. Да бросьте же! — сказал полковник укоризненно и подал мне руку.— Можете идти. До свиданья.

Не знаю отчего, но мне неожиданно сделалось радостно.

— Вот не знал, что тут интересуются литературой! — воскликнул я весело, пожимая мягкую полковничью руку.

— Заходите,— пригласил меня радушно полковник.

— Не знал, не знал! — сказал я и пожал руку девушке.

— Заходите,— сказала мне девушка, а вторая промолчала и руки не дала.

— Совсем бы не думал, не думал, что именно тут,— сказал я, пожимая руку мнимому студенту.

— Приходите, не стесняйтесь,— сказал студент.

— Значит, договоры? — сказал я и пожал руку соседу.

— Договоры,— сказал сосед.— Заходите!

— Общий поклон! — воскликнул я у двери, вскинув руку, и так, со вскинутой рукою, ушел в коридор.

Я сбежал по лестнице и увидел того самого молодого дежурного, который меня приводил.

— Не знал, не знал! — сказал я весело и подмигнул ему левым глазом.

— Что-о?! — спросил он с удивлением, привставая на стуле.

— Да бросьте! — сказал я игриво и толкнул его в бок. — Я же все понимаю. Пока!

Я схватил со стола свою сумку и выбежал в город.

5

Пробежав недолго, я вдруг остановился, как будто включил полный тормоз. Я даже несколько попятился задом. Дело в том, что я забыл заглянуть себе в сумку.

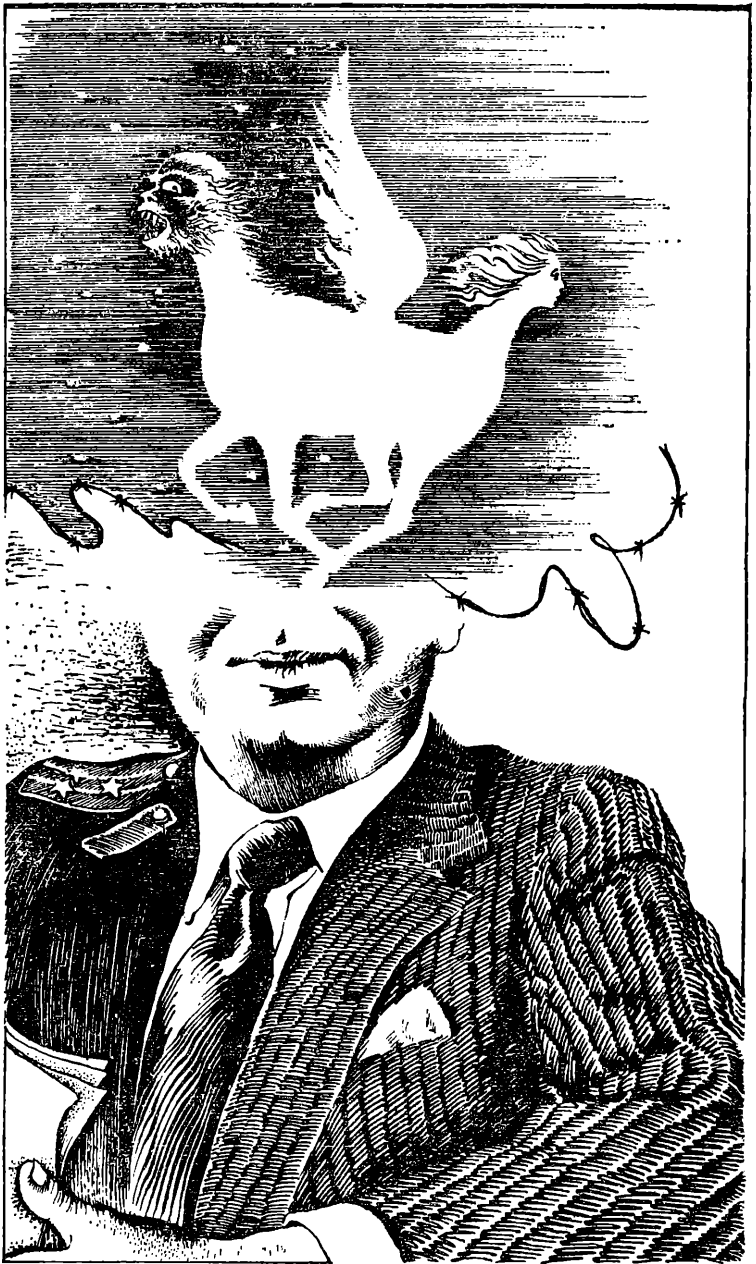
Поставив сумку на колено, я с волнением раскрыл ее настежь. В сумке было все в сохранности. Но что это? Рукопись моя лежала, переплетенная в кожу, листы прошиты и пронумерованы заново тушью. На последней странице был штамп, а в нем надпись: «Русская лит. Раздел осн. Соцреал. Пред: Мальцев. Послед: Марков-первый».

— Ха-ха! — сказал я себе. — Сразу видно, что не читали. Мальцев! Марков-первый! Почитали бы вы, дорогие! Вы бы увидали, какой там Марков-первый!

Я закрыл снова сумку и пошел на трамвай. Пройдя немного, я вновь остановился и задумался. Неужели же, когда переплетали, ни один из переплетчиков не заглянул вовнутрь, не заинтересовался? Я бы, если мне поручили такую работу, да еще в таком интересном месте — я бы непременно заглянул и почитал внутри переплета. Правда, возможно, конечно, что переплетчики — люди нейтральные, прочли — и молчок, и не возмутились нисколько. Но и это вряд ли, потому что тут и переплетчики — народ всесторонне проверенный и в известном отношении наученный.

«Неужели прочли? — вдруг подумалось мне. — Почему же тогда меня выпустили?»

— Нет, не может быть! — сказал я себе чуть не громко и, почувствовав сильное беспокойство, повернул идти назад.



В вестибюле все было по-прежнему. Я направился внутрь.

— Гражданин! — сказал мне дежурный как чужому. — Вы куда?

— Да это же я! — воскликнул я смущенно — в смущении за него, что он меня не узнал.

— Ваш пропуск, — потребовал дежурный спокойно.

— Да я же тут... да вы же... Да я только что... русская литература... — проговорил я, растерявшись.

— Вам что — назначено? — спросил дежурный, глядя на меня с неодобрением.

— Да нет, я забыл... я хотел... у полковника...

Что я хотел у полковника, так у меня и не сказало.

Дежурный брезгливо посмотрел на меня, словно бы он не уважал меня за то, что я пришел сюда снова по своей доброй воле, и, приказав мне сесть вдалеке, у стены, стал звонить по своим телефонам.

Он звонил так долго, что я опять удивился: да неужели это такой необычный, сложный случай? Да ведь ходят же к ним эти — как их? — тихие люди, ходят тихо и незаметно, а значит, и быстро. Конечно, я не из таких, но ведь они же знают — а вдруг да я решился сделать им то же самое? Мало ли? Вдруг. Так неужели и тогда они стали бы держать меня столько при входе? Они должны, напротив, поощрить меня за это, потому что не каждый, далеко не каждый на это пойдет. И если бы они действительно хотели привлечь горожан для такой, необходимой им функции, то они должны обращаться достойно, а особенно с интеллигенцией.

«Бесхозяйственность, — подумал я с некоторой грустью. — Как всегда у нас и во всем».

Конечно, я это думал не всерьез, а просто так, от нечего делать, прикидывая и такой образ мыслей. Сам бы я никогда не согласился на подобное гнусное предложение, да они и не посмели бы мне его высказать.

Наконец телефоны договорились друг с другом внутри своей связи, и меня допустили подняться наверх.

Я поднялся, дошел до той, недавней двери и открыл ее без стука, думая, что обо мне, ясно, знают. Уже входя, я из вежливости все-таки вымолвил: «Мож-

но?» — но и сам вслед за этим можно — даже несколько раньше — целиком был внутри.

Полковник вздрогнул, когда я вошел, и уставился на меня круглым глазом. Брюки у него уже были военные, пиджак держал он в руках и выворачивал наизнанку. «Так вот у них как!» — отметил я с изумлением. Внутри приличного, серенького, модного с разрезом пиджака, на его на подкладке находился мундир. Оказывается, даже разговаривая давеча со мной, полковник непрестанно был в мундире — только погонами внутри.

Постепенно полковник взял себя в руки, как ни в чем не бывало вывернул пиджак на мундирную сторону, надел и даже заставил себя улыбнуться.

«Не хочет пока что накричать на меня. Очевидно, боится, потому что я им нужен», — подумал я с гордостью.

— Ну, что-нибудь забыли? — спросил полковник, улыбаясь.

Улыбка у него была странная. Уж очень быстро она у него спадала — хоть бы он подержал ее подольше под носом. А то распустит ее вполне любезно, а не успеешь на нее посмотреть и прельститься — уже улыбки как не бывало, ни в одной губе, если можно так сказать.

— Я хотел спросить, — начал я, собираясь быть твердым, но сам замечая извинительность у себя, в своем голосе. Уж такие мы, видимо, люди.

— А что же — спрашивайте! — разрешил полковник щедро и позвал меня сесть.

— Вот... рукопись... — сказал я, доставая рукопись.

— А-а, — сказал полковник радостно. — Да-да, знаю-знаю.

— Знаете? — спросил я испуганно.

— Видел, — подтвердил полковник. — Хорошо переплели.

Он взял ее у меня из руки и любовно погладил красивый, слегка еще влажный ее переплет.

— Но вы же... вы ее, конечно, не читали? — спросил я с надеждой.

— Читал, как же, читал, — ответил с удовольствием полковник.

— Но когда же? Ведь все время тут... рукопись большая,

— Надо уметь! — воскликнул полковник. Он был явно польщен и доволен. — Очень быстро читаю. Листаю — и уже прочел. Не то что этот, как его, безбродый.

Он встал, посмеиваясь, довольный, и даже было расстегнул свой мундир, собираясь, видимо, перевернуть его на культурную сторону, но потом передумал.

— Но когда же? — спросил я опять, перебирая в памяти всю сегодняшнюю встречу.

— А вот когда вы меня тут ждали вот тогда, — он показал на внутреннюю дверь, и я сразу же вспомнил.

— Имейте в виду, что я ничего не боюсь, — сказал я решительно, потому что путей отступления не было.

— Правильно, — одобрил полковник. — Правильно делаете!

— Я понимаю, конечно, эту хитрость со штампом, — сказал я, умно и с лукавством поглядев на него. — Но писатель должен иметь смелость отвечать за то, что им написано, и поэтому я...

— Хорошие слова! — воскликнул полковник. — Именно, именно так!

— Так что я готов, — сказал я торжественно и вынул из кармана паспорт. — Вот. Берите.

— Зачем? — сказал полковник, — отстраняясь. — Мне не нужно. Да что вы? Все в порядке!

— Почему же? — сказал я, пытаюсь всунуть полковнику паспорт. — Я готов. Возьмите!

Между нами произошла некоторая борьба, которая заключалась в том, что я всовывал паспорт полковнику в руки, подкладывая его под бумаги, лежавшие на столе, а полковник выталкивал его от себя как только мог.

— Да что это с вами? — сказал он мне вдруг с изумлением. — Что это вы подумали? Все в порядке!

— Не-ет, — сказал я. — Я все понимаю. Чем раньше, тем лучше.

Я сделал движение к внутренней двери.

— Нет-нет! — возразил полковник, тоже делая движение, как бы переграждая мне путь во внутренние, застенчивые комнаты дома.

— Да вы не думайте, я вполне готов, — сказал я, прижимая руки к груди. — Право же, готов.

— Но зачем же? — крикнул полковник, не понимая.

— И жена согласна... вот я только позвоню жене...— я метнулся к телефону и взялся за трубку.

И вдруг полковник расхохотался. Он смеялся долго и обидно, и я не знал, что мне делать, я представил себя со стороны, с паспортом в руках, и вдруг страшная мысль о моей, о сокровенной рукописи промелькнула у меня.

— Но ведь вы... вы же говорили...— сказал я растерянно.— Вы же мне говорили? Одиночная... в общем, комната... бумага... я разве против? Как в девятнадцатом веке. Я нисколько не против.

— Да что вы!— сказал полковник уже вполне серьезно и без смеха.— Да это к вам не относится.

— Но вы же...— я совсем был убит.— Вы же читали... вот тут... я долго работал...

— И хорошо поработали!— сказал полковник.— Это будет своевременная, нужная книга!

— Но я думал... теперь так не пишут... критические традиции...

— Правильно,— согласился полковник.— У вас глубокая критика недостатков. Деловой подход. Но с пониманием светлого начала в нашей жизни. Как раз то, что надо.

— Может быть... то есть я это так, в виде предположения... может быть, вы торопились...

— Нет, я хорошо прочел! Нужная книга!

— Но я... что же это такое? Я считал... я думал... я вполне готов... вы не думайте... это же со всей силой... обличение...— я говорил уже, и сам не зная что.

Со стороны я был, наверно, похож на совсем потерянного человека, на человека не в себе, у которого вмиг подрубил колени.

Полковник заботливо взял меня под руку и потихоньку проводил до лифта.

Не помню, как я вышел из парадного по мраморным ступеням и побрел к себе домой, унося в сумке рукопись, в новом переплете, с аккуратным лиловым штампом:

«Русская лит. Раздел осн. Соцреал. Пред: Мальцев. Послед: Марков-первый».

Придя домой, я еле дождался ночи и лег спать.

Ночь прошла у меня очень трудно и плохо. Я все время просыпался, а потом никак не мог попасть обратно, в сон, где ко мне приходили к тому же разные неприятные, беспокойные предметы и мысли.

В середине ночи мне привиделся тянитолкай — сказочное животное с двумя головами, направленными в разные стороны. На хорошем, грустном, деревенском теле лошади было насажено с каждого конца по голове. Эта бедная лошадь оказалась тем самым лишенной нормального зада. Хотя, разумеется, зад мы почитаем частью, которая хуже, а не лучше самой головы, однако же телу нужна всего одна голова и один скромный зад, который был бы ей всегда противопоставлен.

Я гляделся внимательно в каждую голову. Одна из них была отвратительна, а другая же, напротив, прекрасна. Однако они все время переменялись выражениями, так что было никак не понять — которая же из них отвратительна, а которая именно, напротив, прекрасна. Но в каждый момент какая-то одна была вполне отвратительна, а другая вполне прекрасна — да, это так, в этом я не ошибся, хотя и не мог разглядеть всю картину получше, потому что внезапно стал звонить телефон. Это меня ненадолго порадовало: вот, уже начинают звонить по ночам! Я сошел с кровати и бережно выловил трубку из ложа.

— У вас киоск недалеко? — спросил меня сразу же в трубке полковник.

— Киоск? Да, киоск недалеко, рядом, на углу, — отвечал я, не думая, зачем мог понадобиться киоск среди ночи.

— Тогда спуститесь и купите журнал, четвертый номер, — сказал мне полковник.

— Какой журнал? — спросил я послушно.

— А не скажу, — неожиданно ответил полковник, делая загадку. — Наш журнал, самый что ни на есть наиболее наш. Догадайтесь.

Догадаться, конечно, было вовсе не трудно.

— Ага, — сказал я. — Понимаю. Но зачем?

— Мы вас там напечатали, вот зачем, — сказал полковник с удовольствием.

— Как? Уже? — испугался я. — Так быстро?

— А у нас все быстро. Не то что у того, безбородого! — сказал полковник и захмыкал несколько самодовольно.

— Как же так? — начал я упавшим голосом. — Неужели...

Но полковника уже в трубке не было, он отключился.

— Боже мой, Боже мой! — воскликнул я в отчаянии, роняя трубку неизвестно куда. — Какое несчастье!

— Что? Что такое? — испугалась жена, просыпаясь.

— Несчастье... Какое несчастье! — приговаривал я.

— Да что случилось? — закричала жена.

— Ты представляешь? Меня напечатали!.. — ответил я горько. — Целых два года работы насмарку!

Я сел на кровать и схватил себя руками под мышки. Я начал, сам того не замечая, от горя раскачиваться в разные стороны.

— Ну ничего, ничего, — говорила жена, прижимаясь ко мне щекою и утешая, хотя и не верила сама, что ничего. — Ты же не стоишь на месте, как другие. Ты работаешь дальше. Ты развиваешься. У тебя другая повесть в заделе, похлеще. Уж ею-то ты им покажешь! Уж ею-то ни за что не напечатают, можешь быть уверен!

— Правда? Не напечатают? — спросил я с надеждой.

— Ни за что! — сказала жена, постепенно набирая уверенность, и я слегка повеселел, потому что я очень всегда доверял своей жене, ее чувству.

— Но почему, почему же так быстро? Ведь он говорил мне сегодня: пять месяцев? — вспомнил я вдруг и от этой новой, неожиданной мысли как-то сразу же понял, что полковник сейчас в телефон пошутил, сидел себе, видно, один на работе (они же, бывает, сидят по ночам), стало полковнику грустно одному в кабинете, ну он и того, и пошутил надо мной.

— Ну конечно, пошутил! Он веселый, полковник, с пониманием юмора. Конечно же, пять месяцев, не меньше, ведь он говорил! Раньше даже у них не бывает, никак... — сказал я жене и вздохнул с облегчением.

РАССКАЗ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Литература — занятие страшное, она сбывается. Я хорошо помню, как однажды в январе 1966 года я позавтракал и собирался поработать, то есть написать что-то, заказанное мне Детгизом, но не сразу мог себя заставить и даже задремал, оправдываясь необходимостью образовать в себе свежую голову, как вдруг у меня пошел и разом написался этот рассказ, ничего хорошего мне не принесший. Именно с него начались все мои неприятности, закончившиеся — грустный юмор — отделением меня от государства.

Он стал ходить по рукам, что зовут нынче самиздатом, да еще с большой буквы — слово, удобное краткостью, но сбивающее с толку западного человека, а при нашей беспечности мы его знаем еще с Баркова, еще с Василья Львовича Пушкина. Рассказ переписывали, потому что он (как мне объясняли) снижал смехом страх. Гуляя самиздатно по рукам, догулял он в 1968 году до КГБ. Все-таки это удивительно: столько, казалось бы, среди рядового населения раскинуто незаметных стукачей и тихарей (деликатно названных в рассказе тихими людьми), а понадобилось два года, чтобы достучаться до главного уха. Зато уж тогда я узнал это сразу. Беспартийного меня пригласила беседовать партия. В этот раз она поворотилась ко мне — как фольклорная избушка — самой культурной своей стороной (насколько может): беседовал отдел культуры нашего обкома. Очень вежливо спрашивали меня, зачем я пишу такие рассказы, порчу себе жизнь, да еще не понимаю, что их никак нельзя печатать. «Почему?» — спросил я простодушно. Я всегда верил и продолжаю верить в великую силу наивности. В ответ похихикали: «Представьте себе... вот это место хотя бы, об использовании на государственной службе вороватых людей... — и где-нибудь в журнале «Нева», например, а?»

Действительно, пожалуй, смешно.

Надо сказать, что мне самому представлялся смысл рассказа не слишком оскорбительным для властей. Мало того, кто-то мне говорил, что я изобразил их слишком мягко и добродушно, а они не такие. Какис

«они», я знал тогда понаслышке. И рассказ, казалось мне, был не столько о них, сколько об интеллигентном филистере (я взял все на себя, дав свое имя), для которого притягательна игра опасностью сама по себе, без нужды: бездна тянет. Но бездна рассердилась, и в мае 1968 года тогдашний генерал Ленинграда В. Шумилин (ведь они генералы, хотя об этом обычно молчок), выступая перед «творческой интеллигенцией», впервые продолжил мой рассказ.

Говоря о самиздате, он выделил этот рассказ как самый распространенный тогда в нашем городе — тут же я нашёл себе несколько врагов из пишущей братии: еще одно продолжение рассказа. Он подробно пересказал сюжет и осудил его:

— Марамзин искажает нашу работу, хотя еще и не знаком с нею.

Фраза странная, от нее и в самом деле веет бездной, но во второй части справедливая: меня тогда еще ни разу не вызывали в КГБ. Иллюстрируя искажение работы, Шумилин расстегнул свой модный пиджак, — он действительно был в пиджаке, мундир пугает! — слегка приспустил его с плеч и показал всему залу, что погон внутри нету. Честное слово, я бы не поверил, но мне рассказали пять независимых очевидцев. (Один актер, правда, ждал целый год, когда меня посадят, но, видя, что все не сажают, рассказал то же.) Застегиваясь, Шумилин пригрозил: «Теперь нам придется заняться Марамзиным серьезно».

Не знаю, жалеть русскую литературу или радоваться за нее? Жалеть — потому что нельзя же понимать всерьез, будто Достоевский убил старушку-процентщицу, а у Гоголя сбежал в Петербурге так называемый нос, и поэтому он не оставил наследников. Радоваться — ибо нигде и никогда один рассказ малоизвестного автора не может занять всерьез работой целого тайного генерала. Но угроза, надо понимать, была вполне честной, мне бы здесь надо вздрогнуть и понять, что генералы не прощают тем, кто заставил их по глупости раздеться при народе.

Тогда я впервые, пожалуй, задумался над моим сюжетом. Тянитолкай, этот сказочный головоконь, детское изобретение дедушки Чуковского, лингвистический брат фортепьяно, он же — не всегда добровольный способ тройственного соития, почему он пришел

ко мне в голову и оттеснил мой мирный, хлебный Детгиз?

Между тем продолжения продолжались.

По местному радио, крадучись, без передачи в исторический эфир международной выступил главный агитатор обкома Зазерский. Он рассказал, как много тратится за океаном на холодную войну и кому идут эти деньги. Назывались русские фамилии бежавших за границу. «Есть нестойкие люди и в нашем городе», — сказал он вдруг, и я с изумлением услышал, что из поэтов Бродский, из художников Виньковецкий, а из прозаиков Марамзин * уже давно зарятся на этот золотой дождь, который — тут я несколько не понял — как будто вроде бы уже на них излился. Мы шутили: жалко, что это всего лишь обычная партийная ложь. Но после такого выступления, без шуток, должны были сразу прийти арестовывать — но не пришли. И это было достаточно странно.

Вскоре по какому-то поводу вызвали моего дальнего знакомого на Литейный, в КГБ. В Ленинграде это называется «Большой дом», потому что дом действительно не маленький, построен архитектором-конструктивистом в 1933 году, под личным присмотром Кирова, которого его подопечные после новоселья сразу же и «закончили» (жаргон). Через десять минут речь пошла обо мне. Лейтенант Губанов спросил знакомого, читал ли он «Тянитолкая». Он, конечно, не читал, и Губанов, трясаясь от раздражения, произнес: «Да я бы его за этот рассказ лично высек. Ведь не знает нашей работы, никогда у нас не был, а берется писать!» Кажется, за эту фразу, широко разошедшуюся, болтунишка был из конторы все же убран. Но в тот день, услужливо подавая пальто мосму знакомому, он доверительно попросил: «Вот теперь вы были в Большом доме, знаете, как у нас тут разговаривают — расскажите ему!» Знакомый рассказал.

* Кстати, нас троих — совершенно разных людей — тогда впервые соединили вместе. Теперь, вероятно, соединение было бы правильным, по одному признаку: на сегодняшний день все трое оказались вынуждены уехать из страны. Не было ли так и задумано, именно тогда — «в верхах»? Не было ли это радио первым звонком? Тогда, надо сказать, правда, что ГБ сидит высоко, глядит далеко. Выходит, справедливы догадки о долгосрочном планировании.

И только тогда я понял, что действительно, никогда не бывая в КГБ, слыша о нем рассказы, наводящие прямой ужас, я тем не менее невольно угадал и предсказал новое, странное поведение органов.

В сентябре 1969 года я, наконец, сподобился: меня вызвали повесткой по делу сбежавшего Кузнецова — у того после событий нашли в архиве рукопись моего рассказа (все того же). Меня уже не удивили вежливые, в духе тянитолкайства, разговоры следователя, похвалы моей детской книжке и шутки «от обратного»: «Про нас говорят, что мы наганами грозим, но вы же видите, что нет?» Ха-ха, очень смешно. Или: «Тут один распространял, будто мы половые органы к сиденью прибиваем!» Невольно приподымаюсь над стулом.

— Чего только про нас не рассказывают! — весело засмеялся следователь (Тареев).

Нет, подумал я, рассказать про вас не так-то просто.

Во время обыска прежде всего забрали все мои рукописи, называя их наизусть поименно (мои первые литературоведы), но после ареста майор Рябчук сказал: «Не волнуйтесь, «Тянитолкай» мы вам инкриминировать не будем. Лично я на него не в обиде», — и опять соврал. В числе других вменили мне и старого «Тянитолкай», о котором давно знали, за который могли посадить уже шесть лет назад, да почему-то тогда не посадили, а лишь теперь.

Когда я узнал о происшествии с Войновичем в «Метрополе», я не мог не вспомнить этой истории. Совпадение, по-моему, просто невероятное. Можно подумать, что мой рассказ был положен в основу сценария. Приходится слышать сомнения: да не может быть, Войнович что-то путает, половину он придумал — писатель! Но я-то знаю, что весь его рассказ — чистая правда. Новая тактика, новое, странное поведение ГБ именно рассчитано на то, что тебе не поверят. Да нет, ты просто не поверишь сам себе — вот как они ведут себя нынче. А в случае чего, при очень уж точных рассказах — в психушку тебя! Мания преследования у тебя, разве не ясно?

Наши органы не шутят, хотя, конечно, они непрерывно работают. Они расстреливают — это да, то есть когда-то расстреливали. Они угрожают — опять ко-

гда-то, в отдельных, отдельно взятых случаях угрожали. Но они не занимаются такими вещами, как легкое отравление не до потери полной жизни.

Но я теперь на них посмотрелся и хочу сказать: нет, они занимаются всем. Не существует ничего, на что они были бы неспособны. Они способны, как ни странно, даже походить на людей.

Литконсультант КГБ Александр Тимошенко участвовал в моих обоих обысках. «А я ведь тоже пишу, Владимир Рафаилович,— сказал он во время первого, роясь в моих бумагах, раскрытых, как родительская постель.— И даже немного печатался».— «Прозу?» — спросил я машинально. «Ну что вы, где мне прозу, силенок не хватает. Стихи...» Уходя, он единственный из всех обыскантов крепко, как собрату, пожал мою руку своей литературной рукой. Разве это правдоподобно?

Я вспоминаю майора Рябчука. Ему сорок два года. Привычка стать над тобою сидящим и долго смотреть в глаза, подергивая битой верхней губой. Думает, что взгляд его трудно выдержать — не трудно, но скучно на пятом десятке играть в гляделки с дядей в советском учреждении власти, вдыхая аромат офицерской невытой подмышки. Любимая книга — «Клим Самгин» Горького, и в этом есть даже цельность природы, не правда ли? Книжки они выбирают себе под стать. Часто повторял оттуда: а был ли мальчик? Любил казарменные шутки: хорошая мысль приходит опосля — и первый смеялся. На допросах Рябчук давал мне читать Библию, считал, что он, хитрый, отвлекает меня от очередного вопроса, застигает врасплох, а не мог понять, что это чтение придает сил. Иногда он очень обижался, Рябчук, и тогда у него трясся шрам на хорошо битой кем-то губе. Он всерьез обращался к моей этике, не имея своей, и советовал прочесть в Писании, что нельзя лгать и нужно уважать власть предержавших. Разве это правдоподобно?

Я вспоминаю старого разросшегося мальчика с седой кудрявой головой, сигаретами «Винстон» и фамилией скабрезного поэта — полковника Баркова. Когда-то он был самым молодым полковником в органах. Он работал в Эстонии после войны, среди «лесных братьев» и, предавая их поштучно, зарабатывал звания, да еще написал о своем предательстве книгу. «Вы

талантливый человек,— говорил он мне,— зачем же вам пеньки сшибать в Кировской области?» Я говорил ему, что рад за свою страну: видно, у нее настолько нет врагов, что приходится гоняться за такими, как я. У Баркова на это давно приготовлен народный ответ: «Комар тоже кусается не насмерть, а мы его все равно убиваем».

Разве прежде разговаривали так, почти разумно? Тогда стучали наганом, гасили в лицо сигареты и выбивали ладонью барабанные перепонки. Когда меня спрашивают, я честно отвечаю, что со мной такого не делали. Но нельзя на этом основании говорить о прогрессе. Они уже встали с четверенок, но лишь для того, чтобы освободить конечности для камня. Когда они разговаривают, это страшно. Это противоестественно.

— Вот мы с вами разговариваем, а вы, наверно, запоминаете и сможете потом нас всех описать,— сказал мне Барков.

Он имел в виду: мы же ничего, если честно, мы же похожи на людей? Но я не стану их описывать, потому что не узнал ничего нового. Я описал их, оказывается, раньше.

В местностях, где комаров истребили под корень, сперва исчезла рыба, питавшаяся комариной личинкой, после — птица, кормившаяся рыбой, потом усохли деревья, сожранные червяком, расплодившимся в отсутствие птиц. Комар, конечно, кусает — но без него пустыня. Я пробовал сказать это Баркову — он не слышал. Они уже говорят, но еще не слышат. Да и некогда: в ту минуту как раз прибежали его повышать, теперь он зам самого генерала. Странное поведение старых ответственных мальчиков — приветствуется. Наверно, оно рекомендовано научно.

Про «большие дома» существуют легенды в народе. Пятнадцать этажей под землю, не считая наружных. В камерах вода по колено. Перед допросами бьют. Знают приемы, чтоб на личности не осталось следов. Есть дают через день. В еду подмешивают порошок откровенности.

Наверно, я многих огорчил. Я разрушил легенду, испортил песню: меня не били. Партия умеет признавать свои ошибки, и, возможно, пятнадцать подземных этажей культа личности нынче переделали в двадцать

наземных *. Я даже чувствовал себя виноватым за это. Простой советский человек уже привык к тому, чтобы били. Если не в морду, то — потепление. Психологические пытки — нам понять это сложно. Даже и психушки, страшной которых ничего не может быть для человека, сделали из-за того, что это не тюрьма. Пока еще сложится легенда о психушках, пока их ужас дойдет до фольклора, пройдут десятки лет. А пока наше общее мнение: стало получше.

И честное слово, я не виноват, что на сцене совершенно новый персонаж современности: Тяпitolкай с человеческим лицом.

Владимир Марамзин

Декабрь 1975
Париж

Василий Аксенов

ЧУВСТВО РОССИИ

Как-то заговорили в компании «новых американцев» о России, вернее, о том сложном комплексе, который можно было бы назвать «чувством России». Стаж внероссийской жизни у всех был уже немалый, мои «почти семь» были в этой группе самыми молодыми, хоть я и был самым старым. Слабеет ли в нас это чувство по мере дальнейшего углубления в американское пространство жизни, да и вообще — живо ли оно еще?

Как всегда бывает в интеллигентских сборищах, где каждый старается поскорее «захватить площадку» и не очень-то слушает соседа, тема эта вскоре была перебита чем-то то ли более злободневным, то ли более философским; выпрыгнув на мгновение из кучи идей, она тут же нырнула обратно.

Возвращаясь с вечеринки, привычно разгоняя машину вдоль многолюдного — на грани выхода из берегов — весеннего Потомака, тормоз на красный свет у подсвеченных колоннад памятника Линкольну и воз-

* Так оно, кстати, и есть: на Охте, в Ленинграде, пару лет назад построено новое здание КГБ за колючим забором, занимающее целый квартал. Зачем же лезть под землю? Что нам, места нет на поверхности?

ле золотых крылатых коней, подаренных Итальянской республикой Соединенным Штатам Америки, поворачивая вдоль излучины реки, за которой сразу появлялись огоньки изящных строений Джорджтауна и высоких домов правого берега, я стал думать на эту тему в одиночестве.

Помню ли я свою родину? Задавая себе такой вопрос, конечно, думаешь не о топографии: уж как-нибудь не заблудишься ни в Москве, ни в Казани, ни в Питере, ни в Магадане. Помню ли я цвета России?

«Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь...»

Так писал Есенин.

Мне не удастся окрасить все в один, столь идиллический тон, а перетряхивание разноцветных осколков создает впечатление бездонного калейдоскопа. Реальная ли даль, фальшивая ли близость?

Помню ли я запахи России? В прежние времена, когда иностранцы говорили, что им докучают в России какие-то специфические запахи, я чувствовал себя даже в чем-то задетым. Какие еще, к чертям, специфические запахи? Типичная для русских подозрительность в отношении иностранцев вступала в силу: это они все нарочно, чтобы нас унизить. Поселившись в Америке, мы тоже, однако, сначала ощущали какие-то «специфические запахи», которые вошли потом в «наш букет». Вернись я сейчас в Россию, буду ли чувствовать этот «запах отчуждения»?

Помню ли я ноту России? Ту, что не восполнишь кассетами с Брайтон Бич? Иными словами, «торчу» ли я еще на России, еще более иными словами — вдохновляюсь ли еще Россией? Грубо говоря, русский ли я?

Мой дом стоит на крохотной улочке, названной в честь генерала Лингана, участника войны за Независимость, который в ходе следующей антибританской войны 1812 года почему-то стал выпускать пробританскую газету в Филадельфии. Улочка эта является ответвлением Бульвара МакАртура, победителя Японии. Под нашим холмом проходит старинный канал, соединяющий залив Часапик и реку Охайо, когда-то по нему мулы тянули баржи, из них осталась только одна — для туристов в Джорджтауне. За каналом сквозь неразбериху ветвей блестит Потомак, он же

предок всей этой зоны. Наш горизонт в основном состоит из куп огромных деревьев, над которыми каждые несколько минут появляются курсом на аэропорт Нэшнл самолеты из глубин Америки. Порядочная среда, не правда ли? Она является родиной нашего соседа, старого «англо» (так называют американцев английского и шотландского происхождения), который отказывается продавать свой сад для строительства богатых кондоминиумов, а, напротив, все время стрижет в нем газоны, сажает цветы и кормит ночующих на его пруду перелетных уток. По всей вероятности, у него нет проблем с понятием «родина».

У других моих соседей эта проблема, очевидно, в той или иной степени существует. Среди жильцов нашего квадрата «таунхаузов», то есть «трехэтажных» квартир с отдельными входами и крошечными двориками, есть и итальянцы, и аргентинцы, и арабы, и иранцы. Прибавьте сюда вашего покорного слугу, прибавьте также несколько «англов», и вы получите вполне типичную среду вашингтонской, да и вообще американской, жилой структуры.

Чтобы еще более усилить фундамент, на котором я хочу построить свою мысль, я сейчас познакомлю вас, господа, с группой молодых писателей, которая приходит на мой семинар по современной русской литературе в университете «Джонс Хопкинс».

Алан Паркер (англо), Джон Ким (кореец), Хитер Хoley (англо), Роберт Ли (англо), Дэвид Херцог (еврей), Пол Сафалу (настаивает, чтобы его считали сицилийцем, а не просто итальянцем), Джо Александр Джуниер (черный с Карибских островов), Нэнси Джонсон (англо), Берни Керби (ирландец), Айно Эттингер (эстонка), Анита Ванка (итальянка), Дэнис Таньял (француженка), Цветан Бачваров (болгарин), Норма Мендоза-Дентон (мексиканка), Джанг Чанг (китаец), Дэвид Чарльз (англо), Брайан Го (китаец), Джонгсу Пар (кореец)...

Все эти молодые люди являются американскими студентами, иные из них являются американскими гражданами, иные просто жителями этой страны, именуемыми страшным для советского уха словом «резидент», а все вместе они представляют типичную среду не только студенческого кампуса, но и страны в целом.

Вот то, что дает мне здесь ощущение подлинного

дома, то есть роднит меня с Америкой — ее многонациональность и многоэтничность. В английском языке, кроме слов «фазерлэнд» (отечество) и «мазерлэнд» (родина), есть еще слово «хоумлэнд», то есть страна твоего дома. Привыкнув к многоцветности нашей среды, мы уже будем чувствовать себя не очень-то уютно в более гомогенных странах, скажем, в Японии. В Соединенных Штатах возникает ощущение «дома землян».

С другой стороны, это чувство «американского дома» постоянно ставит перед тобой вопрос национальной идентификации. Понятно, что, находясь в многоэтнической среде, я не кажусь никому из моих соседей или моих студентов чем-то из ряда вон выходящим, какой-то «белой вороной», какой я был бы, скажем, в Японии, Кении или в Норвегии, или даже в провинциальной Франции. Стало быть, я все больше и больше вхожу в типичную американскую жизнь и становлюсь все меньше русским?

Казалось бы, логично, к большой радости для догматиков Агитпропа, что вопят об обрубленных корнях и предательстве родины. Все, однако, не так-то просто, как им хотелось бы. Находясь в этом этническом хороде, ты становишься волей-неволей представителем твоей корневой культуры, ты представляешь здесь свою Россию не только для окружающих, но и для самого себя, так что иногда ты даже спрашиваешь себя — не стал ли я здесь большим русским, чем был там?

С годами мне становится все понятнее и ближе жизнь старой русской эмиграции, ее литературная русско-космополитическая среда. Вдруг начинаешь понимать полную естественность ее существования. Особенно это почему-то чувствуешь у Набокова; и в «Даре», и в «Весне в Фиалте», и в сборнике рассказов берлинского периода, который я совсем недавно прочел в английском переводе. Естественность, правомочность и некоторая гордая, хоть и ненавязчивая стойкость российской интеллигентной среды позволяла думать о существовании страны или какой-то части страны, далеко не самой худшей, за пределами географических и политических границ.

Никаких всхлипываний по березкам в атмосфере не наблюдалось, они переезжали из Варшавы в Марок-

ко, как будто из Киева в Краснодар, поэты кучковались в Париже, чтобы создать свою «парижскую ноту», потом устремились за океан и рассыпались по университетским кампусам, являлись новенькие из Харбина и Шанхая, смельчаки бросались на штурм Голливуда и кое-кому даже удавалось одолеть его дикие орды, а между тем возникали волшебные балеты, расцветивались холсты, зрели философские школы, а также проходили свадьбы, разводы, переезды, любовные истории, покупки недвижимости...

Дело не в том, много или мало они создали, может быть, на родине они создали бы больше, дело в том, что их жизнь была русской и естественно русской, хотя она все более и более не походила на жизнь оставленной родины. Раньше они, даже при всем огромном внимании к ним и уважении, казались мне какими-то реликтами, отжившей расой, отсталым племенем; теперь, когда я и сам уже все больше и больше приближаюсь к их позиции в мире, я начинаю видеть это по-другому, и мне даже иногда кажется, что их «чувство России» было шире, чем наше, несмотря на то, что вокруг нас как бы кипела реальная русская жизнь со всеми ее гулагами, блатами, стукачеством, кальмами и т. д.

Вместе с тем советская жизнь уходит от меня очень быстро на самое дно калейдоскопа, вот от этого, если угодно, сегодняшнего дня я и в самом деле становлюсь все дальше. Порой мне кажется, что не «почти семь», а «почти семнадцать» лет уже прошло, такой далекой и застывшей кажется вся параферналия советской жизни.

Даже вот нынешняя кампания в печати против десяти авторов, письма о противоречиях гласности, постыдно развязанная на фоне уханья о демократизации и перестройке. Лежит у меня на столе ворох статей, в которых направо и налево склоняется мое имя с безобразно пристегнутыми эпитетами, в сочетании с обыкновенной грязной стукаческой ложью; казалось бы, я должен возмущаться, клокотать и клекотать, но не клокочется и не клекочется — все это оттуда, из непомерного далека, из советской жизни. Да, к сожалению, из сегодняшнего дня, но день этот длится, увы, столько уже десятилетий без всяких изменений и потому, наверное, он так же далек, как барщина.

Как-то заехал визитер оттуда, бывший товарищ, сидим, разговариваем, и вдруг он замечает с нехорошей улыбкой: «Ах, вот ты как о нас стал говорить, «советскими» называешь...» Я вдруг поймал себя на мысли, что слово «советские», которое я употребил автоматически, даже и к нему не относилось, потому что он все-таки сидел передо мной во плоти, вытянув ноги в добротных штанах и туфлях, а те были каким-то как бы застарелым мифом, столь же недостоверным, сколь учебник истории партии, по которому в незапамятные годы держали экзамен.

Приблизительно так же дело обстоит с понятием «родина», в пренебрежении которой меня сейчас обвиняют советские журналисты. Я подумал о том, что, если хоть на миг я приму их концепцию этого понятия, я вынужден буду сказать, что моя родина груба, коварна, лжива, что я от нее не видел ничего, кроме унижений, оскорблений и угроз. А между тем к родине, в какой-то другой, то ли умозрительной, то ли единственно реальной родине, остались еще и, видно, всегда пребудут чувства нежные и живые. Чаше всего о них и не помнишь в своем новом доме, но вдруг они приходят, всегда неожиданно, когда на концерте в Центре Кеннеди Митька Шостакович под взмахом палочки отца тронет клавиши и снимет с них первые аккорды фортепианного концерта деда или когда вдруг на университетском семинаре разбежишься по книге Мандельштама и споткнешься на старце...

И я вхожу в стеклянный лес вокзала,
Скрипичный строй в смятенье и слезах.
Ночного хора дикое начало,
И запах роз в гниющих парниках,
Где под стеклянным небом ночевала
Родная тень в кочующих толпах...

Именно в качестве представителя этой России я профессорствую в американских университетах, и оттого образ ее нетронутой свободы становится мне все ближе.

Таковы превратности судьбы. Оказалось, что мне надо было уехать, чтобы перечитать, а потом разобрать на семинаре с мерилендскими студентами всего Гоголя и всего Достоевского, или всю гениальную кучу поэтов Серебряного века. Именно в Америке у меня возникло незнакомое прежде ощущение близости к

российскому девятнадцатому веку. Катя после семинаров из Балтимора в Вашингтон в потоке машин мимо международного аэропорта, мимо ипподрома Лорел и Форта Миид, мимо космического центра Годар, я думаю о Пушкине и Мандельштаме, о Набокове и Гоголе, о Чернышевском и Достоевском, об Ахмадулиной, Битове, Искандере, Катаеве, Трифонове, Соколове... Все это представляется мне теперь одним куском «нашего времени», куском современной российской жизни в двухвековом масштабе, в принципе очень непродолжительным еще куском, несмотря на то, что столько было изобретено за это время и столько всякого случилось, вплоть до переноса части России в столь непостижимые заокеанские края.

Я почти не сомневаюсь, что Россия существует и в Америке, и это относится не только к физическому существованию нашей этнической группы. Эта «американская Россия», разумеется, не совпадает с советской версией, но не исключено, что она ближе к астральному телу и душе.

ОБ УЧАСТНИКАХ АНТОЛОГИИ

АКСЕНОВ, Василий — родился в 1932 году в Казани; часть своего детства он провел в Магадане, куда его мать, Евгения Гинзбург, автор известных во всем мире мемуаров о сталинских концлагерях, была сослана после отбытия своего срока. В 1956 году в Ленинграде Аксенов получил диплом врача, кем и работал до 1960 года. Свои рассказы, повести, романы он публикует в Советском Союзе с 1959 года. Правдивым, искренним описанием быта и мышления современной советской молодежи, поисками новых форм и иронического, «отстраненного» повествования, Аксенов вызвал острые нападки официальной критики. С 1965 года он все больше обращался к распространенным в современной мировой литературе формам гротеска, абсурда, ирреальности. Его произведения «Жаль, что вас не было с нами» (1965), «Затоваренная бочкотара» (1968), «Мой дедушка — памятник» (1972), «Поиски жанра» (1978) свидетельствуют о склонности писателя к многоплановому, фантастическому повествованию, пародийности и смещению точек зрения, имеющие столь богатые традиции в русской литературе XIX и XX веков. В 1979 году Аксенов был одним из инициаторов создания альманаха «Метрополь». В изданный без разрешения цензуры (первоначально в восьми экземплярах) сборник вошли произведения Аксенова, Битова, Виктора Ерофеева, Искандера, Евгения Попова, Горенштейна, Лиснянской, Алешковского, Вознесенского, Ахмадулиной, Высоцкого, Липкина и других. Появление «Метрополя» вызвало гнев и гонения властей в первую очередь потому, что в нем они усмотрели попытку литературы выйти из-под контроля государства. Стало ясно, что и относительной либерализации «оттепели» положен конец. Многие из участников альманаха уже в следующем году оказались за границей. В июле 1980 года уехал и Аксенов; с тех пор он живет в Вашингтоне, и как один из самых авторитетных представителей русской литературы ежегодно публикует свою прозу — по-русски чаще всего в издательстве «Ардис». Самые важные произведения 1960—1970-х годов роман «Ожог» (1980), антиутопия «Остров Крым» приобрели большую известность во многих странах мира. В современной прозе Аксенова дана разновидность дальнейшего обновления русской литературы. В 1989 году писатель, в порядке эксперимента, после трехлетнего труда, закончил свой роман на английском языке «Желток яйца» и в настоящее время заканчи-

вает трилогию о жизни семьи Градовых, московских интеллектуалов с 1925 по 1953 год.

БЕРМАН, Филипп — вместе с Е. Поповым, Е. Козловским, В. Кормером, Е. Харитоновым был участником литературной группы «Каталог», разгромленной КГБ в 1980—1981 гг. Автор ряда романов, рассказов и пьес. В Советском Союзе, однако, вышли лишь некоторые его рассказы, один из них «Белый пух», опубликованный в «Литературной России». Несмотря на положительную критику Юрия Трифонова, Юрия Нагибина и Сергея Антонова (последний сравнил мироощущение Бермана с отношением к человеку в произведениях Андрея Платонова), писателю ни один свой роман не удалось опубликовать на родине. После того как в ноябре 1980 года его задержали, конфисковали рукопись антологии «Каталог» и угрожали уголовной статьей, он за несколько дней вынужден был покинуть страну (январь 1981 года). Берман поселился в Нью-Йорке, где и работает инженером. Хотя многие его рукописи, в частности роман «Пятьдесят второй год», пьеса «Белый город» и ряд рассказов, пропали по пути в эмиграцию, он опубликовал в Америке роман «Регистратор» (изд. «Ардис», 1984) и несколько рассказов. Многие его произведения еще не изданы. В настоящее время Берман работает над романом «Круг империи» и готовит к изданию сборник рассказов.

ВЛАДИМОВ, Георгий — родился в 1931 году в Харькове, в семье учителя. Получил юридическое образование; с 1954 года выступал как литературный критик, с 1956 года был редактором отдела прозы в журнале «Новый мир». В мае 1967 года Владимов обратился к четвертому съезду Союза писателей с требованием свободы творчества и открытого обсуждения письма Солженицына к съезду. Говоря о гонениях против него и других писателей-инакомыслящих, Владимов с горечью осудил почти всеобщее молчание братьев по перу: «...нация ли мы подонков, шептунов и стукачей? или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев? (...) ...пройдут годы, и нас спросят — что сделали мы для самих себя, для своих ближних, которым так трудно было жить и работать...» О положении советской литературы в своем открытом письме к съезду Владимов заявил: «...явно обнаруживаются два искусства. Одно — свободное и непринужденное, каким ему и полагается быть, распространение и воздействие которого зависит лишь от его истинных художественных достоинств, и другое — признанное и оплачиваемое всяческими компрачикосами, среди которых первым на пути автора становится его же собственный «внутренний редактор», — наверное, самый страшный, ибо он уродует дитя еще в утробе...»

Из-за запрета цензуры после этого журнал «Новый мир» не смог опубликовать ставшую впоследствии всемирно известной повесть Владимова «Верный Руслан» — она вышла во Франкфурте-на-Майне лишь в 1974 году. Роман «Три минуты молчания» («Новый мир», 1969) без цензурных купюр был издан тоже на Западе, в 1982 году. В 1977 году Владимов вышел из Союза писателей и взял на себя руководство московской секцией организации «Международная амнистия». Под угрозой ареста в мае 1983 года он

эмигрировал в Западную Германию. Под его редакцией вышли 131—140-й номера франкфуртского журнала «Грани». С 1988 года Владимов проживает в городе Нидерхаузен и заканчивает роман о Власове и власовцах под заглавием «Генерал и его армия».

ДОВЛАТОВ, Сергей — родился в 1941 году в Уфе, в семье театральных деятелей. С 1944 года он жил в Ленинграде, где в 1959 году и поступил в университет. Со второго курса отделения финского языка будущего писателя отчислили и вскоре призвали в армию. С 1961 по 1965 год Довлатов служил охранником в Коми АССР; о своих тогдашних впечатлениях он написал ряд иронических рассказов, сугубо отличающихся от «классического» подхода произведений о ГУЛАГе, в духе Варлаама Шаламова и Александра Солженицына. После демобилизации Довлатов стал журналистом. Его рассказы с конца 1960-х годов большей частью выходили в самиздате, а с 1977 года стали появляться в тамиздате. Впоследствии после этих публикаций писатель, имевший и без того немало конфликтов с властями, в 1978 году вынужден был эмигрировать. Из Вены он скоро переселился в Нью-Йорк. В его романах и сборниках с доброжелательной иронией изображается и быт «новых американцев» из Советского Союза, старающихся сохранить русский уклад жизни. Довлатов был одним из тех немногочисленных писателей «третьей волны», которые быстро нашли место в литературе новой родины. «...Вы разбили мое сердце,— писал ему всемирно известный современный американский писатель Курт Воннегут.— Я родился в этой стране, бесстрашно служил ей во время войны, но так и не сумел продать ни одного своего рассказа в журнал «Ньюйоркер». А теперь приезжаете вы и — бах! — ваш рассказ сразу же печатают... Если же говорить серьезно, то я поздравляю вас с отличным рассказом... Я многого жду от вас и от вашей работы. У вас есть талант, который вы готовы отдать этой безумной стране. Мы счастливы, что вы здесь». Среди произведений Довлатова, переведенных на иностранные языки, самой популярной считается повесть «Наши» (1983), изображающая фантастическую, но тем не менее типичную судьбу ленинградской семьи 1920—1939 годов. В августе 1990 года писатель неожиданно умер в Нью-Йорке.

ГАЛЬПЕРИН, Юрий — родился в Ленинграде в 1947 году в семье музыканта. В 1964 году он написал свой первый рассказ; в том же году поступил в Ленинградский электротехнический институт, который он оставил через два года. С 1966 по 1968 год служил в армии, в Заполярье; об этом периоде своей жизни Гальперин написал поразительные рассказы. Затем, в 1976 году, он окончил исторический факультет Ленинградского университета. Гальперин публикует свои рассказы с начала 1970-х годов, а в 1972 году в Ленинграде поставили пьесу, написанную им вместе с Е. Белодубровским под псевдонимом К. Белагин. В 1979 году Гальперин переселяется в Берн, с тех пор он живет там и работает в историческом музее. Свои повести и рассказы Гальперин публикует на немецком, французском и венгерском языках. Самый известный его роман — «Мост через Лету (Практика прозы)» был написан еще в Советском Союзе в 1975 году, а опубликован в Лон-

доне в 1982 году. За эту повесть Гальперину присудили парижскую литературную премию имени Владимира Даля. Однако среди читателей больше успеха имела написанная еще до этого повесть «Играем блюз» (1983), которая со своим «подводным течением», внутренней ритмичностью и напряженностью показывает действительные, «неподцензурные» течения русской литературы начала 1970-х годов. Написанный уже в Берне в 1983 году роман Гальперина «Русский вариант» вышел в издательстве «Чердак» в Берне, в 1987 году.

ГЛАДИЛИН, Анатолий — родился в Москве в 1935 году. С 1954 по 1958 год учился в Литературном институте им. Горького. Его первая книга — повесть «Хроника времен Виктора Подгурского» была напечатана в 1956 году в журнале «Юность». С этого времени Гладиллин стал видным прозаиком литературы «оттепели». Его романы, в том числе появившийся в тамиздате «Прогноз на завтра» (Франкфурт-на-Майне, 1972), свидетельствуют о стремлении найти ответ на самые существенные вопросы жизни поколения писателя. В апреле 1976 года Гладиллин эмигрировал в Париж, где в 1978 году была опубликована новаторская по форме повествования книга «Репетиция в пятницу», состоящая из четырех рассказов, написанных с 1965 по 1976 год. С тех пор Гладиллин регулярно издает свои романы, путевые заметки, политические и литературные очерки. В 1985 году в Нью-Йорке вышла его антиутопия о победе коммунистической революции во Франции — «Французская Советская Социалистическая Республика».

ГОРЕНШТЕЙН, Фридрих — родился в Киеве в 1932 году. Его отец, партийный работник, экономист, был арестован в 1935 году и погиб. Горенштейн рос в детских домах и у родственников. Взрослую свою жизнь начал рабочим; в 1955 году он окончил горный институт в Днепропетровске. До 1961 года, как многие писатели его поколения, Горенштейн работал инженером, посвящая все свое свободное время литературной деятельности. За 20 лет он написал 16 сценариев, по пяти из которых были поставлены фильмы. Из прозы чрезвычайно плодотворного писателя в Советском Союзе был опубликован лишь единственный рассказ «Дом с башенкой» (1964). Поэтому в 1977 году Горенштейн решил издать свои рассказы, повести, пьесы и исключительно большие по объему романы на Западе, где они имели большой успех и были переведены на ряд иностранных языков — некоторые, как огромный роман «Псалом», состоящий из пяти частей, даже опередили русское издание (1986). В 1979 году писатель со своей повестью «Ступени» принял участие в издании альманаха «Метрополь», ставшего поворотным пунктом в жизни многих выдающихся писателей современности, которых после организации издания бесцензурного сборника власти стали жестоко преследовать. В сентябре 1980 года Горенштейн уехал из Советского Союза с двумя чемоданами рукописей. Он поселился в Западном Берлине, где живет и сейчас, публикуя свои произведения; среди них недавно вышедший роман «Место», рассказы, пьесы, высоко оцениваемые литературной критикой. Горенштейн продолжает свою деятельность сценариста, в настоящее время он работает для итальянских кинофирм.

ЖУРЖИН, Александр — родился в Москве в 1953 году, окончил физический факультет Московского университета. С 1980 года живет в США, окончил аспирантуру Массачусетского технологического института. Впервые его рассказ был напечатан в журнале «Континент».

КОСЦИНСКИЙ, Кирилл (настоящая фамилия Успенский) — родился в Петрограде в 1915 году, в семье большевиков. В 1939 году он поступил в Академию им. Фрунзе; с июня 1942 года сражался на фронте и дошел до Вены. В конце 1946 года он демобилизовался и с тех пор полностью посвятил себя литературе. До 1974 года в Советском Союзе Косцинский опубликовал пять своих книг, много переводов и статей. Писатель дважды был арестован, сначала на короткое время в 1938-м, затем в 1960 году, когда его приговорили к пяти годам заключения за антисоветскую пропаганду. В последний год отбытия срока, после падения Хрущева, его освободили благодаря ходатайствам Ильи Эренбурга и Юрия Домбровского. В лагере Косцинский изучал язык воровского мира и после освобождения стал работать над «Словарем русской ненормативной лексики». После эмиграции в 1978 году эту работу он продолжал в США. Писатель скончался в 1984 году.

КУСТАРЕВ, Олег — псевдоним автора, который родился в 1938 году и большую часть жизни прожил в Ленинграде. В Советском Союзе он занимался проблематикой третьего мира, преподавал социальную географию в вузах. Кустарев эмигрировал на Запад в 1981 году, и после недлительного пребывания в США в 1984 году поселился в Лондоне, где стал руководителем тематических передач русской службы ББС. Его роман «Разногласия и борьба» (1988) вышел сначала в издательстве «Москва-Ерусалим», затем, в 1990 году в издательстве «Аврора», в Ленинграде. Кустарев опубликовал ряд эссе о Честертоне, Сауле Беллоу, перевел работы Макса Вебера и других. Его рассказы появились в журналах «22» и «Синтаксис».

ЛЮБИН, Евгений — писатель из Ленинграда, автор стихов, рассказов, повестей. С 1962 по 1974 год он писал сценарии для ленинградского телевидения. В Советском Союзе были опубликованы две его книги. В эмиграции, после 1978 года он печатался главным образом в США, в Израиле и во Франции («Он шел на связь», повесть, 1980; «Русский триптих», рассказы и повести, 1982; «В ядре», повести и роман, 1989). Любин является председателем Клуба Русских Писателей в Нью-Йорке, объединяющего два десятка литераторов, которые уже десять лет регулярно встречаются на кафедре славистики Колумбийского университета.

ЛИМОНОВ, Эдуард — литературный псевдоним, настоящая фамилия писателя Савёйко. Он родился в Горьковской области в семье офицера МВД; юность провел в Харькове. По собствен-

ному, не лишённому характерной для него смеси гордости с наивностью признанию с 15 лет до 21 года он «был настоящим преступником, взламывал магазины и квартиры. Остановился только, когда ближайший друг Константин Б. был арестован и приговорен к смертной казни». В 1967 году Лимонов переехал в Москву и вошел в жизнь литературной богемы столицы. Работая портным, он распространял рукописные сборники своих стихов, но, не получив возможность печататься, в 1974 году вместе со своей женой уехал из Советского Союза. В первые пять лет эмигрантской жизни Лимонов жил в Нью-Йорке, сменил множество профессий и узнал мир, никогда не запечатленный русской литературой. Книга Лимонова о своих похождениях в кругу наркоманов, гомосексуалистов, преступников американского метрополиса «Это я — Эдичка» получила скандальную известность и разделила любителей литературы на страстных поклонников и не менее страстных врагов подобной прозы. Первая книга Лимонова временами подкупает читателя своей искренностью, поэтичностью, временами же прямо-таки отталкивает своей грубостью. «...Любопытно, — писал об этой книге Дуг Айрланд в «Нью-Йорк Обсервер», — что один из самых ослепительных и проникновенных портретов жизни в вэлфёр-отеле, в этом всеядном городе нашем, пришел к нам от сына функционера советской тайной полиции МВД...» Со времени своего выхода в свет роман «Это я — Эдичка» (1982) вышел на дюжине языков, в том числе в Югославии, Венгрии и Чехословакии. Произведения Лимонова «Дневник неудачника» (1982), «Подросток Савенко» (1983), «Палач» (1983) были написаны уже в Париже, куда писатель переехал в 1979 году. В настоящее время Лимонов по просьбе французского издательства пишет роман о первом своем возвращении в Советский Союз в декабре 1989 года.

ЛЬВОВ, Аркадий — родился в 1927 году, недалеко от Одессы. С 1943 года он учился на историческом факультете Одесского университета, но в 1946 году был исключен и смог закончить учебу только пять лет спустя. До 1968 года Львов был учителем на Западной Украине, затем вернулся в Одессу. С 1965 по 1973 год в Советском Союзе появились шесть его книг и много отдельных рассказов. С 1970 года писателя стали обвинять в сионизме и допрашивать в КГБ. В 1976 году после ряда отказов он получил разрешение на выезд из Советского Союза, с тех пор живет в Нью-Йорке. Большой роман Львова «Двор», написанный в 1968—1972 годах, сначала вышел на французском языке, а затем в 1981 году на русском. В нем писатель изображает быт простых людей, жителей российской провинции в разрезе одной микроячейки двора с 1936 по 1953 год. Львов продолжает историю своих героев и антигероев, переносит их во времена Хрущева и Брежнева. В 1981 году были опубликованы сборники рассказов Львова «Большое солнце Одессы», «Бизнесмен из Одессы» — последний о судьбах эмигрантов в Америке. В 1991 году в издательстве «Кхазария» (Нью-Йорк — Мюнхен) выходит новый роман писателя под названием «Химеры», написанный глазами женщины.

МАМЛЕЕВ, Юрий — родился в Москве, в семье профессора психиатрии. Окончил лесотехнический институт в 1955 году, затем 20 лет преподавал математику. За все это время, с 1953 года, настоящая жизнь писателя протекала в тайне, все свое свободное время он посвящал занятиям философией, оккультным учениям, теософии, мистическим наукам. Его квартира стала центром интеллектуалов, мыслящих подобно Мамлееву. За эти 20 лет Мамлеев написал примерно сто произведений, отражающих его философские взгляды. Его труды составляют значительную часть оккультного самиздата, широко распространялись также и записи лекций Мамлеева о мистической литературе. В 1974 году писатель, по его словам, покинул Советский Союз из-за нехватки свободы слова. Первые десять лет эмиграции он жил в Соединенных Штатах; в 1983 году переехал в Париж, чтобы быть ближе к ценностям европейской культуры. Мамлеев очень много публикует на Западе; после выхода сборника «Небо над адом» по-английски (1980) его приняли в Пен-клуб. Помимо сборников рассказов «Изнанка Гогена» (1982), «Живая вода» (1986) самой значительной книгой Мамлеева является «Московский гамбит» (законченная в 1985 году). В ней повествуется о жизни участников московских эзотерических кружков 1960-х годов. Произведения Мамлеева публиковались в журналах «Эхо», «Стрелец», «Континент», «Гнозис», «Новый журнал», в альманахе «Части речи».

МАТЛИН, Владимир — родился в Москве, получил юридическое образование. До эмиграции в США в 1973 году он работал на московской киностудии документальных фильмов. В Советском Союзе он опубликовал единственный рассказ, который был издан и в Италии. В настоящее время писатель живет в Вашингтоне, редактирует еврейскую и юридическую программы «Голоса Америки». Его рассказы о едва уловимых, трагических, «чеховских» конфликтах в жизни отцов и детей, американская антиутопия и рассказы о жизни «новых американцев» вышли в журналах «Континент», «22», в газете «Новое Русское Слово». Сборник рассказов «Эффект Либерсона» опубликован в издательстве «Эрмитаж» в 1989 году.

МАРАМЗИН, Владимир — родился в 1934 году в Ленинграде. С 1958 по 1965 год работал инженером, а с 1965 года посвятил себя исключительно литературной деятельности. Пишет же он с 1958 года. Первые произведения Марамзина главным образом детские книги и киносценарии. Печататься он начал с 1962 года, но уже годом позже, сразу после премьеры, запретили его пьесу «Объясните мне кто-нибудь — и скажу вам спасибо». С тех пор жизнь беспартийного писателя, который не состоял даже в Союзе писателей, превратилась в цепь столкновений с властями. Об этом он рассказывает, в частности, в конце публикуемого в нашей антологии рассказа. С 1971 года Марамзин собирал произведения Иосифа Бродского и в пяти томах передал их в самиздат; за это был арестован. Свое поведение и побудительные мотивы Марамзин тогда же объяснил так: «Я вовсе не герой, но не был героем и мой дед, деревенский священник, который по-

чему-то не сложил сана и предпочел в 1931 году умереть в Соловках. Вероятно, не был героем и мой отец, рабочий, еврей, ушедший добровольцем на фронт и убитый в 1942 году под Ленинградом. Приходит время каждому сделать что-то свое.

При обыске, 1 апреля, у меня были отняты все мои рукописи. Не мне судить, хороши они или нет, но я уверен, что все написанное нами не случайно, и писатель имеет обязательство перед своими рукописями...»

За сбор произведений Бродского Марамзина условно осудили на пять лет тюремного заключения. Через пять месяцев он покинул СССР. С тех пор живет в Париже, где в журнале «Континент» Владимир Максимов после ареста Марамзина, в защиту писателя опубликовал его повесть «История женитьбы Ивана Петровича», написанную им еще в 1964 году. После эмиграции Марамзин опубликовал ряд произведений, продолжая традиции Кафки, Платонова, литературы абсурда «Блондин обоего цвета» (1975), «Смешнее чем прежде» (1979), «Тянитолкай» (1981) и т. д. С 1978 года вместе с А. Хвостенко Марамзин издает парижский русскоязычный журнал «Эхо».

РАТУШИНСКАЯ, Ирина — поэтесса и прозаик, родилась в Одессе в 1954 году в семье обрусевшего польского дворянина. Окончив физический факультет, она преподавала физику и математику. В 1977 году Ирина отказалась выполнить приказ о применении к абитуриентам-евреям особых требований, после чего ее сначала перевели на другую работу, затем уволили. Это было лишь начало ее конфронтации с властями, кульминацией которой стал арест 17 сентября 1982 года с обвинением в антисоветской агитации и пропаганде. Ратушинскую приговорили на семь лет лагеря строгого режима с последующей ссылкой на пять лет. После ряда голодовок и продолжительной борьбы с властями международной общественности ее выпустили за границу весной 1987 года.

Гражданство Ирине Ратушинской вернули в августе 1990 года. Сейчас Ратушинская живет в Англии, где опубликовала целый ряд сборников стихов и сказок на русском и других языках.

РЫБАКОВ, Владимир — родился в 1947 году во Франции, откуда его родители-коммунисты вместе со старшим братом писателя в 1956 году переехали в СССР. Рыбаков с 1964 года учился на историческом факультете Черновицкого университета, откуда был исключен, призван в армию и отправлен на китайскую границу. Три с половиной года армейской службы в дальнейшем, так же как и в творчестве Довлатова и Гальперина, стали важнейшей темой лучших рассказов Рыбакова. После демобилизации он продолжал выполнять тяжелую физическую работу без всякой надежды на то, что его произведения будут опубликованы в Советском Союзе. В конце 1972 года семье все же удалось вернуться во Францию; Рыбаков до 1984 года работал в редакции газеты «Русская мысль» в Париже и печатался во многих русскоязычных изданиях. В 1977 году он опубликовал роман «Тяжесть», в котором так же, как и в сборнике рассказов «Тиски» (1985), он изображал жизнь советской армии. В авантюрном романе «Тавро» (1981) Рыбаков говорит о внешних и внутренних

проблемах жизни новых русских эмигрантов на Западе. Его повесть «Афганцы» вышла в Лондоне в 1988 году (в самом деле повесть под заглавием «Десантная группа» и небольшой рассказ «Возвращение»), а роман «Тень топора», действие которого происходит в среде сибирских рабочих, еще ждет своего издателя.

ПОКРАСС, Геннадий — родился в Москве в 1933 году. В 15-летнем возрасте он поступил в военно-морское подготовительное училище в городе Энгельсе, затем в Ленинградское высшее военно-морское училище подводного плавания. В 1956 году Покрасса уволили с Черноморского флота. Позже он окончил факультет журналистики МГУ и аспирантуру на кафедре русского языка, работал в технических издательствах редактором. В 1976 году он эмигрировал, живет в Лондоне.

СОКОЛОВ, Саша — родился в 1943 году в Оттаве. В конце 1947 года, когда его отца, помощника военного атташе, выслали из Канады, семья вернулась в Москву. В 1962 году Соколов поступил в Военный институт иностранных языков, откуда в 1967 году перешел в МГУ на факультет журналистики. Он работал журналистом, затем егерем на Волге. Много раз переработанная его повесть «Школа для дураков» не была опубликована на родине писателя, поскольку не соответствовала канонам советской литературы. Экспериментальная, ритмизованная проза Саши Соколова, свободно меняющая плоскости времени, стиля, персонажей, вышла в США в 1976-м, непосредственно после эмиграции автора; с тех пор она переведена на много языков. Роман «Между собакой и волком» (1980) состоит из стихов и прозаических фрагментов, переплетающихся друг с другом на грани реальности и фантазии. Третий роман Соколова «Палисандрия» (1985) рассказывает о жизни внучатого племянника Лаврентия Берии в начале 21-го века.

СУСЛОВ, Илья — родился в Москве в 1933 году. В 1956 году он окончил Московский полиграфический институт и некоторое время работал инженером в типографии. В 1962-м был приглашен на должность заведующего редакцией в журнал «Юность», затем работал в различных изданиях Комитета радиовещания и телевидения. С 1967 до 1973 года Суслов редактировал «Клуб «12 стульев» в «Литературной газете». По его словам, «в связи с ожесточением цензуры и ростом антисемитизма» в 1974 году Суслов эмигрировал в Соединенные Штаты, где некоторое время работал грузчиком, типографским рабочим, переводчиком, диктором на радио, затем — до сегодняшнего дня — редактором журнала «Америка», выпускаемого в Вашингтоне правительством США для Советского Союза. В Америке писатель опубликовал книги «Прошлогодний снег», «Рассказы о товарище Сталине и других товарищах» (1981), «Выход к морю» (1982), «Мои антографы» (1986). В 1977 году в издательстве «Индиана-пресс» вышла его повесть на английском языке «За ваше здоровье, товарищ Шифрин!».

ШАРГОРОДСКИЙ, Александр (1934) и ШАРГОРОДСКИЙ, Лев (1943) — ленинградцы, смейившие работу инженеров на литературную деятельность в 1969 году; из Советского Союза уехали в 1979 году, с тех пор живут и работают в Швейцарии. О себе они считают важным рассказать для читателей нашей антологии следующее: «Нам недавно стукнуло сто лет. Наш рост — 360 сантиметров, у нас одна борода, две жены и четверо сыновей. Мы веселы, любим путешествовать и иногда писать. Мы оптимисты: уверены, что хуже, чем было, уже не будет. Мы жили в Ленинграде, в городе трех революций. Уехали, не дожидаясь четвертой. За пятнадцать лет братского сотрудничества написали в России пятьсот рассказов, из которых четыреста были «отредактированы» до неузнаваемости, несколько сценариев и более дюжины пьес, от которых после цензуры оставались только фамилии авторов. И то не всегда — однажды на афише красовалось: Александр и Лев Петровы — директор театра недолюбливал евреев. Печатались и ставились в Москве, Ленинграде, Риге, Киеве, Таллинне, Одессе и других городах. Там же запрещались и снимались. Вот уже одиннадцать лет живем на Западе, в Женеве. Публикуемся во Франции, Израиле, Америке, Швейцарии, Германии, Бельгии и в других странах. Пока не запрещаемся. Пять наших книг, рассказы и романы, опубликованы во Франции, две в Америке, две в Израиле, одна в Швейцарии, одна в Германии... Лауреаты многих всесоюзных премий и трех международных — в том числе премии имени Даля в Париже и Первой премии за лучший юмористический роман во Франции. Жизнью довольны...»

ШЕПИЕВКЕР, Анатолий — родился в Одессе в 1928 году. По профессии инженер-строитель. Первый сборник стихов опубликовал еще в 1944 году, позже писал историческую прозу. Эмигрировал в 1979 году в США, где и выходят его русскоязычные книги, в том числе «В начале пути» (1981 г.), сборники современных русских анекдотов, «Смерть вопреки всему» (1982 г.), «На крутых поворотах» (1983 г.) и т. д.

ШТЕРН, Людмила — родилась в Ленинграде, окончила горный институт и Ленинградский университет, кандидат геолого-минералогических наук. С 1976 года живет в США, в городе Бостон, близка к кругу Иосифа Бродского. Печатается в американских и израильских русско- и англоязычных журналах.

ЮРЬЕНЕН, Сергей — родился в 1948 году во Франкфурте-на-Одере. Юрьенен с 1966 по 1973 год учился журналистике в Белоруссии, затем русскому языку и литературе в Москве. Он работал корреспондентом, редактором разных газет и журналов, был заместителем отдела очерка и публицистики журнала «Дружба народов». Свои рассказы, повести и статьи Юрьенен пишет с 1966 года, печатается с 1974 года; его первая книга «По пути к дому» вышла еще в Москве в 1974 году. В то время Юрьенен был самым молодым членом Союза советских писателей. В 1977 году он не вернулся на родину после поездки в Париж к жене и дочери. На вопрос, почему он, не подвергаемый в Советском

Союзе дискриминации, а, напротив, имевший множество успехов, уехал, Юрьенен ответил: «Я происхожу из самого низа — там, где и положено было быть рядовым жертвам системы. Мать, которая после четырех лет «арбайтслагеря» в Германии жила в страхе ареста. Отец, который был по ошибке убит своими солдатами за две недели до моего рождения. Я родился как человек лишний и всей семейной предысторией обреченный на неудачу в любом из жизненных проектов». Юрьенен с 1984 года живет в Мюнхене. Его первый роман «Вольный стрелок» вышел на Западе сначала по-французски в 1980 году, затем, в 1983 году, по-русски; в нем рассказывается о поездке писателя и сопровождающего его сотрудника КГБ. «Нарушитель границы» был опубликован одновременно по-русски и по-французски в 1986 году, так же как и цикл рассказов «Сын империи». Последние книги писателя: «Рашн Лав Машин» (1990) и «Дочь Генерального секретаря» (1991), «сочинение, не лишенное автобиографических деталей и расположенное, как моя собственная межгеометрическая судьба — между Востоком и Западом».

СОДЕРЖАНИЕ

О «третьей волне»	5
<i>Георгий Владимов.</i> НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ, МАЭСТРО!	9
<i>Сергей Довлатов.</i> СТО ВОСЬМАЯ УЛИЦА.	52
ДЕВУШКА ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ, ПОСЛЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ	64 78
<i>Филипп Берман.</i> КОСЫНКА В БЕЛЫЙ ГОРОШЕК	91
<i>Владимир Матлин.</i> ЕГОРЬИЙ	99
<i>Анатолий Гладилин.</i> «ЗАПОРОЖЕЦ» НА МОКРОМ ЩОССЕ	109
<i>Юрий Мамлеев.</i> ОТРАЖЕНИЕ	136
<i>Сергей Юрьенен.</i> ГАРНИЗОН У ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦ	141
<i>Кирилл Косцинский.</i> ИОГАНН ГУТЕНБЕРГ И ДРУГИЕ	148
<i>Олег Кустарев.</i> КРИСТИНА	160
<i>Эдуард Лимонов.</i> ПАДЕНИЕ МИШЕЛЯ БЕРТЬЕ	177
<i>Юрий Гальперин.</i> ПРОСТО РАССКАЗ	186
<i>Ирина Ратушинская.</i> КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ.	190
ДОСАДА.	193
КРУШЕНИЕ МИФА.	195
СКАЗКА О ТРЕХ ГОЛОВАХ.	196
СЛУЧАЙ С АКСЮТИНЫМ.	198
СНОВИДЕНИЕ.	199
ПОСЕЩЕНИЕ.	200
ВОЗВРАЩЕНИЕ.	201
НЕДОРАЗУМЕНИЕ.	202
ПРОИСШЕСТВИЕ	204
<i>Саша Соколов.</i> ТРЕВОЖНАЯ КУКОЛКА	205
<i>Людмила Штерн.</i> ВАСИЛЬКОВОЕ ПОЛЕ	212
<i>Геннадий Покрасс.</i> ДИКАРЬ.	242
КРЫСЫ.	243
МЫ И ОНИ.	247
ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗВУЧИТ	252

<i>Илья Суслов. ШПИОН НИКОДИМОВ</i>	256
<i>Александр Журжин. СОН</i>	262
<i>Анатолий Шепиевкер. ВРАЖЬЯ СИЛА</i>	271
<i>Евгений Любин. «АРИФМЕТИКА»</i>	281
<i>Александр и Лев Шаргородские. ПЕСНЯ О РАЕ</i>	291
<i>Аркадий Львов. ЧЕЛОВЕК ИЗ ВОХР</i>	296
<i>Фридрих Горенштейн. С КОШЕЛОЧКОЙ</i>	307
<i>Владимир Рыбаков. ЗЕРНО</i>	324
<i>Владимир Марамзин. ТЯНИТОЛКАЯ.</i>	333
РАССКАЗ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ	356
<i>Василий Аксенов. ЧУВСТВО РОССИИ</i>	362
Об участниках антологии	369

ТРЕТЬЯ ВОЛНА

Антология русского зарубежья

Составитель

Агнеш Геробен

Заведующая редакцией *С. Митрохина*

Редактор *М. Щенетова*

Художественный редактор *В. Горин*

Технические редакторы *С. Устинова, М. Гречнева*

Корректоры *Т. Сёмочкина, Е. Коротаева*

ИБ № 4898

Сдано в набор 28.12.90. Подписано к печати 15.07.91. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,58. Уч.-изд. л. 18,37 Тираж 50 000 экз. Заказ 1481.
Цена 3 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий», 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий», 103473, Москва, И-473, Краснопроектарская, 16.

Третья волна: Антология русского зарубежья:
Т66 Сборник / Сост. А. Геребен.— М.: Моск. рабочий,
1991.— 381 с.

Цель этой антологии как можно более шире представить прозу русского зарубежья во всем ее стилевом и тематическом разнообразии. Когда начиналась работа над этой книгой, ни один из ее участников не публиковался в Советском Союзе. Теперь имена таких писателей, как Саша Соколов, Юрий Мамлеев, Сергей Юрьенен, Георгий Владимов, Сергей Довлатов, все чаще стали появляться на страницах советских изданий.

Т $\frac{4702010201-170}{M172(03)-91}$ 117—91

ББК 84Р7—4

